

АКУНИН-ЧХАРТИШВИЛИ



**СОБАЧЬЯ
СМЕРТЬ**

Annotation

Москва середины шестидесятых годов. Время «хрущевской оттепели». Только что вышла заключительная часть «Мастера и Маргариты» Булгакова. В воздухе веет свободой и надеждой на жизнь без лжи, лицемерия и страха. Известный писатель Марат Рогачов, чья семья, как и тысячи других российских семей стала жертвой Большого террора, знакомится с давним другом своего погибшего отца — Антоном Марковичем Клобуковым, и эта встреча навсегда меняет его жизнь.

- [Акунин-Чхартишвили](#)
 -
 -
 - [Украденное](#)
 -
 - [Из Книги Первой](#)
 - [Из Книги Десятой](#)
 - [Бактриан](#)
 - [Пламенные революционеры](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [«Воскресник»](#)
 - [Сэйдзицу](#)
 - [Четыре гвоздики](#)
 - [Сэйдзицу](#)
 - [Антонина](#)
 - [Сэйдзицу](#)
 - [В гостях](#)
 - [Сэйдзицу](#)
 - [На даче](#)
 - [Дело подследственного «№ 73»](#)
 - [О твердости и мягкости](#)
 - [По написании сжечь](#)

- [Что теперь будет?](#)
 - [Наука старости](#)
 - [Нелепый парадокс](#)
 -
 - [История старости](#)
 - [Тяготы старения: инструкция по эксплуатации](#)
 - [Блага старости](#)
 - [Подготовка к старости](#)
 - [«Счастливая старость»](#)
 - [Выбора нет](#)
 - [Пламенные революционеры](#)
 - [Глава последняя](#)
 - [Выход на Запад](#)
 - [Непрочитанная книга](#)
 - [Из Книги Пятой](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

Акунин-Чхартшвили

Собачья смерть

Текст печатается в авторских редакции, орфографии и пунктуации

© Akunin-Chkhartishvili, 2023

© «Захаров», 2023

* * *

横死

Из Книги Первой

«Мы все хотим жить. Большинство из нас руководствуется этим желанием в своих поступках. Но продолжать жить, если ты не достиг поставленной цели — малодушие. Это стыдно. Если ты погибаешь, не достигнув цели, без пользы и смысла, это собачья смерть. Но это нестыдная смерть».

Хо!!! Собачья смерть! Вот откуда это! Как это — собачья, но не стыдная? Какую ценность имеет что-то, лишённое смысла? Я всегда думал, что жить и тем более умирать без смысла глупо. Получается, что ум стыднее глупости? Про это нужно подумать.

«Обладать только умом и талантом, а более ничем — это самая низшая категория людей, которые чего-то стоят».

Еще и талант туда же, вместе с умом? Умный, талантливый человек у нас считается выдающимся, иногда даже великим, все окружающие перед таким преклоняются, а, если в тебе кроме ума и таланта больше ничего нет, это «самая низшая категория»?

«Люди думают, что можно разобраться в сложных материях, если как следует поломать над ними голову, но ум извращает суть, ибо всегда руководствуется выгодой, и ни к чему хорошему это не приводит».

Хм. Это, пожалуй, про меня. Уж мне ли не знать, как мало хорошего приносит выгода? Усвоить бы это лет на двадцать раньше. Хотя я вряд ли бы тогда понял.

Вот пассаж, который стоит выписать целиком.

«Некий мастер меча, достигнув преклонных лет, сказал: «Поиск Пути состоит из этапов. На первом, нижнем уровне из учебы ничего не выходит и человек считает, что он хуже других. Он и в самом деле никчем. На втором, среднем уровне человек по-прежнему никчем, но теперь он считает, что и другие несовершенны. На третьем, высшем уровне человек обладает познаниями, гордится ими и скорбит из-за несовершенства других, но держится скромно, не выпячивая своих достоинств. Только тут человек обретает ценность.»

Но есть еще один уровень, наивысший — когда человек осознает, что Путь бесконечен и что ты никогда не достигнешь на нем совершенства. Человек знает свои недостатки и никогда не удовлетворяется достигнутым. Он знает, что по Пути дальше пройдет тот, кто безжалостен к себе. Мастер Ягю однажды изрек: «Я не знаю, как побеждать других, но я знаю, как побеждать себя». Всю жизнь, каждый день двигайся вперед и становись искусней, чем был вчера. Никогда не останавливайся».

Побеждать себя? Но побеждают врага, а не того, кого любишь. Не любить себя, считать главным врагом самого себя — в этом ключ.

А еще врагу, настоящему врагу, желают смерти. Где-то в другом месте, сейчас не найду, у него написано, что правильно и красиво убить врага — это целое искусство, и уважающий себя человек никогда не унизит себя неряшливым убийством.

«На стене у господина Наосигэ висел свиток с изречением: «К важным вещам относись легко». Мастер Иттэй сказал по этому поводу: «А к неважным вещам относись серьезно».

Если вдуматься, это совсем не парадокс а-ля Оскар Уайльд, а совершенно трезвый, практический совет. Действительно: самые важные решения, которые определяют весь ход жизни, нужно принимать не умом, а сердцем. Если оно к чему-то не лежит, рациональные доводы пусть заткнутся. Но на уровне не стратегическом, а тактическом, в повседневной жизни, разумеется, следует всё тщательно обдумывать, чтобы избежать глупых ошибок.

«В любой скверной ситуации уйти от позора очень легко. Достаточно умереть».

Я люблю этого парня! В самом деле — что может быть легче?

«У ливня есть чему поучиться. Когда он застаёт человека на улице, тот несется со всех ног, лишь бы не промокнуть. И всё равно промокает. Но если ты готов промокнуть, ты не бежишь, а идешь спокойно. Ты промокаешь, но не теряешь достоинства. И так во всём».

Я готов промокнуть? Да, готов. Буду учиться у ливня.

«Расчетливые люди вызывают презрение. Расчет всегда основывается на том, чтобы по возможности избежать потерь и обрести выгоду. При этом смерть считается потерей, а сохранение жизни — выгодой. Человек, не любящий смерти, заслуживает презрения».

Тогда мало кто не презренен. Кроме суицидальных маньяков — все. Он имеет в виду, видимо, вот что. Любовь к смерти — это не суицидальность. Это когда движешься по дороге жизни к некоей сияющей над горизонтом звезде. Чего ее бояться? Она прекрасна, ты в нее влюблен, но бежать к ней необязательно, она никуда не денется. Ночь длинная, длиннее твоей жизни.

«В старину говорили, что всякое решение следует принимать не долее, чем за семь вдохов и выдохов. Господин Таканобу однажды сказал: «Слишком долгое рассуждение всё портит».

Теперь при всяком колебании буду считать выдохи и на седьмом говорить себе: “Fais ton jeu”^[1].

«Добиться можно всего на свете. Человек, преисполненный решимости, способен перевернуть небо и землю».

Вот девиз, который следовало бы вытатуировать на груди. В минуту слабости расстегивал бы перед зеркалом рубашку и напоминал себе об этом.

«Не существует ничего кроме поставленной в данное мгновение цели. Вся жизнь — череда мгновений. Если ты полностью отдаешься каждому из них, никаких других целей для тебя нет. Жить — значит хранить верность мгновению».

В этом суть, но с важной поправкой. Храня верность мгновению, не забывать, что мгновения складываются в День — как в шансонетке (не помню точно по-французски): «Что наша жизнь? Лишь день единый от bon matin до bon nuit^[2]». У Дня тоже должна быть своя Цель. Иначе всё не имеет смысла. Верность Мгновению — тактика. Верность Дню — стратегия.

«До сорока лет следует набирать силу. К пятидесяти годам надлежит определиться, на что ее потратить».

Как раз мой возраст. Всё сходится.

«Если ты погибаешь в сражении, позаботься о том, чтобы твой труп упал лицом к врагу».

Ну, если всё плохо закончится, об этом позаботятся другие. Расстреливают ведь перед строем. В затылок стрелять себе не позволю.

Из Книги Десятой

«На могиле великого человека высечено стихотворение:

Не читай молитв,
А чти Путь Искренности,
И боги — с тобой.

И вот некто спросил самурая: «Что такое Путь Искренности?». Самурай ответил: «Если уж тебе нравится поэзия, я отвечу стихотворением:

Вся наша жизнь — фарс.
Искренность только в смерти.
Живи как мертвец».

Мне кажется, я догадываюсь, что имел в виду самурай под словами «живи как мертвец». Надо читать свою жизнь, как биографическую статью в энциклопедии: тогда-то родился, сделал то-то, умер тогда-то. Если ты все равно уже умер и занесен в книгу, какой смысл суетиться и малодушничать? Это и значит «жить как мертвец». Даты уже проставлены, но то, что будет написано между ними, зависит только от тебя.

Но что имеется в виду под «Путем Искренности»?

Бактриан



После похорон должна была состояться гражданская панихида в ЦДЛ, но Марат не поехал. Слушать речи про тяжелую утрату, которую понесла многонациональная советская литература, про «навек умолкший негромкий и чистый голос одухотворенного певца социалистического лиризма» (цитата из некролога), а потом смотреть, как все не чокаясь пьют водку?

Одухотворенности в покойнике было не много. Пожалуй, вовсе не было. Осторожный, расчетливый, многослойный, как луковица, человек, благополучно прошедший через все «непростые времена» без неприятностей, да еще, чудо из чудес, с незапятнанной репутацией. Умудрился ни разу не выступить на людоедских собраниях, ничего кровожадного никогда не подписывал, вождей в своей прозе не

славословил — в повестях и рассказах про тихую красу родной природы это вроде как и не предполагалось. Мало кому в том злосчастном поколении удалось проскользнуть между струями ядовитого дождя не замочившись. Может быть, только одному Кондратию Григорьевичу. Заглазное прозвище в Союзе писателей у него было «Колобок». Он про это знал и однажды сказал Марату: «Обижают меня коллеги. Недооценивают. Колобок только от бабушки и дедушки ушел, лиса-то его слопала. Я не Колобок, я — старая дева, прожившая жизнь в борделе, но оставшаяся целкой». В частных разговорах Кондратий Григорьевич бывал циничен, совсем не таков, как на публике. Но старик понимал литературу. И дал бесценный совет, после которого Марат превратился из курицы в настоящую птицу — оторвался от земли, взлетел. Аркан говорит, у японцев есть понятие «онси» — Учитель, благодарность к которому сохраняешь на всю жизнь. Таким вот онси стал для Марата и старый циник.

Прошлой осенью они с Кондратием Григорьевичем по чистой случайности оказались в одном купе «Красной стрелы». Был юбилейный год, пятидесятилетие Октября, делегация московского СП выехала в Ленинград на очередное торжественное заседание, и Марату на волне успеха «Чистых рук» досталось место в мягком вагоне, рядом с классиком. Поезд был ночной, обоим не спалось, разговорились.

Уже под утро Кондратий Григорьевич спросил, вдруг перейдя на «ты», что Марата, вообще-то не выносившего фамильярности, нисколько не покорило — все-таки тридцать с лишним лет разницы:

— Как по-твоему, я не совсем говеный писатель? Только честно. Нет, так ты правды не скажешь. Сформулирую иначе: если что-то в моей прозе тебе нравится, то что именно? Как бы ты это определил? Если ответишь «любовь к родной природе», я тебе сейчас вот этой бутылкой тресну по башке.

(Он попивал коньяк, к которому Марат не притрагивался, ограничивался чаем.)

Ответил честно — что думал на самом деле:

— В ваших рассказах ощущается нечто... неуловимое, ускользающее, чего не можешь ухватить, но это и примагничивает. Даже не знаю, как вам это удастся.

— Садись, пятерка, — грустно усмехнулся старик. — Я тебе расскажу, как мне это удастся. Если бы оно мне похуже удавалось, я

был бы не «видный представитель советской литературы», а настоящий писатель... Сначала я пишу текст безо всяких тормозов — как просит душа. Потом беру и вырезаю оттуда всё непроходимое. Зияющие раны зашиваю. Вместо ампутированных конечностей присобачиваю протезы. Получается инвалид, калека на костылях. Но отсеченная живая ткань всё равно угадывается, остаются фантомные боли, и читатель на них реагирует. Ты, Марат, пишешь хреново, уж не обижайся, я читал. Но что-то в тебе есть. Нерасчетливость? Нешкурность? Мне кажется — а я в таких вещах редко ошибаюсь, — ты можешь писать намного лучше. Но запомни самую важную штуку. Не создавай врожденных инвалидов, которые уже появляются на свет без руки или без ноги. Пишешь — пиши на всю катушку. Не кастрируй себя заранее. Сделай и роди здорового ребенка. А уже потом, с рыданиями, с болью, приспособлявай его к реальности. Режь, кромсай, пересаживай кожу. Внутренняя сила, энергетика вся не уйдет, что-то да останется. А еще останется оригинал. Рукопись — ту, нераскромсанную — спрячь поглубже. Я свои настоящие, изначальные тексты берегу. Во всяком случае, последние лет пятнадцать, раньше-то боялся. Может быть, полвека или век спустя люди прочитают и скажут: «Вот он, оказывается, какой писатель был, на самом-то деле». Рукописи не горят — слышал?

И они заговорили о том, что тогда обсуждали все — о «Мастере и Маргарите». Как раз в журнале «Москва» вышла последняя, третья часть. Перед тем роман печатался в двух номерах, а потом публикация прервалась, и все волновались — пропустят концовку или не пропустят. Через номер все-таки напечатали. Михаил Булгаков, полузабытый автор второго ряда, вдруг поднялся над советской литературой, будто Гулливер над страной лилипутов.

Метод Кондратия Григорьевича был простой, но раньше такая идея Марату в голову не приходила. Ну вроде как если вышел на футбольное поле, то заранее знаешь, что мяч руками хватать нельзя — заработаешь пенальти. А что если отнести к литературе как к игре без правил? Или установить правила самому? В порядке эксперимента. Просто посмотреть, что получится.

Так он написал «Воскресную поездку». Полный текст оставил в столе. Явно непроходимое сократил. Отнес вычищенный вариант Кондратию Григорьевичу. Тот прочитал, сказал: «Ага, старого пса нюх

не подвел. Ты все-таки писатель». Старик убрал по мелочам еще кое-что, сам отвез рукопись в «Юность», главреду Полевому, своему бывшему ученику. Маленькую повесть поставили в номер вне очереди.

И с Маратом приключилось второе чудо за год. Сначала на него, как из рога изобилия, полились материальные блага за сценарий телефильма, а теперь пришла еще и литературная известность, да не такая, как в пятьдесят втором, не лауреатская, а самого лестного свойства — в своем писательском цехе, среди людей по-настоящему талантливых. Дерзкие и победительные властители дум, «капитаны свежего ветра» (так называлось программное стихотворение эпохи), раньше не замечавшие Марата, теперь звали его в гости, разговаривали как со своим. Один из лидеров «новой волны», язвительный Гривас, шутливо называл его сталинским лауреатом-расстригой и звездой позднего реабилитанса.

Люди делятся на уйму всяческих бинарностей. В том числе на относящихся к жизни легко или тяжело. Марат принадлежал ко второй категории, притом к ее высшей лиге. Он был тяжел, как нагруженная булыжниками телега, и тащился по жизненным ухабам со скрипом, лязгом и вихлянием колес. Легким людям всегда завидовал, но утешал себя тем, что они не становятся хорошими писателями. Во всяком случае в России. Даже Гоголь начинал легко, а закончил тяжелым психическим расстройством. То же и Пушкин. Последнее его стихотворение — про чижика, забывшего и рощу, и свободу. Страна с тяжелым воздухом давит на человека, пригибает к земле. Распрямиться, тем более взлететь здесь трудно. Сгореть в плотных слоях атмосферы — самая обычная для русского писателя судьба. Но русская литература не стала бы тем, чем она стала, если бы ей не пришлось тратить столько сил на прорыв сквозь вязкий воздух. Борьба породила энергию, которая давала свет и тепло.

Марат всегда писал трудно, по много раз переделывал, откладывал, падал духом, начинал заново. Он был уверен, что только так и можно, только так и нужно. Садясь утром к письменному столу, ритуально приветствовал сам себя серапионовским: «Здравствуй, брат, писать очень трудно».

А оказалось — нет. «Воскресная поездка» пришла быстро и легко, словно сама собой. Машинка трещала, как ручной пулемет, каретка

порхала туда-сюда. Большой роман, который Марат сейчас писал по тому же методу, без внутренней цензуры, тоже летел сам, поднимая за собой автора, словно продавца воздушных шаров у Олеси. Засиживаясь за столом до глубокой ночи, Марат выходил на балкон покурить, смотрел в черное небо, и ему казалось, что он несется где-то там, под облаками, ударяясь о шпильки московских высоток.

Роман получался черт знает какой, без руля и без ветрил. Днем, в трезвые минуты, делалось совершенно ясно, что его потом не отредактируешь — вообще ничего не останется. Или засовывай поглубже в стол, навечно, или переправляй за границу, для анонимной публикации. Но после истории с Синявским и Даниэлем это страшновато.

Мысли о том, что делать потом, Марат от себя гнал. От них роман сразу тяжелел, его полет замедлялся. Потом суп с котом. Допишем — решим.

Обычно Марат мучительно, несколько месяцев, а то и год-другой размышлял, о чем будет следующее произведение. Оно долго пряталось, потом неохотно выплывало, будто сом из омута, и тут же норовило уйти назад, на глубину. А этот роман выскочил, как чертик из табакерки. Только что ничего не было — и вдруг пространство взвихрилось, уплотнилось, там замелькали быстро увеличивающиеся точки, превратились в город, слышались голоса, и невесть откуда возникло худощавое лицо с хрящеватым носом. Человек рванулся с места, побежал за отходящим трамваем...

К этому времени Марат уже несколько дней испытывал странное ощущение — будто какой-то микроскопический скворец постукивал клювом в висок. Началось всё с нескольких страничек, исписанных торопливым и неряшливым почерком, очень-очень мелко.

Сидел в архиве Комитета Государственной Безопасности, просматривал документы и следственные материалы по делу Сиднея Рейли. В папке «Предметы, изъяты при обыске в Шереметевском переулке, дом № 3, 3 сент. 1918 г.» среди прочего был путеводитель «Московские улицы», ничего примечательного. Марат больше заинтересовался газетой, в которую книжка была обернута.

Номер петроградской «Копейки» — теперь гораздо бóльшая редкость, чем сытинский путеводитель. Застывший стоп-кадр канувшего времени. Подобные соприкосновения с прошлым Марата

всегда волновали. Он бережно снял обертку, развернул желтую, высохшую страницу, чтоб почитать питерские новости полувековой давности — и вдруг на стол выпали листки блокнота. В описи они не упоминались: просто «Московские улицы», и всё. В 1918 году чекисты работали еще по-дилетантски. Дознаватель не додумался заглянуть под обложку, прошляпил. А между тем почерк был самого Рейли — Марат только что видел собственноручные записки знаменитого шпиона, сделанные на Лубянке в 1925 году.

Задрожали пальцы, и Марат совершил один из самых отчаянных поступков в своей совершенно неотчаянной жизни. Оглянулся на дверь и спрятал листки во внутренний карман. К этому времени он был уже очень сильно увлечен загадкой лейтенанта Рейли, потому и пробился сюда, в недоступный простым смертным архив, используя чудесно подвернувшуюся возможность.

Заказ на сценарий Марату достался почти случайно. В преддверии Большой Годовщины, пятидесятилетия Октября, затеяли телеэпопею о чекистах ленинского призыва. После огромного успеха первого советского сериала (это было новое, модное слово) «Вызываем огонь на себя», про разведчиков Великой Отечественной, постановили снять картину такого же жанра и о сотрудниках органов послереволюционной эпохи, остановившись на рубеже тридцатых — дальше начинался период, касаться которого не стоило.

За сценарий взялся мастодонт историко-революционного жанра Голованов, еще до войны снявший фильм «Без пощады» — о разоблачении врагов народа. В свое время картина гремела, а ныне была положена на полку и всеми забыта. Потом Голованов сделал еще с десятков сценариев про Дзержинского. Все знали: старый конь борозды не испортит. Но ветеран сценарного цеха подвел руководство. Сначала хворал, сильно задерживая сдачу, а потом вовсе помер. Стали разбирать его наработки — схватились за голову. Старик почти ничего не сделал, а то, что сделал, совсем никуда не годилось. Важнейший госзаказ оказался под угрозой срыва.

Гостелерадио объявило аврал. Мобилизовали не только сценаристов, но и прозаиков, известных обязательностью и знакомых с тематикой. Марат всегда сдавал рукописи в срок, плюс кто-то в секретариате вспомнил его первую повесть. Привлекли к экстренному

конкурсу. События гражданской войны и двадцатых годов Марата всегда волновали — из-за памяти об отце. Историю великой эпохи, когда всё еще не пошло вкривь и вкось, он знал очень хорошо. План-проспект заданного формата («телевизионный роман о чекистах двадцатых годов, состоящий из четырех полуавтономных новелл с общим главным героем») сдал быстро. Идея и сюжетная композиция наверху понравились, выбор главного героя — тоже.

Проблема заключалась в том, что Дзержинский не годился — он ведь умер в 1926-м. Прославленные асы разведки и контрразведки — Петерс, Уншлихт, Артузов, барон Пилляр фон Пильхау, Стырна — тоже не подходили. Всех их потом, в тридцатые годы, репрессировали. Марат же предложил сделать центральным персонажем бесцветного преемника Железного Феликса — товарища Менжинского, который послушно выполнял волю Сталина, не слишком вмешивался в работу своих деятельных сотрудников и очень удачно скончался в 1934 году, как раз перед тем, как закрутилась мясорубка. Сценарная идея заключалась в том, чтобы изобразить тихого, болезненного Вячеслава Рудольфовича инициатором и руководителем всех блестящих операций, на самом деле проведенных его помощниками.

Название было задано заранее, очень скучное: «Чистые руки», но Марат собирался придать ему особый важный смысл: было-де время, когда руки у органов еще не загрязнились — во всяком случае по сравнению с тем кошмаром, который наступил потом. Больше всего Марат гордился концовкой. Там, вперемежку с финальными титрами, должны были идти фотографии знаменитых чекистов героической поры, с годами жизни, и у каждого она многозначительно заканчивалась в 1937 или 1938 году. Все кому нужно поймут.

Фильм первый «Операция “Синдикат”» был о том, как в СССР заманили Бориса Савинкова. Фильм второй «Операция “Инспектор”» — о том, как аналогичным манером ликвидировали Сиднея Рейли. Фильм третий «Операция “Турист”» — о том, как чекисты водили за нос Василия Шульгина. Фильм четвертый «Операция “Эндшпиль”» — о том, как из Парижа выкрали генерала Кутепова.

При окончательном монтаже портреты с многозначительными подписями были вырезаны, и получился просто жанр плаща и шпаги, вернее щита и меча. Марат был этим совершенно убит, оправдывался перед знакомыми, те сочувственно кивали — и завидовали. Сериал

посмотрела вся страна, ему сулили Госпремию, а создатель сценария, чье имя раньше мало кто знал, из литературных лейтенантов взлетел если не в генералы, то уж точно в полковники. В Союзе с ним теперь разговаривали по-другому, большие начальники вели в кабинетах душевные разговоры, в Литфонде перевели на первую категорию обслуживания — выше только «особая».

Но сценарий был насквозь лживый и халтурный, уж Марат-то это знал лучше кого бы то ни было. Самое мучительное и досадное, что он искренне интересовался той драматичной эпохой, выкинувшей на поверхность столько поразительно ярких, фантастически интересных личностей. В каждую судьбу хотелось погрузиться, написать про нее целое исследование или даже роман.

Это было время решительных, быстрых людей, которые без колебаний убивали и умирали. Все сложные и медленные ступеньки, вжали головы в плечи, потерялись. Марат сам был сложным и медленным, герои и антигерои Гражданской его завораживали. Он плохо помнил отца, но тот, кажется, был человеком из того же теста или вернее из того же металла.

Во всей ослепительной плеяде красных, белых, черных, зеленых «звезд» революционного и постреволюционного хаоса Марата больше всего заинтриговала одна: герой, то есть, собственно, антигерой второго фильма Сидней Рейли. До начала работы над сценарием Марат знал, что это заклятый враг советской власти, британский авантюрист с мутным прошлым, главный организатор «Заговора послов», попытавшийся устроить переворот в 1918 году, но угодивший в чекистский капкан. Тогда Рейли сумел уйти, но не угомонился и продолжал вредить молодой республике. В 1919 году в Одессе был посредником между Деникиным и французскими интервентами, потом помогал савинковским террористам, в 1925 году нелегально перешел советскую границу и был арестован сотрудниками ОГПУ.

Фильм рассказывал о финальном, роковом турне английского диверсанта, но Марат с его всегдашней обстоятельностью, конечно, стал изучать всю биографию Рейли — и утонул в ней.

Сидней Рейли был человеком-легендой в самом буквальном смысле: живого человека не получалось отделить от ходивших про него легенд. Многие из них, видимо, он сам и придумал, с фантазией и

удовольствием. Англоязычная биография «Король шпионажа» читалась, как роман Буссенара.

Будущий архивраг большевизма был родом с юга Российской империи — то ли из Одессы, то ли из Херсона. Происхождения непонятного. Не то сын полковника царской армии, не то врача-еврея, а может быть вообще незаконнорожденный. Фамилия, под которой он фигурирует в ранних документах, — Розенблюм, но имя известно неточно. Георгий? Зигмунд? Соломон?

С большей или меньшей достоверностью установлено, что в 1894 году, двадцатилетним юношей, после каких-то неприятностей с полицией, Розенблюм уплывает из Одессы за границу. Затем его след на время теряется.

Молодой человек выныривает в Бразилии, где пристраивается к британской разведывательной экспедиции, и в джунглях, во время нападения туземцев, проявляет чудеса доблести. Вся бразильская эпопея почти наверняка выдумана самим Рейли, хотя черт его знает.

Зато почти наверняка правдива история о том, как в 1895 году, уже в Европе, он напал в поезде на двух итальянских анархистов, специализировавшихся на «эксах», убил их и забрал награбленное. Участие молодого иммигранта в этом налете, впрочем, никогда доказано не было.

В последующие годы он, по-видимому, совершил как минимум еще два убийства. Сначала при весьма подозрительных обстоятельствах скончался муж женщины, на которой Рейли вскоре женился, а затем пропала горничная из гостиницы, где произошла эта нехорошая смерть. Похоже, что отравитель убрал нежелательную свидетельницу. Полицейское расследование ничего не дало.

Однако опасный молодой человек явно не был заурядным душегубом. Окружающие чувствовали в нем что-то особенное, привлекательное. Поначалу Марат воображал себе такого холоднокровного ницшеанца, Раскольников без рефлексий — как в анекдоте «пять старушек — рубль». Типаж отлично укладывался в клише злодея, который двадцать лет спустя будет люто ненавидеть Советскую Россию. Но было нечто, в эту матрицу никак не вписывавшееся. Оказывается, на Западе считается, что Рейли является прототипом главного героя в романе Этель Лилиан Войнич «Овод». У молодой писательницы был с авантюристом роман.

Открытие так сильно поразило Марата еще и потому, что параллельно с работой над сценарием он готовился писать для серии «Пламенные революционеры» роман о народовольце Степняке-Кравчинском, а в советском литературоведении утверждается, что «Овод» списан именно с него. Вот это совпадение! Но кому верить?

Похоже, верить следовало зарубежным филологам. Романтический Артур Бертон («мечтательный, загадочный взор темно-синих глаз из-под черных ресниц») даже внешне был гораздо больше похож на молодого Сиднея Рейли, чем на широколицего, некрасивого и немолодого Кравчинского. По версии английских авторов, тот всего лишь учил англичанку русскому языку.

Марат перестал видеть своего персонажа, перестал его понимать. Факты были слишком противоречивы, характер не складывался. Прототип Овода не мог отравить докучного мужа и потом хладнокровно убрать свидетельницу.

Кто-то — кажется, Флобер — сказал: «Меня как писателя интересует лишь то, чего я не понимаю». Как это верно! Из картонного злодея Рейли превратился в непонятого, но живого человека, и описание его дальнейших походов Марат штудировал уже с совсем другим чувством.

Овод с криминальным уклоном попал в шпионы из-за своего происхождения. Английской разведке были очень нужны предприимчивые люди, хорошо знавшие Россию и русский язык. Две империи издавна соперничали между собой.

Ловкий, не стесняющийся в средствах агент выполнил какую-то секретную миссию в Баку, что-то связанное с нефтью, и видимо справился с заданием блестяще. Кажется, именно после этого он получил и британское подданство, и новое имя, превратившись по документам в ирландца. Потом последовала еще более таинственная поездка в Порт-Артур, как раз в канун японского нападения. Мистер Рейли попал в поле зрения русской контрразведки, подозревался в шпионаже, но ареста избежал — вовремя исчез. В годы перед Первой Мировой, когда Британия и Россия стали союзниками по Антанте, «король шпионажа» переключился на Германию и сыграл какую-то важную, но окутанную туманом роль в англо-немецкой борьбе за иракскую нефть.

Всё это было захватывающе интересно, однако ничем не нарушало первоначальной трактовки персонажа: дерзкий, оборотистый, абсолютно безнравственный пройдоха, «рыцарь без страха, но с упреком».

Не противоречила этому портрету и перемена рода занятий, которая произошла где-то около 1908 или 1909 года. Рейли перестал выполнять поручения английской разведки и переключился на бизнес. Он болтался между странами и континентами, ввязывался в разнообразные деловые предприятия, в основном имевшие отношение к военной индустрии или передовой технике. Например, создал первый в России лётный клуб, очень популярный у состоятельных «спортсменов». Бывшему шпиону явно хотелось разбогатеть, он был большим любителем красивой жизни и красивых женщин. Но расточительство и непоседливость мешали успеху. Мистеру Рейли никак не богателось, во всяком случае по-настоящему.

Его звездный час настал с началом мировой войны. Рейли поселился в Соединенных Штатах, куда рекой полились заказы на вооружение, пристроился к струившемуся из России денежному потоку посредником и наконец достиг того, о чем мечтал: стал миллионером.

А потом произошло нечто загадочное, совершенно необъяснимое.

Осенью 1917 года преуспевающий делец вдруг бросил все свои гешефты, расстался с благополучной нью-йоркской жизнью и записался добровольцем в британскую армию, а затем вызвался ехать с разведывательной миссией в охваченную революцией Россию, к тому времени уже большевистскую. Почему он выкинул столь неожиданный кульбит, ни одна биография толком не объясняла. Алчный делег, на котором негде пробы ставить, по собственной воле кинулся в самое пекло и впоследствии с этого губительного пути уже не сошел, превратился в этакого Овода от контрреволюции — и закончил так же, как герой романа.

«Что за муха тебя укусила? — мысленно спрашивал Марат у фотографии Сиднея Рейли. — Зачем ты сломал свою жизнь, зачем сам вырыл себе могилу? Разве люди твоего сорта совершают подобные поступки? Ты ведь не пламенный Степняк-Кравчинский, ты же акула, рептилия!».

Фотография смотрела спокойными, хладнокровными глазами. Современники писали, что знаменитый разведчик всегда, при любых обстоятельствах сохранял невозмутимость.

В телесценарии Рейли, конечно, был изображен таким, как предписывал канон — прожженным негодяем, который в эпизоде, отсылающем к событиям 1918 года, ощерившись, шипит: «А этого их Ленина я застрелю собственной рукой» — и трясет перед камерой своей хищной пятерней.

Но вообще-то история с пресловутым «Заговором послов», изложенная во всех учебниках по истории, многократно описанная в художественной литературе и запечатленная кинематографом, при внимательном изучении выглядела очень странно и неубедительно.

Принято считать, что это была первая сложная операция ВЧК. Дзержинский с Петерсом подослали к иностранным дипломатам своих секретных сотрудников, латышских стрелков, которые изображали участников подпольной антисоветской организации. Представители Англии, Франции и США клюнули и присоединились к лже-заговору, глава шпионской сети Рейли был обведен вокруг пальца, и в результате коварные происки Антанты были разоблачены перед всем миром.

Зачем молодой, слабой республике понадобилось так обострять отношения с Антантой — непонятно. Это первое. Второе: вообще-то подобные действия являются классической провокацией, абсолютно в духе царской Охранки, и гордиться тут нечем. В-третьих, как-то не очень верилось, что дилетанты из только что созданной спецслужбы могли обдурить такого матерого волка как Рейли. Ну а в-четвертых...

Марат выяснил, что один из ключевых участников прославленной операции Ян Буйкис до сих пор жив, чудесным образом уцелев во всех чистках. С волнением и даже трепетом отправился на встречу с ветераном органов. Тот оказался не так уж дряхл, немногим за семьдесят, вполне в рассудке. Сначала рассказал, почти слово в слово, то, что было напечатано в книгах, но когда Марат стал задавать приготовленные вопросы, пенсионер союзного значения вдруг стал путаться в фактах и датах. Это бы ладно, все-таки полвека прошло, но старик наговорил такого, чего не было и быть не могло, а про какие-то события, в которых, согласно отчету Петерса, Буйкис лично участвовал, собеседник явно слышал впервые. Всё это было непонятно.

Тогда, в период работы над сценарием, попасть в архив КГБ не получилось. Директор картины не пожелал затевать бумажную волокиту, сказал: «Пишите по опубликованным материалам, их более чем достаточно». Если бы не знакомство с Серафимом Филипповичем, Марат никогда не проник бы в хранилище секретов государственной истории. И не совершил бы кражи, за которую можно было дорого поплатиться. Хотя как можно украсть то, чего не существует?

Когда писатель сдавал взятые под расписку документы, сотрудник архива всё скрупулезно сверил по описи. Там среди прочего значился «Путеводитель «Московские улицы» 1916 г. изд., обернутый в газету «Копейка» от 04.05.1918». Вот книжка — пожалуйста. Вот обертка. А никакие листки в описи не упоминались.

Марат, в отличие от Сиднея Рейли, был совсем не авантюрист, не искатель приключений. Покрылся сначала мурашками, потом холодной испариной, но добычу из архива вынес.

Английский он знал неважно, да и почерк трудный, но в конце концов все слова разобрал, перевел, отпечатал на машинке.

Похоже, это были выписки из какого-то старинного японского трактата, с комментариями Рейли. Чем первоисточник так заинтересовал шпиона и почему он спрятал листки под обложкой — загадка. Такая же, как сам Рейли.

Один из новых, лестных знакомых Марата, очень популярный писатель-фантаст, в прошлом был переводчиком с японского. Просмотрев текст, Аркан (в этой компании у всех были прозвища), уверенно сказал:

— Как же, как же. Знакомая писанина. Когда я после войны работал в лагере для японских пленных, у многих видел эту книжонку, она входила в перечень литературы, рекомендованной солдатам. Называется «Хагакурэ», «Сокрытое листвою». Автор — самурай, живший два с половиной века назад, его звали Цунэтомо Ямамото. Очень странное сочинение. Там среди всякой чепухи — например, совета мочить лоб слюнями, чтобы успокоиться — попадают довольно оригинальные мысли. Считалось, что чтение «Хагакурэ» укрепляет самурайский дух.

— А что такое «Путь Искренности»? — спросил Марат про самую последнюю запись.

— Там по-английски как было?

— «Way of Sincerity».

— Наверно в японском оригинале «сэйдзицу» или «сэй», первый иероглиф этого слова. Японцы обожают сэйдзицу и часто употребляют этот термин. Есть старинная поговорка: «Лучше потерять жизнь, чем сэйдзицу». Точного перевода не существует. Буквально получается глуповато: «истинная настоящесть». Мне однажды у Акутагавы подалось. Персонаж спрашивает: «А в этом человеке есть сэйдзицу?». Я долго думал, в конце концов перевел: «А ему можно доверять?», но это очень, очень приблизительно. Самое близкое по контексту русское соответствие — «стержень». Некая внутренняя прочность, цельность, неподдельность.

Про это Марат потом тоже много думал. И роман, который возник сам собой, про бегущего за трамваем человека, назвал «Сэйдзицу» — пусть будет такое же непонятное, как главный герой.

За воротами Новодевичьего, на троллейбусной остановке, кто-то тронул сзади за плечо.

Джек Возрожденский, поэт. У могилы Марат его не видел, да Джека там и не было — иначе бросился бы в глаза. Он всегда и везде бросался в глаза. На похоронах Кондратия Григорьевича все были в черных костюмах и черных галстуках, а на Джеке — яркая клетчатая ковбойка с короткими рукавами, синие американские штаны, в которых ходили *правильно модные* (выражение Антонины) люди. Штаны назывались «джинсы», их привозили из капстран немногие «выездные», или же надо было доставать у фарцовщиков за безумные деньги, минимум рублей за пятьдесят. Но Джек, конечно, купил свои где-нибудь в Европе, он не вылезал из загранок. С тех пор как сам Жан-Поль Сартр назвал его «звонким голосом новой России», Возрожденского наперебой приглашали на иностранные литературные фестивали.

— Привет, Дантон, — сказал Джек, скаля крупные неровные зубы. Он вечно переиначивал имена знакомых, блистал эрудицией. Марат у него бывал и Робеспьером, и Бабёфом, и даже каким-нибудь малоизвестным Колло д'Эрбуа. — Ты чего тут?

Ответить Марат не успел — Джек редко дожидался ответов на свои вопросы, он был человек монологический.

— Я — «волей пославшей мя жены». Выполнял общественно-семейное поручение — приводил в порядок могилу тестя. Он был комбриг. «Господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир». Жутко везучий — помер от инфаркта в тридцать шестом. Знаешь мое стихотворение «Лотерейный билет»? «Одни выигрывают «Волгу», другие — смерть в кругу родных». Это ведь я про тестя писал, мало кто знает. Так кто у тебя тут закопан?

Опять не дождался ответа.

— погоди. Я догадался. Сегодня же воскресенье. По воскресеньям ты надеваешь черный галстук, то бишь шляпу с траурными перьями, и шакалишь по кладбищам, разыскиешь вдохновения, некрофил несчастный. У тебя «Воскресная поездка», да?

Засмеялся, довольный своим остроумием. В его среде считалось хорошим тоном шутить над вещами, над которыми скучные люди не шутят. Например, над кладбищами и смертью. «Я умру, как скворец. Спел, упал, и конец», — говорилось в одном из самых известных стихотворений Возрожденского.

Повесть Марата была напечатана в «Юности» полгода назад. Он еще не привык к своей новообретенной известности. К сорока годам как-то свыкаешься с мыслью, что никаких чудес в твоей жизни больше не случится. Так и будешь до гроба извозничать прозаиком третьего ряда, писать заказные романы для серии «Пламенные революционеры». Марат думал, что его жизнь — дромадер, одногорбый верблюд. Сначала поднимает тебя вверх и ты воображаешь, что ты — царь горы, а потом опускает вниз, к хвосту и заднице.

Однако жизнь оказалась не дромадером, а двугорбым бактрианом. Спустив вниз, вдруг неожиданно опять подкинула кверху. И второй горб оказался выше первого.

В сорок четвертом, закончив семилетку, Марат, как все интернатские, попал прямиком на завод. В первый же день по своей природной неуклюжести пропорол токарным сверлом руку. Разжаловали в подметальщики. Двенадцать часов в день — увеличенная смена военного времени — собирал металлические опилки. На всю жизнь возненавидел запах мертвого железа. Поступил в вечернюю школу только для того, чтобы раньше отпускали с работы. Потом была заводская многотиражка, статьи о передовиках и «узких

местах производства», заочный Литинститут, первые рассказы — очень слабые, рассылавшиеся по всем редакциям, которые обычно даже не отвечали. В сорок девятом вышло постановление ЦК «О новых задачах советской литературы». Смысл документа заключался в том, что хватит предаваться героическим воспоминаниям о войне, пора переориентировать читателей на мирную жизнь и мирное строительство. В молодежном журнале «Искра» кто-то вспомнил, что среди рукописей, присланных вчерашними лейтенантами, было что-то на производственную тематику и автор — совсем молодой парень, не интеллигент, а рабочая косточка.

Так Марат начал печататься, продолжая работать в заводской газете. Через пару лет получил заказ на повесть о связи поколений — революционного и нынешнего, послевоенного. Написал, отправил, несколько раз переделывал, учитывая редакционные поправки. Наконец повесть вышла, особенного интереса у читателей не вызвала, но попала на глаза какому-то большому человеку — может быть, даже Самому Большому (все знали, что он лично следит за новинками литературы).

Однажды Марата прямо с прокуренной планерки срочно вызвали по телефону в обком, где он никогда раньше не бывал. Первый секретарь вышел навстречу из-за стола, долго жал руку, говорил, какая это честь для всего Урала. Повесть получила Сталинскую премию. Правда, третьей степени, но это всё равно было нечто невообразимое, фантастическое.

Жизнь сказочно переменилась, Марат вскарабкался на первый горб верблюда. Финансовая составляющая премии, 25 тысяч, показалась ему колоссальным богатством (в редакции у него была зарплата девятьсот рэ), но деньги были чепухой по сравнению с внезапно открывшимися горизонтами.

Пришло приглашение возглавить отдел прозы в столичном журнале «Искра», и Марат переместился из грязного, нищего города в Москву, которую не видел пятнадцать лет, с детства.

Москва очень изменилась. Украсилась высотными домами, широкими проспектами, по улицам ходило невероятное количество мужчин в шляпах и женщин в шляпках (на Урале все носили кепки и платки). Год спустя Марат и сам носил шляпу, жил в отдельной

квартире с ванной, был женат на принцессе и ездил на собственном автомобиле «москвич» — тесть подарил к свадьбе.

Царем горы он пробыл года три, потом пополз с горба вниз. Сначала разучился писать — вернее разучился писать плохо, а хорошо не получалось; в результате с пóтом, скрипом и скрежетом, очень скудно, выдавал серую середнятину, печатался редко и превратился из молодого многообещающего в нечто скучное, вчерашнее. Потом настали новые времена, задули новые ветры, сталинское лауреатство из почетного титула превратилось в нечто, чего следовало чуть ли не стесняться. Зажиточность кончилась, семья распалась, чему поспособствовали угрюмые многодневные запои. От алкогольной напасти Марат в конце концов вылечился, но, выражаясь языком экономики, вошел в период затяжной рецессии и смирился с тем, что никогда уже из нее не выберется.

Верблюд продемонстрировал, что у него имеется и второй горб, только в прошлом году. Сначала был телефильм, очень прибыльный во всех смыслах кроме репутационного. Потом повесть, написанная по гениальному рецепту Кондратия Григорьевича, превратила «некрепкого середнячка» (цитата из обидной рецензии, после которой случился первый запой) в *интересного прозаика* — это еще лучше, чем модного.

Повесть, а скорее длинная новелла с нарочито скучным названием, рассказывала про одинокую старую женщину, которая в воскресенье приезжает на кладбище с большим букетом цветов. Букет странный — все цветы в нем разные: роза, астра, гвоздика, георгин, ромашка и так далее. Старуха движется каким-то известным ей одной маршрутом от могилы к могиле, перед каждой долго стоит, вспоминает покойника, кладет один цветок, идет дальше. Таким образом произведение сплетено из небольших рассказов об умерших людях, которых помнит только одинокая старая женщина, но она скоро тоже умрет и тогда от них вообще ничего не останется. «Потому что никому ничего не нужно» — такой была самая последняя фраза. Но пока женщина жива, продолжают жить и важные для нее мертвецы. Кто-то из них погиб на войне, кто-то скончался от тяжелой болезни или угодил в аварию, а нескольких «постигла судьба еще более страшная» — какая именно, не говорится, но читателям всё понятно. Критики особенно хвалили повесть за «драматичный лаконизм и

магнетическую недосказанность», в одной статье даже сравнили с айсбергом. На самом же деле Марат просто выполнил рекомендацию своего онси, Учителя: сначала написал эпизоды про реальных людей, репрессированных в тридцатые, потом эти куски выкинул. Осталась звенящая пустота, она и притягивала.

Но самым главным счастьем новой жизни и второй молодости была «понеделничная книга», как про себя окрестил Марат новый роман. Потому что писал его только по понеделникам — еще одно великое открытие, уже собственное.

Литературную работу нужно делить на повседневную и праздничную. Первая — для издательства, вторая — только для себя.

Марат писал параллельно романы про обоих Оводов. Шесть дней в неделю, по три часа в день, — заказной, про Степняка-Кравчинского. Один день отвел для Сиднея Рейли и, бывало, засиживался за столом до глубокой ночи.

Обычно люди с нетерпением ждут воскресенья, он же не мог дождаться понеделника. Энергия накапливалась и пузырилась, как газ в бутылке шампанского, — и так же празднично выстреливала, когда Марат утром в понеделник придвигал к себе проворную гэдээровскую «Эрику». «Пламенного революционера» он печатал на неторопливой, лязгающей отечественной «Москве». Рабочих столов в тесном кабинете было два. Над одним пришпилены фотографии из папки «Рейли», над другим — из папки «Степняк».

Надо сказать, что и стопроцентно советская книга про героя-народовольца теперь писалась по-другому. Намного свободнее, без прежней натуги и тоже с живым интересом. Человек-то был неординарный, и судьба поразительная.

Наверное, эту новую жизнь можно было бы назвать счастливой, но разве писатель, настоящий русский писатель умеет быть счастливым? Настоящий и русский — нет. Счастливую жизнь прожил Кондратий Григорьевич, зачарованный принц соцреализма, ну так он за это и заплатил — тем, что так и не стал настоящим. Правда, после него остались рукописи, написанные «в стол», но трудно поверить, что человек, до такой степени ценивший комфорт и покой, мог написать что-нибудь уровня «Мастера и Маргариты» или гроссмановской саги, которую перепечатывали на машинке.

— Что? — переспросил Марат. У него часто бывало, что, отвлекшись на собственные мысли, он переставал слышать собеседника.

— Я говорю, поехали к Гривасу. Сегодня же «воскресник». Выпьем водочки, помянем совклассика, старого лиса. Природу он описывал неплохо, — сказал Джек Возрожденский.

«Воскресником» назывались еженедельные сборища, который устраивал у себя Гривас, предводитель всех московских *интересных людей* — писателей, поэтов, художников. Другое название — ироническое, дореволюционное — было «журфикс». У Гриваса на входной двери висела утащенная из какого-то казенного учреждения суровая табличка «Посторонним вход воспрещен». По воскресеньям перед третьим словом приклеивалась бумажка с частицей «не», но посторонних, конечно, там никто не ждал. Попасть в этот круг было еще труднее, чем вступить в Союз писателей. Иногда, поднимая рюмку для тоста, Гривас шутливо обращался к приятелям: «Товарищи члены и кандидаты в члены Политбюро». Марат пока чувствовал себя «кандидатом». На журфиксы без приглашения, как другие, ни разу не приезжал — стеснялся. Но если с Возрожденским — другое дело.

Пить водочку он не собирался, с этим навсегда покончено, но после черных галстуков, после скучных рож эспэшных секретарей побыть в компании живых, остроумных людей, где не только пили и зубоскалили, но, бывало, и вели серьезные разговоры, было соблазнительно.

— А что? Поехали, — беззаботно ответил Марат, решив, что Степняк-Кравчинский его простит. В конце концов в трудовом законодательстве написано, что всякий советский гражданин имеет право на отдых.

Пламенные революционеры

Кочегар истории

Роман о Сергее Степняке-Кравчинском



Глава первая

15 апреля 1895 года

— Пришел ваш русский медведь, — сказала домашняя помощница. Слово «служанка» в доме не употреблялось, да Дженни и не прислуживала, она по-матерински заботилась о старике, хотя по возрасту годилась ему во внучки. — Сказать, что вы работаете?

— Нет, пусть заходит.

Старик сунул гушиное перо в чернильницу. Он любил новые идеи и новых людей, а вещи любил старые и даже старинные: канделябр со свечами, зеленое сукно, допотопные письменные принадлежности. Стальных перьев не признавал.

Лицо тоже было нелогичное, противоречивое. Длинная седая борода библейского пророка, глубокие морщины на высоком лбу, а глаза очень молодые, ярко-голубые, веселые.

Он говорил: «В молодости следует жить настоящим, тем что вокруг тебя, а в старости — будущим, тем, что будет после тебя, потому что в первой половине жизни ты берешь, а во второй отдаешь». Пока был молод, он казался старше своих лет, с возрастом же словно делался всё моложе. И жить ему становилось всё легче. Его девиз, каллиграфически выведенный на картонке и помещенный в рамку, был «Take everything easy»^[3].

Всем с ним тоже было легко. Мужчинам — весело и интересно. Как говорится, хоть на пир, хоть в драку. Женщины же, какого угодно возраста и социального положения, всегда относились к нему бережно и любовно, словно он был соткан из воздуха и в любой момент мог растаять.

Старику оставалось недолго, он был болен и говорил об этом без грусти. Дженни молилась и плакала у себя в комнате, тихонько. Молиться и плакать в этом доме не разрешалось.

— Я так и думала, что вы его примете, вы всегда ему рады, — сказала она, видя, что лицо старика просветлело. — Уф, какой же у вас беспорядок! Когда вы наконец разрешите мне обратиться в кабинете, мистер Эйнджелс?

Она всегда так его называла: «мистер Ангелов», сколько ни поправляй, немецкая фамилия «Энгельс» неповоротливому языку уроженки Ист-Энда не давалась.

В дом 41 на Риджентспарк-роуд переехали недавно, всё тут было временное, и хозяин основательно обустроиваться не собирался, потому что какой смысл? Скоро помирать.

— Потом приберешься, — беспечно ответил он. — Когда мой прах развеется над морем. А пока, хоть одну бумажку с места тронешь — прокляну перед разверстой могилой и потом буду являться по ночам.

— Тьфу на вас с такими шутками, — тихо пробурчала Дженни, выходя. И громко, гостю: — Давайте шляпу, он вас примет!

Энгельс поднялся. В прежние времена обязательно выходил из-за стола, но в последнее время ослабел, просто протягивал исхудавшую руку.

— Дорогой Степняк, дьявольски рад.

Карл когда-то сказал: «Революционеров и писателей следует называть именем, которое они сами себе выбрали». И тут же поправился со своей всегдашней любовью к точным формулировкам: «*Хороших* революционеров и *хороших* писателей, ибо плохие революционеры и плохие писатели — ничемнейшие существа на свете, и называть их вообще никак не нужно, просто выметать из своего круга метлой».

Сергей Кравчинский, псевдоним «Степняк», был и то, и другое: хороший революционер и хороший писатель.

Он был плечистый, кудлатый, растрепанно бородатый, с широким лицом, очень похожий на Карла в сорок с небольшим. Уже одно это вызывало симпатию. А кроме того Степняк, как и сам Энгельс, тоже был весь соткан из несоединимых противоречий. (Откровенно говоря, только такие субъекты и бывают интересны.)

Говорил Степняк всегда просто и четко, будто рубил топором, но писал умно и изящно, даже поэтично — «по-женски», как называл это Энгельс, убежденный, что женщины — лучшая часть человечества и делают всё или почти всё лучше, чем мужчины. Однажды в разговоре, выяснилось, что русский медведь точно такого же мнения о женском поле, несмотря на всю свою брутальность.

Брутальность впрочем была обманчивая. При близком знакомстве очень скоро становилось понятно, что это человек невероятно мягкий и добрый. Если и медведь, то плюшевый. Как это сочетается со стальной биографией — загадка. Рассказывать о себе Степняк не любил. Он был из людей, которые с увлечением говорят об идеях и со скукой о событиях, особенно из прошлого. «Мало ли что было, главное, что есть и что будет», — отвечал он, когда кто-нибудь пытался расспросить его о героическом прошлом. И переводил разговор на другую тему.

Но Энгельс пообещал себе, что однажды раззадорит человека-легенду на рассказ, и тогда станет ясно, сколько там легенды, а сколько правды. По русскому было видно, что врать он не умеет и не станет.

Почему бы и не сегодня, сказал себе хозяин, внутренне улыбаясь.

— Как это мило, что вы пришли ко мне с подарком, — кивнул он на сверток, который гость держал под мышкой. — Ну поздравляйте, поздравляйте.

— С чем? — удивилась простодушная жертва.

— Как? Разве вы пришли не поздравить меня с днем рождения? — изобразил удивление и Энгельс. — Вот тебе на.

Эти слова, «vot tebe na», он разочарованно произнес по-русски. Среди двух десятков языков, на которых читал и свободно изъяснялся самый умный человек эпохи (его называли и так), конечно, был и русский.

Однажды Энгельс отвечал на дружескую анкету. Там был вопрос: «Что вы больше всего любите?». «Дразниться и быть дразнимым», — написал респондент со всей откровенностью. На самом деле родился он в ноябре и до следующей годовщины дожить не рассчитывал, но хитрость отлично сработала.

Гость запаниковал.

— Ой, как неудобно... Нет, в свертке статья для «Neue Zeit», которую я обещал написать... Но я вас от души поздравляю... А подарок... Я обязательно что-нибудь в следующий раз преподнесу. Честное слово.

— Дарить подарки нужно в день рождения, — строго молвил Энгельс. В его удивительных глазах сверкнули веселые голубые искорки. — Иначе плохая примета. Мы с вами, конечно, материалисты,

но зачем искушать судьбу? Особенно, когда у человека неважно со здоровьем.

Закашлялся.

— Что же вам подарить?

Степняк зашарил по карманам. Вынул железную расческу, тощий кошелек, носовой платок, огрызок свинцового карандаша, потрепанный блокнотик. Больше ничего не было.

— Подарите мне рассказ о вашей жизни. Вот и будет отличный подарок, — нанес *coup de grâce* Энгельс.

Он всегда своего добивался. Добился и теперь.

Простофиля даже обрадовался:

— Хорошо, коли вам угодно. Только жизнь у меня дурацкая, шиворот-навыворот.

— Как это «шиворот-навыворот»?

— У умного человека как? Он сначала долго думает, потом действует. Как русский богатырь Илья Муромец: тридцать лет и три года пролежал на печи, а потом вышел из избы и стал махать-рубить направо-налево. Я же сначала намахался-нарубился, а теперь вот сижу на печи, тут, в Лондоне, думаю: что я в своей жизни сделал правильно, что неправильно. Илья Муромец в отставке.

Улыбка у русского была очень славная, сконфуженная. Энгельс им любовался.

— Стало быть, вы ощущаете себя сказочным богатырем?

— Кем я себя ощущаю?

Кажется, Степняк никогда об этом не задумывался. Люди такого склада не имеют привычки долго о себе размышлять, рефлексии не их forte.

— Богатырем — нет... Я сказок и в детстве-то не любил. Там героям вечно какая-то волшебная сила помогает.

— А что вы любили в детстве? — с любопытством спросил хозяин. Как ни странно, было очень легко представить этого довольно устрашающего господина мальчиком: выражение лица в точности такое же, лоб наморщен, глаза смотрят пытливо, только бороду долой.

— Железную дорогу. Паровозы. У нас на Херсонщине как раз первую трассу проложили. Вот это казалось мне настоящим чудом, не то что сказки: несется по полю, по железной колее огнедышащий Змей, пыхает черным дымом, искры летят, тащит за собой короба, а в

них люди, много... Я и историю так же вижу. Ее паровоз — революция, она меняет эпохи и формации, ускоряет бег времени, везет людей вперед, в будущее. И для того, чтобы паровоз разогнался, нужна слаженная работа специалистов, знающих, что и зачем они делают. Есть инженеры, придумывающие, как проложить путь. Это вы с Марксом. Есть машинисты, управляющие локомотивом. А есть кочегары, кидающие в топку уголь. Они всего лишь рядовые солдаты в железнодорожном войске, но без них паровоз остановится. Я — кочегар истории, вот кем я себя чувствую.

Метафора была не слишком оригинальная, но Энгельсу понравилось и это. Он всегда недолюбливал оригинальничавших людей, большинство из них позёры.

— Рассказывайте, рассказывайте. Прямо с детства, с юности.

— Да право нечего, — развел руками Степняк. — Детство как детство, а юность глупая, как у всех.

Поняв, что так из него много не вытянешь, Энгельс сменил тактику.

— Тогда давайте по-другому. Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечайте. Правду ли говорят, что вы были капитаном царской армии?

— Поручиком. Верней подпоручиком. Третью звездочку мне дали при выходе в резерв. Отец определил меня в кадетский корпус, потом было артиллерийское училище, но прослужил я всего год. Армия затягивает тебя в ремни, сажает на поводок, а мне хотелось свободы, идти не куда приказывают, а куда позовет сердце.

— И куда же оно вас позвало?

— В народ. Мы вдвоем с приятелем, таким же горе-поручиком, были из первых ходяков-пропагандистов. Думали, достаточно растолковать крестьянам, что их будущее в их же руках, и за нами пойдут толпы. Смешно вспоминать. Два зеленых молокососа, ряженные по-простонародному, воображали себя пророками. Я ведь еще и книжку для крестьян написал, излагал им в доступной форме Марксов «Капитал». Называлась книжка «Мудрица Наумовна». Начиналась она так: «То не ветер воет по дубравушке, то не дождь мочит зеленую траву, то стонет русский народ от злых врагов, то льет он свои слезы горькие». — Рассказчик засмеялся. — Нас с Митькой, конечно, в два счета выловили, посадили в каталажку, да я сбежал и с тех пор по

своему паспорту больше уже никогда не жил. Выражаясь романтично, стал профессиональным революционером, а неромантично — бродягой.

— Правда ли, что вы отправились в Герцеговину, когда там началось восстание против турецкого владычества?

— Да. Только я туда поехал не по возвышенному порыву, а из сугубо практических соображений. Нас таких, русских добровольцев, было несколько десятков человек, все вроде меня. Думали, что половина наверно погибнет, зато остальные научатся партизанской войне, и это нам пригодится, когда в России полыхнет революция.

— И вы действительно командовали у повстанцев артиллерией?

Опять широкая улыбка.

— Это так только называлось. Всей артиллерии была одна пушка, и ту бросили, когда драпали от турок.

Иных подробностей не последовало.

— Еще рассказывают, что вы участвовали в знаменитом Беневентском походе?

— Послушайте, мне было двадцать пять лет, я тогда считал истинной верой анархизм, а пророком Магометом мсье Бакунина. Мог ли я остаться в стороне, когда ревнителю свободы затеяли разжечь в Италии пламя анархистской революции? Только знаете, анархисты, да еще итальянские — это бардак в квадрате. Мы захватили городок, произнесли перед ошеломленными крестьянами тыщу зажигательных речей, разрешили им никого не слушаться и не платить налоги, сожгли королевский портрет, а потом нагрянули карабинеры, и мы долго бегали по горам, прежде чем нас всех не переловили. Мы даже не отстреливались, потому что от чрезмерной любви к свободе и красному вину впопыхах забыли в городке шомполы. Так они и остались в ведерке с ружейным маслом. Нечем было заряды в стволы забивать. Тогда-то я и понял, что на анархистском угле паровоз революции далеко не уедет.

— Вы рассказываете об этом как о фарсе, но ведь вас приговорили к смертной казни?

— Только собирались. А потом на трон сел новый король, и мы попали под праздничную амнистию. У итальянцев и революционеры, и сатрапы не особенно свирепые. Посидел я полгодика в тюрьме, в хорошей компании. Выучил итальянский.

— А также, говорят, научились владеть итальянским stiletto? И это искусство по возвращении на родину вам пригодилось. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы убили начальника всей царской тайной полиции.

Здесь Степняк помрачнел, насупил кустистые брови.

— А вот про это я ни вспоминать, ни тем более рассказывать не люблю.

— Что возвращает нас к теме давешнего спора, — не стал настаивать хозяин. — О неэффективности и даже вредности террора. Это подростковая болезнь революционного движения, она не должна становиться хронической. Необходимо ее перерасти. Вы не согласились, обещали изложить ваши доводы в статье. В свертке — это она? Давайте, прочту.

Гость зашуршал газетой, в которую была завернута рукопись.

— Знаете, я долго думал после нашего разговора. И существенно скорректировал свою позицию. Конечно, вы правы. Мы, русские, пустились в террор от нетерпения и безысходности. Видели, что никак по-другому расшевелить инертную народную массу не получается. Ну и ненависти за погубленных товарищей тоже накопилось много... И еще одно на меня подействовало, когда я писал статью. Из России пришла весть, которая меня очень взволновала.

— Какая? — живо спросил Энгельс.

— Помните дело Александра Ульянова? О покушении на Александра Третьего?

— Конечно. Восемь лет назад. Заговорщиков схватили и повесили.

— По нашим каналам сообщают, что брат Александра, Владимир Ульянов, молодой юрист, пошел иным путем, марксистским. Он и его товарищи отвергают террор. Они сосредоточились на агитации среди столичного пролетариата. У них подпольная организация, которая ставит своей целью создание рабочей партии.

— Вот это дело настоящее! Небыстрое, зато надежное. Идеи — оружие намного более действенное, чем кинжал или револьвер. А главное, идею не отправишь на виселицу...

— Но террор тоже необходим! — перебил Степняк, загораясь. Всегда очень вежливый, возбуждаясь, он становился нетерпелив. — Об этом и моя статья! О том, что царубийство само по себе ничего не

решает, но, если нанести удар в решающий момент, когда революция назрела, этот акт способен совершенно парализовать власть! Да, тысячу раз да — идеи, агитация, пропаганда, кропотливое партийное строительство! Но понадобится искра, от которой грянет взрыв! И понадобятся герои, готовые взорвать себя ради святого дела!

— А не жалко губить героев ради какого-то коронованного ничтожества? — возразил Энгельс.

Спорили до глубокой ночи.

«Воскресник»



После тестя, знаменитого кинорежиссера, Гривасу досталась квартира в высотке на площади Восстания — огромная, четырехкомнатная. По сравнению с ней Маратова тридцатиметровая, когда-то в послевоенной скудости казавшаяся роскошной, была просто позорищем. Жена говорила: стыдно позвать приличного гостя. Они и не звали. У них, на Щипке, было две комнаты, «маленькая» и «большая». А у Гриваса — столовая, гостиная, спальня и кабинет, который торжественно назывался «операционная». Хозяин любил цитировать профессора Преображенского из самиздатской повести Булгакова: «Я не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной». Столь же привольно существовали и остальные завсегдаи «воскресников» — хорошо зарабатывающие, с отдельными квартирами, машинами, дачами. Достаток был

заслуженный. Все они были люди известные. Но это-то не штука — среди прежних Маратовых знакомых имелись персонажи познаменитей и побогаче. Однако в Союзе совписов знаменитость и зажиточность обычно обременялись хреновой репутацией. За кем-то тянулся шлейф стукачества или разгромного витийства в «трудные годы», кто-то считался «казенным соловьем соцреализма», а кто-то послушно «колебался вместе с линией партии». У Гриваса всю эту братию презрительно называли «молчалками» — соединение «мочалки» с грибоедовским Молчалиным — и в свою среду не допускали. На «воскресниках» никто не морализаторствовал, на котурны не вставал, здесь хватало субъектов вздорных, малоприятных, скандальных (тот же Джек спьяну делался дурным), но Молчалиных и Петров Петровичей Лужиных не водилось.

В просторной квартире на площади Восстания по-западному разбредались кто куда, с рюмками и бокалами в руках. Да все за одним столом и не поместились бы, тут обычно набиралась компания человек в тридцать, а бывало, что и больше. Гривас гордился тем, что он «стратег социальных коммуникаций», наследник Анны Павловны Шерер. «Залог успеха светского салона — разнесение солнечных систем, — балагурил он. — Во всяком сообществе есть светило и есть притягиваемые к нему планеты. Надо располагать гостей такими группами, чтобы два светила не затмевали друг друга». Поэтому обычно в каждой из комнат кучковались отдельные группки и велись автономные беседы. Хозяин перемещался от одной к другой, всюду блистая, при необходимости подкидывал тему. Иногда спор переходил в крик и ссору, все были молодые, а многие нетрезвые — Гривас немедленно появлялся на шум, но не растаскивал сцепившихся, а с удовольствием наблюдал за корридой, любил «силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе». Посмеивался в усы, потряхивал львиной гривой. (Он получил кличку еще и из-за нее, а не только потому что «Григорий Васильев».)

Марат был не из «светил», а из «планет». Слушал и наблюдал, рот раскрывал редко — только если с кем-то один на один. На публике тушевался. Оказавшись на «воскреснике», он обычно переходил из комнаты в комнату, прислушиваясь к беседам, и застревал там, где обсуждали или рассказывали что-то важное. Компания была хороша

тем, что кроме хохмачества и сплетен, до которых Марат был не охотник, где-нибудь обязательно разговаривали и о серьезном.

Сегодня, кажется, народу собралось больше обычного. Человек пять или шесть оккупировали даже прихожую — которая размером превосходила «большую комнату» на Щипке. В центре размахивал руками Гога, постановщик картины, которая недавно вышла на экраны и вызывала жаркие споры. Публика поделилась на тех, кто пришел от новой киностилистики в восторг и кто на нее морщился. Первых было намного больше.

Возрожденский относился к числу вторых. Едва войдя, он сразу накинулся на Гогу, сюсюкающим голосом передразнивая главную героиню:

— «Ты меня любишь? А я тебя люблю!» Ты где таких баб видал, жеманник? У тебя любовники в постели лежат, будто не трахались, а в кубики играли. И целомудренное затемнение вокруг, одни носы видно.

Здороваться на «воскресниках» было не принято. Даже коротко, как в модной песенке: «Уходишь — счастливо, приходишь — привет». Хорошим тоном считалось вести себя так, словно и не расставались.

— О, любимец советской молодежи пожаловал. Ну поучи нас, поучи секс изображать, — парировал Гога. Он за словом в карман не лез. — Как там у тебя в бессмертных строках? «Сидишь беременная, бледная. Я пошутил, а ты надулась». Или вот это: «Постель была расстелена, а ты была растеряна и говорила шепотом: «Куда же ты, ведь жопа там?»».

Оставаться в прихожей Марат не стал. Во-первых, не выносил похабщины. Во-вторых, фильм про импозантную любовь представителей двух остромодных профессий, физика-ядерщика и стюардессы, был «не пыльца».

Отношение к художественным продуктам — кинокартинам, спектаклям, литературе — у Марата было писательское, то есть сугубо потребительское. Все произведения он делил на «пыльцу» и «не пыльца». Вообразил себя пчелой, которая на одни цветки садится, а на другие нет. Потому что пчела чувствует, что ей пригодится для производства меда, а что не пригодится или даже повредит. Поскольку никакого другого смысла кроме выработки меда в существовании пчелы нет, она должна слушаться своего инстинкта.

Бывало, начнет он читать новый роман, и вроде бы не к чему придраться: стиль неплох, сюжет не буксует, тема не высосана из пальца — а мертвая вода, никакой искры. Прочтет десять, двадцать страниц — откладывает. То же и с кино. Редко когда высиживал больше четверти часа — уходил. Не потому что плохо, а потому что «не пыльца».

Он и к людям относился так же. За одними хотелось наблюдать, запоминать жесты, интонации, мелкие детали, от других делалось скучно. Уродская профессия писатель, инвалидная.

В коридоре состязались фельетонист Вика из «Литгазеты» и актер Ширхан, прозванный так за тигриную вкрадчивость и острозубие. Это было их всегдашнее развлечение: Ширхан, у которого была фантастическая память, цитировал всякую советскую чепуху, а эрудит Вика угадывал, откуда это.

— «Иногда мы — кстати, совершенно незаслуженно — говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью, — передразнивал Ширхан чей-то бойкий, развязный говорок. — Свинья — все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит».

— Элементарно. Семичастный про Пастернака, доклад на сорокалетию ВЛКСМ, — пожал плечами Вика. — Ну, в третий раз, Лаэрт, и не шутите. Деритесь с полной силой; я боюсь, вы неженкой считаете меня.

Ширхан перешел на грузинский акцент:

— «В последнее время во многих литературных произведениях отчетливо просматриваются опасные тенденции, навеянные тлетворным влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной деятельностью иностранных разведок. Все чаще на страницах советских литературных журналов появляются произведения, в которых советские люди — строители коммунизма изображаются в жалкой карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества».

— Кто — понятно, — задумчиво произнес Вика, глядя в потолок. — Когда и где? ...Хм. Низкопоклонство, космополитизм...

Встреча с творческой интеллигенцией, сорок шестой год. «В ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет главного — марксистско-ленинского анализа». Так?

— Туше, — развел руками Ширхан. — А это? — И старческим дребезжающим фальцетом: — «Долг всякого советского писателя — верно служить Родине, партии, народу. Партия дала советским писателям все права, кроме одного — права писать плохо».

Но Вику было не победить.

— Леонид Соболев. Выступление на Четвертом съезде Союза писателей. Я там тоже был, мед-пиво в буфете пил.

И Марат там был, но даже в буфет не наведалься, сразу сбежал. «Пыльцой» на нудном сборище не пахло.

Ушел он и из коридора. Фрондерское зубоскальство над «совреалиями» (это слово здесь произносили морщась) его не забавляло. Чем-то это напоминало хихиканье над барином в людской. В глаза «ваше сиятельство» и поклон, за спиной — гримасы и верчение пальцем у виска. Уж или одно, или другое. Марату больше импонировал стиль покойного Кондратия Григорьевича, который предпочитал держаться от «барина» на отдалении, но и вольнодумством не бравировал.

В столовой было очень много народу. Там читала новые стихи Белочка. Нервная, трепетная, с пушистым хвостом рыжих волос, качавшимся, когда она встряхивала головой, поэтесса была действительно очень похожа на белку, да не какую-нибудь лесную, а ту самую, пушкинскую. Гривас говорил, что всё совпадает: лучшие ее стихи — чистый изумруд, не лучшие — скорлупки золотые, и Белочку тоже «слуги стерегут», поскольку она всегда окружена преданными поклонниками.

— Следующая работа назвала себя «Мой день», — сказала Белочка вялым сонным голосом. Она именовала стихи «работами» и утверждала, что они сами объявляют ей свое имя.

Прозой Белочка всегда говорила сонно, оживала только декламируя стихи. Вот и сейчас она встрепенулась, подалась вперед и ввысь, хвост метнулся вправо и влево, голос завибрировал.

О как прозрачно и лучисто,
Младенец мой, мое растение,

Стартует день, простой и чистый,
Мой первый снег, мой дождь весенний.

Ах утро, утро, ты — подснежник!
Сквозь наст лежалый пробиваясь,
Ты знаешь только слово «нежность»,
Тебе неведома усталость.

Марат перестал слушать. Было у него такое полезное умение, которое часто уберегало от «не пыльцы» на обязательных собраниях, при скучных беседах или на спектакле, с которого нельзя сбежать. Просто убавлял звук до минимального, и слова сливались в безобидный рокот.

Белочкины стихи Марату не нравились. Как и их авторесса. Белочка требовала, чтобы про нее говорили или «поэт» или «авторесса», ни в коем случае не «поэтесса» или «автор». Она объясняла почему, но Марат забыл. Он органически не выносил аффектации — ни в жизни, ни в творчестве. Белочка же была сплошной излом. Ни словечка, ни жеста в простоте.

Тонкая рука авторессы взлетала к потолку, трепетала. Марат смотрел на руку с неудовольствием — она была неискренняя, утлая, предательственная.

Марат знал про себя, что он «ручной фетишист». Это была своего рода obsессия. При всяком знакомстве он сразу смотрел на руки — и узнавал про нового человека больше, чем из разговора или визуального впечатления. У него сложилась целая внутренняя наука, «маногномия», выработанная за годы жизни.

В свое время Марат влюбился в будущую жену, потому что в своей убогой уральской юности ни у кого не видел таких ухоженных ногтей. Собственные руки он терпеть не мог — какие-то коряги с кочерыжками.

Из столовой Марат ушел бы сразу, не дожидаясь Белочкиных завываний, но рядом с дверью у стены стояла Дада́, хозяйка дома. Слушала декламацию со своей прославленной полуулыбкой, держала в длинных пальцах дымящуюся сигарету. Вот у кого были прекрасные руки — глаз не отвести!

Дада с Гривасом являли собой совершенно ослепительную пару. Он — мастер тонкой, минималистской новеллы, она — советская Анни Жирардо. Никогда не участвовала в разговорах, только полуулыбалась, но очень умно и многомерно. Она и на экране ничего другого, кажется, не умела, но этого хватало, чтобы считаться (цитата из журнала «Советский экран») «самой интеллигентной красавицей отечественного кинематографа».

Тем временем Белочка уже дошла до конца своего минорного дня, полного несбывшихся надежд и горьких разочарований.

Моя цикута, черный кофе.
Я на Луну по-волчьи вою.
Люстрина блеск на черной кофте —
Ночное небо над Москвою.

Кто-то негромко сказал: «Сильно». Все захлопали, а Марат вышел, чтобы вернуться попозже — заметил в дальнем углу, на стульчике, Алюминия, который сидел, опершись подбородком на гитару, рядом на столике магнитофон «Яуза». Значит, будет петь. Алюминий был звезда «магнитиздата», его песни слушала и пела если не вся страна, то вся интеллигенция. Вот они Марату нравились. Никакого «люстрина на черной кофте», стихи по форме очень простые, а по содержанию — зависит от слушающего. Они были легкие и светлые, но в то же время с каким-то металлическим звоном, отсюда и прозвище, очень точное. Алюминий обычно пел в самом конце, когда все наговорятся и нашутятся.

В гостиной, очень странной комнате, где мебель была дореволюционная, а картины ультрасовременные, по большей части абстрактные, царствовал Гривас.

Он по-приятельски подмигнул вошедшему Марату, не прерывая рассказа.

Говорил про интересное — про недавнюю поездку в Америку. Совсем не то, что было напечатано в его путевых очерках. Там, в «Литературке», Гривас описывал антивоенное движение, растерянность американского общества после убийства еще одного

Кеннеди, отличных ребят из «Черных пантер», с которыми встречался на конспиративной квартире.

Здесь же, своим, Гривас говорил про другое.

— Там в воздухе веет революцией. Не такой, как у нас — «бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу», — а настоящей, в мозгах и сердцах. Как будто новая порода людей... нет, даже не порода, а новый подвид homo sapiens вдруг появился.

Гривас был серьезен, что с ним случалось нечасто. Обычно он насмешливо щурился, кривил рот под гоголевскими усами, беспрестанно ёрничал.

— Что самое мерзкое в нашем союзе нерушимом республик свободных, где так вольно дышит человек? Хамство, ощетиенность, агрессия. Любят только своих, все чужие вызывают настороженность. А в коммунах хиппи, по которым меня возил Алан, любят всех — априорно, без разбора. Видят первый раз в жизни, и готовы принять, обнять, всем поделиться. Если ты оказался скотиной — тогда, конечно, отворачиваются. Но всем правит презумпция невинности. Пока не доказано, что ты сволочь — ты друг, товарищ и брат. Это моторней всякого толстовства. Потому что никто не нудит, не проповедует, не лезет в душу. А главное, всё в кайф. Кругом только молодые, прикольные, легкие. Маленько прикумаренные от марихуаны, но она не тяжелит и не вызверяет, как водка, а наоборот, подкидывает в воздух, наполняет любовью ко всему миру и всем людям.

— Покурил? — спросил кто-то с завистью.

— Под 225-ую подводишь, начальник? — цыкнул воображаемой фиксой Гривас. — А свидетели у тебя есть?

Все засмеялись.

— Про сексуальную революции расскажи, — попросила брюнетка с несколько лошадиным лицом, одетая в мешковатую хламиду. Наверное, какая-нибудь художница. Марат ее видел впервые. Руки некрасивые, с костлявыми пальцами и хищными красными ногтями.

— Дада далеко? — Гривас с преувеличенной пугливостью оглянулся на дверь, понизил голос. — Короче привозит меня Алан в одно комьюнити под Сакраменто. Называется «Нуд парадайз», «Голый рай». Там все разгуливают в чем мать родила. И все гости тоже должны на въезде сдавать одежду. Мне куда деваться? Писательская командировка. Растелешился. Иду такой застенчивый, срам ладошкой

прикрываю. Верчу башкой. Как в стихотворении: «Взглянешь налево — мамочка-мать, взглянешь направо — мать моя мамочка!». Подходит ко мне умопомрачительная Ундина, из гардероба только кувшинки в волосах. Говорит: «Ты чего закрываешься? Не стесняйся, у античных статуй дик тоже маленький. Мне такие даже нравятся». Ну мне в этом смысле, некоторые в курсе, стесняться нечего...

Дальше Марат слушать не стал. Про революцию в мозгах и сердцах ему было интересно, про «дик» Гриваса — нет. Переместился на кухню.

Там тоже говорили про иностранное. В текущем тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году самые интересные события происходили за рубежом, в СССР было затхло и скучно. Особенно по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Тогда всё задвигалось, зашевелилось, скинуло паутину. Двери не открылись и замки на них остались, но распахнулись окна, хлынул свежий воздух и солнечный свет. Происходили удивительные события, появились новые яркие люди — вот эти самые, собравшиеся сегодня на «воскресник», — а ведь казалось, что бескислородные десятилетия удушили всё живое, навечно отучили подданных чугунной державы шагать не в ногу.

Но оказалось, что это было всего лишь проветривание, на окнах снова задвинулись шпингалеты, остались одни форточки, да и те едва приоткрытые.

Научный сотрудник Института марксизма-ленинизма по кличке «Коммунист-с-Человеческим-Лицом», сокращенно Косчел, постепенно превратившейся в Кощей (это был долговязый, очень тощий очкарик). Он написал книгу «Герои коммунистического Сопротивления», очень неплохую, хотя, конечно, с неизбежными недомолвками и сглаживанием острых углов — впрочем, не Марату с его «Чистыми руками» было автора в этом упрекать. Несколько дней назад Кощей вернулся из Парижа, с фестиваля газеты «Юманитэ». Видел следы майских беспорядков, когда студенты строили баррикады и дрались с полицией. Пообщался с участниками, левыми активистами — у Кощей был хороший французский.

— ...Нет, это не коммунистическая революция. Во всяком случае не в нашем, советском понимании, — отвечал Кощей на чей-то вопрос, когда Марат заглянул на кухню (она тоже была большущая, с половину его квартирки). — На советский социализм бунтари кривятся. В

служебном отчете я написал, что это движение по духу не только антибуржуазное, но и антисоветское, повсюду портреты Троцкого и Мао Цзэдуна, поэтому относиться к парижским событиям следует с большой осторожностью. Маркса и Ленина идеологи «Мая» трактуют весьма своеобразно — даже не в ревизионистском, а в авантюрно-волюнтаристском ключе. Но отчеты пишутся для начальства, а если говорить «не для протокола»...

Кощей сделал паузу, оглядывая слушателей, и задержал взгляд на Марате, кажется, не сразу сообразив, кто это. Потом вспомнил, кивнул.

— Давай-давай, колись, — поторопили его. — Тут все свои, стукачей нет.

— У меня сложилось впечатление, что это бунт не классовый и не социальный, вообще не политический, а исключительно поколенческий. Если угодно, стилистический. Старики и всё старое надоели молодежи. Знаете, каков главный лозунг «гошистов», как они себя называют, лозунг, объединяющий маоистов, троцкистов, анархистов, чегеваристов и всех-всех-всех? «Il est interdit d'interdire». «Запрещается запрещать». Такой бунт непослушания, мятеж против установленных стариками правил. Типа «нам ничего вашего не нужно». Ни вашего геронтоцентричного социального устройства, ни вашей лицемерной морали, ни вашей неудобной одежды, ни вашей слюнявой музыки, ни морщинистых рож ваших вождей. У нас всё новое, всё свое, небывалое прежде.

— Ой, я хочу в «гошисты»! — воскликнула девица с длинными распущенными волосами, по лбу перехваченными ремешком. Кажется, она пришла со скульптором Эдиком, у него часто менялись подружки. — Где бы записаться?

— Помолчи, — толкнул ее локтем брутальный Эдик. — Не мешай слушать.

— Кумира прежних поколений Де Голля они зовут «Генерал Нафталин». Наше политбюро, — Кощей понизил голос, — для них «дом престарелых». «Ваш Брежнев — старик за шестьдесят, пусть сидит с внуками», — сказал мне один поклонник хунвейбинов. Я ему в ответ: «А твоему Мао за семьдесят». «Мао не тронь, говорит, он бодхисатва». В общем полная каша в головах.

Сзади, из коридора, Марата тронули за рукав. Обернулся — Джек. Шепнул:

— Сен-Жюст, айда в кабинет, там Коряга про Чехословакию рассказывает.

— Кто?

— Умный мужик, в Праге работает, в журнале «Проблемы мира и социализма».

Еще один коммунист с человеческим лицом, подумал Марат, но пошел. Прага сейчас была еще интересней Парижа.

В кабинете после светлой кухни показалось темно, здесь были задвинуты шторы — окна выходили на запад, где ярко светило солнце. В полумраке помигивали огоньки сигарет, кверху тянулся серый дым.

— ...После апрельского пленума ЦК КПЧ стало совсем интересно, — говорил глуховатый, слегка надтреснутый голос. — Дубчек поставил на все ключевые посты реформаторов. Двое — Смрковский, председатель Народного Собрания, и министр внутренних дел Йозеф Павел — из «отсидентов». Первый во время войны был подпольщиком, второй — интербригадовец. Крепкие орешки. Обоих в начале пятидесятых помордовали на допросах, но не сломали. Как они относятся к сталинизму — понятно. Тут «Пражске яро», «Пражская весна» развернулась уже вовсю. С нашей «оттепелью» даже не сравнивайте. Общественная дискуссия, идейный плюрализм, многопартийность, отмена цензуры — прямо голова кружится. Летят скворцы во все концы, и тает лед, и сердце тает. Вот я вам почитаю из статьи Вацулика, называется «Две тысячи слов», ее вся Чехословакия обсуждает...

Говоривший подошел к окну, слегка раздвинул шторы, подставляя журнал солнечному лучу. Марат увидел профиль: лобастая плешивая голова, шкиперская борода — для идеологического работника необычно.

— Я с листа, так что пардон за корявость... Вот, послушайте: «Ошибочная линия руководства превратила партию из идейного союза в орган административной власти, поэтому партия стала притягивать властолюбцев, шкурников, приспособленцев, подлецов. Из-за этого изменилась природа партии, она стала производить со своими членами стыдные процедуры, без которых невозможно было сделать карьеру. В конце концов в партии не осталось людей, способных соответствовать уровню задач современности».

— И это напечатано? В официальной прессе? — недоверчиво спросил кто-то.

Парень в клетчатой рубашке, стоявший впереди Марата, выкрикнул:

— Ведь один в один! Всё, как у нас! Пока не поцелуешь их в задницу, даже диссертацию по астрофизике не защитишь! Мне завкафедрой говорит: «Подавайте в партию, тогда рассмотрим». В гробу я видал их партию!

На него обернулись. Нравы на «воскресниках» были вольные, но не до такой степени.

Коряга тоже посмотрел на несдержанного молодого человека — с осуждением.

— Беда не в партии. Беда в партийцах. Это из-за таких, как вы, чистоплюев мы возьмем в дерьме. Я сейчас еще один пассаж прочту. «С начала этого года мы... у нас происходит процесс возрождения демократии. Начался этот процесс благодаря коммунистической партии. Мы сами, коммунисты, тем более беспартийные, скажу прямо, давно уже ничего хорошего от партии не ждали. Но ни в какой иной инстанции процесс стартовать и не мог, только в этой. Ведь последние двадцать лет хоть какой-то политической жизнью можно было заниматься только в коммунистической партии, только там зарождалась критика, только там принимались решения, только внутрипартийное сопротивление находилось в прямом контакте с противником». В этом суть, понимаете?

Стало видно, что Коряга тоже взволнован, просто в отличие от астрофизика, он не кричал.

— Чтобы изменить курс корабля, нужно находиться в рубке, у штурвала. Партия один раз уже сделала «поворот все вдруг», в пятьдесят шестом, и мы знаем, что это возможно. Скажу больше: в стране, население которой не приучено выражать свою политическую волю, только так и можно провести реформы. Как при Александре Втором — сверху. Но нас — таких, как я или Кощей — в партии слишком мало. И сейчас мы проигрываем схватку, нас теснят сталинисты. Они хотят взять реванш, хотят окончательно скомпрометировать и погубить великую коммунистическую идею!

— А она точно великая? — спросил астрофизик.

— Идея, что люди должны жить без эксплуатации, без богатых и бедных, давать обществу по способностям, а получать от него по потребностям? — удивился Коряга. — Конечно, великая. Великая и прекрасная. Проблема в методах. И в людях, которые управляют процессами. У нас в результате ужасов гражданской войны к власти пришли жестокие, безжалостные, привыкшие полагаться только на насилие, неразборчивые в средствах вожди. Но у мирного времени иные законы — это объективный факт. В стране, которая не воюет, где нет голода, где население поголовно имеет среднее образование, а половина выпускников поступает в ВУЗы, прежние железные строгости бессмысленны, они стали анахронизмом. Нам тоже нужна своя «пражская весна». Но кто будет ее начинать, когда вы все такие беззгливые. Вот я спрошу: сколько здесь членов партии?

В комнате было, наверное, человек десять, но поднялась только одна рука — в дальнем углу.

— Ты, Аркан, не в счет, — отмахнулся Коряга. — Ты вступил в сорок пятом, в армии, у тебя выбора не было. Ни в какой партийной работе ты не участвуешь.

Марат увидел Аркана только сейчас, потому что уже давно, почти с самого начала, слушая выступавшего, почти всё время смотрел в одну сторону. У противоположной стены, в кресле сидела незнакомая девушка. Он обратил на нее внимание, потому что чиркнула спичка, и в полумраке на несколько секунд вдруг осветилось лицо и кисти рук. Лицо было совершенно прерафаэлитской тонкости и нежности, просто «Святая Лилия» Россетти, но еще красивее были руки. Такого идеального рисунка Марат никогда не видел.

Потом он всё вглядывался в густую тень, глаза привыкали к полумраку, а когда Святая Лилия затягивалась, огонек сигареты разгорался ярче, освещал узкие, твердые губы, мерцающие глаза под чуть сдвинутыми бровями.

Сзади, из коридора, появился Гривас, встал за спиной у Марата, с минуту послушал и, конечно, ввязался в разговор.

— Не знаю. По-моему, засада не в хреновых исполнителях, а в самой идее. Коммунизм — это уравниловка, все вместе, все хором, «кто там шагает правой?». А всё сколько-нибудь стоящее изобретают индивиды. Частная инициатива — вот главный двигатель прогресса.

Менделеев не с коллективом товарищей периодическую таблицу открыл, и Достоевский свои романы без парткома писал.

— Писатели — дело особое, но что касается науки, то сейчас, в двадцатом веке, в одиночку ею заниматься уже невозможно — вон, у астрофизика спроси, — ответил Коряга.

Тут заговорили сразу несколько человек, и дискуссия повернула в новое русло, очень интересное, однако в этот момент Святая Лилия поднялась и направилась к выходу. Она шла прямо на Марата и, приближаясь, с каждым шагом становилась всё прекраснее. Удивительная вещь! Ему всегда нравились ухоженные, хорошо одетые, следящие за внешностью женщины — одним словом, принцессы. У этой же были небрежно подхваченные резинкой волосы, косметики ноль, одета с необычной для гривасовской компании простотой: тенниска, пятирублевые «техасы», советские полукеды. И все равно принцесса — несомненная и безусловная.

Вот она оказалась совсем рядом. Посмотрела мимо Марата, на Гриваса. Тот, подкинув тему для спора, с удовольствием прислушивался к шумному разговору.

«Что она скажет? Какой у нее голос?» — подумал Марат.

— Где тут у вас уборная? — спросила принцесса. Голос у нее был хрипловатый, прокуренный.

— Для вас — где пожелаете, — галантно поклонился хозяин квартиры, но показал в дальний конец коридора.

— Ясно, — кивнула она, не улыбнувшись так себе шутке.

Марат тихо спросил, глядя вслед:

— Кто это?

— Штучка, да? — усмехнулся Гривас. — Эх, будь я побезнравственней... Но увы. Во-первых, женат. Во-вторых, труслив. В-третьих, благороден. Девица вверена моему попечению почтенным родителем. Слышал про Юлия Штерна, академика?

— Это какой-то физик?

— Не какой-то, а ого-го какой. Если не отец, то дядя водородной бомбы. Дважды герой соцтруда. Мы с ним на Петровке в теннис играем. Потрясающе интересный чел. Ум, как золинген. Попросил приветить дочурку. Нервничает, что она корешует с неправильной компанией. Познакомьте, говорит, ее с каким-нибудь писателем или на

худой конец поэтом. Ну, я и позвал мадемуазель на «воскресник». Диковатая немножко, но феромонами так и пышет.

— Я — писатель, — сказал Марат. — Познакомь ее со мной.

— Ничто человеческое ему, оказывается, не чуждо, — заржал Гривас. — Пойдем, примем ее прямо на выходе из сортира. Дама будет смущена, это обеспечит тебе стратегическое преимущество, поверь ловеласу в отставке.

— Это неудобно, давай лучше здесь подождем, — запротестовал Марат, но был обхвачен за плечо и проташен по коридору прямо к двери с золотыми буквами WC — Гривас хвастал, что стырил табличку в музее Ватикана, на память.

Когда раздался звук спущенной воды, Марат задергался, но лапы у Гриваса были железные, он имел разряд по самбо.

Открылась дверь. Дочь академика вытирала свои удивительные руки об штаны. Немного удивилась, но смущения не выказала.

— Агаша, хочу вас познакомить с не очень молодым, но очень талантливым прозаиком Маратом Р., — весело объявил Гривас. — Фамилию полностью не называю из ревности — она и так у всех на слуху. Вы, конечно, читали повесть «Воскресная поездка»?

— «Агашей» меня зовет только отец, — спокойно ответила девушка. — Вы, Григорий Павлович, пожалуйста, зовите меня «Агата». Повесть я читала. У вас туалетная бумага кончилась. Давайте я принесу. Где вы ее держите?

— Ай-я-яй, — укорил ее Гривас. — Такая романтическая внешность, имя — как у героини Грина: Агата Штерн, почти Фрэнси Грант, и такая приземленность. Бумагой займусь я, а вы идите, беседуйте о литературе.

Тайком подмигнул — и бесшумно, на цыпочках удалился.

— Ну и как вам? — спросил Марат. — Я имею в виду повесть?

Он догадался, что не понравилась — иначе Агата не сменила бы тему, но почему-то, должно быть, из вечного мазохизма, захотелось, чтобы она сказала неприятное прямо в глаза. По девушке было видно, что на вежливую ложь рассчитывать не приходится.

Так и получилось.

Пожала плечом:

— Еврейская грамота.

— То есть?

— Ну, как еврейский текст. Одни согласные, без огласовок. Нужно угадывать тайный смысл.

Сравнение было меткое. Марат оценил.

— И в чем же, по-вашему, тайный смысл?

— Ясно в чем. СТЛНЗМНХЙ.

Он не сразу сообразил, а когда дошло — покраснел. Матерные слова не выносил с интерната — потому что все вокруг только ими и разговаривали, а особенно не любил, когда матерятся женщины.

— Почему у вас вместо имен героев буквы? «Н.», «Б.С.», «Р.В.». Алфавит какой-то. Ясно же, что речь идет о реальных людях, и вы не хотите, чтобы их забыли. К чему тогда конспирация? Как их звали по-настоящему?

Агата задавала вопросы безо всякого вызова. Просто спрашивала.

— Зачем вам? — поморщился Марат. Ему сделалось досадно и тоскливо. — Вам ведь это неинтересно.

Он хотел повернуться и уйти. Гудбай, племя молодое, незнакомое. Мы друг другу не нужны, и это к лучшему.

Но Агату его слова, кажется, удивили.

— Было бы неинтересно — не стала бы спрашивать. И читать до конца не стала бы. А я дочитала. И мне понравилось. Недомолвки только раздражали. Нет, правда, кто были все эти люди?

Зеленые глаза смотрели требовательно, брови на белом и гладком (в прошлом веке написали бы «алебастровом») лбу слегка приподнялись.

— Если вам действительно интересно, давайте я свожу вас на Донское, к моим героям, — неожиданно для самого себя сказал Марат — и перепугался. Быстро прибавил: — Только я всю неделю буду занят. Смогу в следующее воскресенье. И вы обязательно позвоните накануне — мало ли что. Сейчас дам телефон. Вырву страничку из блокнота. — Кривовато улыбнулся. — У писателей, знаете, всегда при себе блокнот на случай гениального озарения...

Решил, что запишет номер с ошибкой — вдруг остро почувствовал, что такая экскурсия до добра не доведет. Не нужно ему больше видеться с этой Агатой Штерн.

Но она сказала:

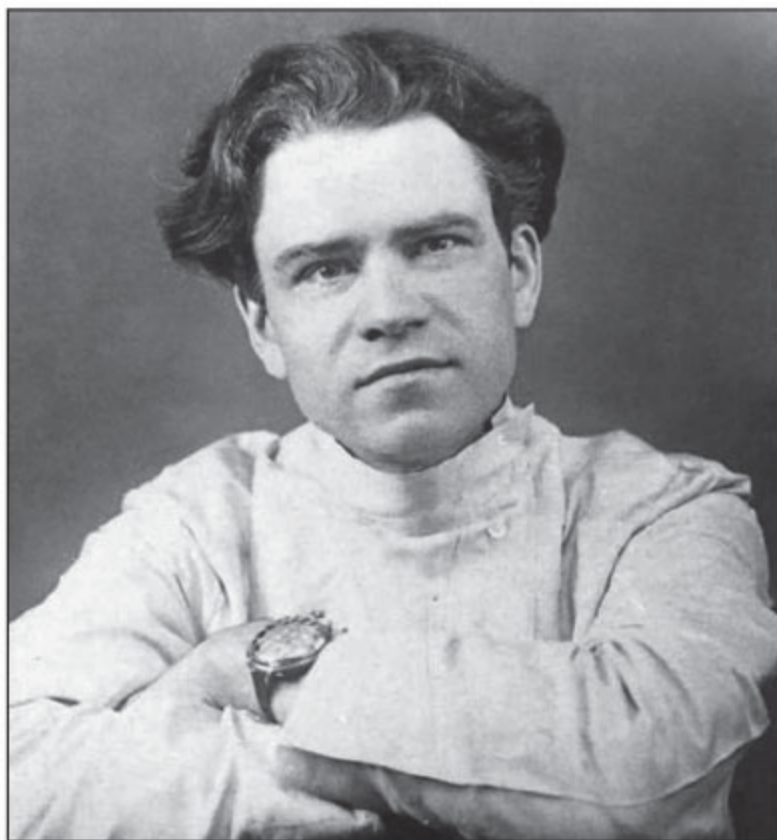
— Не надо. Я возьму у Григория Павловича.

И Марат успокоился. Не возьмет и не позвонит.

Сэйдзицу

Роман

Часть Первая



Я.Х. ПЕТЕРС (1886—1938)

Я. Х. Петерс (1886—1938)

* * *

Жизнь представлялась ему зеленым футбольным полем, никогда не кончающееся «сейчас» было круглым и упругим, как кожаный мяч, и надо было звонко бить по мячу ногой, подкидывать его в золотистый воздух, бежать вслед за вертящимся кругляшом и в прыжке заколачивать бутсой, коленом, лбом, а хоть бы, если никто не видит, и

рукой в вожделенные ворота, и чтоб трибуны вопили от восторга, и заливался свисток, и хмельно кружилась голова: «Гол! Гол! Гол!»).

Яков мог быть только форвардом, только атакующим, только первым. Но став еще и капитаном команды, после того как Феликса отправили на штрафную скамью, каждым атомом своей души — химеры, выдуманной попами и мистиками, каждой клеткой плотно сбитого тела, которое уж точно химерой не являлось, он впервые ощутил, что его внутренний газ наконец заполнил всё предназначенное ему пространство. Наполнившись пузырястой легкостью, Яков и сам взлетел над стадионом, над головами других игроков и чувствовал, что может выиграть матч с разгромным счетом, всухую.

Не меньше, чем футбол, руководитель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии любил Шекспира, старался формулировать свои мысли чеканным бардовым слогом, презирающим мелкое, а секретных сотрудников нарекал именами шекспировских персонажей, о чем впрочем никто не догадывался. Два веселых латыша, Спрогис с Буйкисом, в разворачивающейся пьесе были Розенкранцем и Гильденстерном, а в команде — хавбеками.

— Товарищ Петерс, мы поймали щуку, — сказал Спрогис, блестя шальноватыми светло-голубыми глазами. Губы у него всегда были готовы к улыбке — тянулись уголками кверху.

— Большую-пребольшую, — подхватил коренастый темноволосый Буйкис. — Вот такую.

Развел руки, показывая размер добычи.

Еще они похожи на спаниелей, притащивших из болота утку, подумалось Петерсу. Он в свои тридцать два был лет на десять, то есть на целую вечность, старше этих мальчишек, вчерашних подпоручиков, которые ничего кроме войны в своей коротенькой жизни не видели и после окопного ужаса относились к новой службе как к увлекательному и неопасному приключению. Розенкранц-Спрогис был половчей, но и понововистей, запросто мог выкинуть какой-нибудь фортель. Гильденстерн-Буйкис соображал небыстро, зато на него можно было положиться. Яков намеренно свел их вместе. В одиночку ни тот, ни другой с заданием не справились бы, а вдвоем, на распасовке, получилось то, что надо.

— Ну хвастайтесь, — сказал председатель ВЧК, выколачивая из трубки серую труху на сложенную вчетверо газету. Он пока не

обзавелся пепельницей, не до того было. Прежний же хозяин кабинета не курил.

Разговор шел на латышском. За пять недель, прошедших после отставки Феликса, Яков основательно почистил личсостав, зараженный левозсеровской гнилью. Брал только тех, в ком был уверен, и больше всего доверял землякам. Никакого национализма, старый подпольный принцип: работай только с теми, кого знаешь. Латыш чем хорош? Про каждого известна вся подноготная — кто, откуда, как себя вел раньше, чем живет, чего стоит. Товарищи, родственники, знакомые всё расскажут. Человек как на ладони.

— Удалось выйти на Подводника?

Спрогис подмигнул приятелю.

— Мало нас с тобой, Янис, начальство ценит. Мы, товарищ Петерс, на Подводника не просто вышли. Мы его из-под воды вытащили. За жабры.

— Кончай трепаться, — сказал Буйкис. Он считал, что всему свое время и место. Шутки шутят за бутылкой, а в солидном разговоре с солидным человеком нужна солидность. — Мы, товарищ Петерс, с ним встретились дважды. Первый раз позавчера, в гостинице «Французская». Сказали ему всё, как уговорено. В латышских частях большевиков не любят, все хотят на родину, но там немцы, без Антанты их оттуда не прогнать. Поэтому мы, бывшие офицеры, желаем знать, какие, мол, у вас, у Антанты, планы насчет Латвии. Кроме послушал, ничего не сказал. Только записал наши имена. Назначил встречу на следующий день.

— Это он проверял, действительно ли мы офицеры, — встрял Розенкранц. — Вы говорили, товарищ Петерс, что он обязательно будет проверять по своим каналам.

— Выяснить бы, что это за каналы. А как прошла вторая встреча?

— Вчера он не молчал, задавал вопросы. Про нашу организацию. Особенно его Девятый полк интересовал.

— Так-так, — нахмурился Яков. Девятый латышский полк нес комендантскую службу — охранял главные правительственные учреждения, включая Кремль. — Что было потом?

Спрогис подмигнул товарищу, сделал невинное лицо.

— А потом мы сели на поезд и вернулись из Петрограда в Москву.

Буйкису опять стало неудобно за легкомыслие товарища. Он повторил:

— Кончай трепаться, тут дело серьезное. Доставай, показывай. Подводник нам дал записку к Локкарту. Конверт мы вскрыли, не повредив сургуча — как учили. Но там на английском, а мы только немецкий знаем.

Быстрым, как у кошки, цапающей муху, движением Яков выхватил у Розенкранца конверт, вынул листок и прочитал несколько строк, написанных ровным почерком. Не поверил удаче, прочитал еще раз.

Британский военно-морской атташе Френсис Кромби рекомендовал мистеру Роберту Брюсу Локкарту выслушать подателей письма, чья личность установлена и проверена, по вопросу, представляющему для «господина главы миссии» несомненный интерес.

— Проголодались в дороге? — спросил Яков ровным голосом. Только те, кто очень хорошо его знал — двое или трое людей на свете, — уловили бы во внезапной глуховатости тембра волнение. — Идите в столовую, поешьте. Сегодня дают отличный гороховый суп и пшеничную кашу с американскими консервами. Потом снова ко мне. Марш-марш! Полчаса у вас. Скажете: Петерс велел накормить вне очереди. И дать добавки.

— Вот умеет советская власть награждать, — оскалился Спрогис. — А то наглotalся я под Иксюлем немецкого газа, и что? «Владимира с мечами» от царя-батюшки получил. То ли дело добавка пшенки!

Но Буйкис уже подпихивал его к двери, шипел:

— Топай, топай. Товарищу Петерсу подумать надо.

Оставшись один, Яков вскочил из-за стола, подошел к окну, забарабанил по стеклу. В Петерсе жило два человека, внешний и внутренний. Первого — невозмутимого, флегматичного, неспешно ронявшего скупые слова — видели все. Второй был порывист, нервен, азартен, его надо было прятать. Только наедине с собой Яков давал внутреннему себе немного свободы.

Широко открытые серые глаза смотрели не на улицу Большая Лубянка, не на скучный дом напротив с надписью «Столовая», а выше, выше: в сизое августовское небо, похожее на грунтованный холст — рисуй на нем, что захочешь.

Эскиз будущего полотна, или сюжет пьесы, или план футбольного матча — все эти метафоры годились — выглядел головокружительно интересным.

Однажды Ильич, самый умный человек на свете, сказал: «У всякого политика, который чего-то стоит, общественный интерес должен быть личным, а личный — общественным. Малейшая дискордия между общественным и личным недопустима. Ты делаешь большое общественное дело, потому что оно позарез нужно лично тебе. Тогда и только тогда ты достигнешь цели».

Разговор был втроем, и обращался вождь к Феликсу. Яков сидел, помалкивал. Но мысль ухватил сразу. Она была, как всегда у Ильича, ослепительно простая и бесспорная. Феликс-то не оценил, проскрипел своим надтреснутым голосом, что давно отказался от всего личного. Проблема Феликса в том, что он прямолинеен и несгибаем, как широкий стальной меч, в нем нет творческого извива, жизнь для Феликса — не каскад увлекательных приключений, а череда тяжелых испытаний. Яков тоже был стальной, но узкий и гибкий — как рапира. Чрезвычайная Комиссия, созданная, чтобы защищать республику от прячущихся в траве рептилий, должна быть такой же, как они — изгибистой.

И да, тысячу раз да: личный интерес должен стопроцентно совпадать с общественным, а общественный с личным.

После того как Феликс проморгал левоэсеровский заговор, угнездившийся прямо у него под носом, Ильич отправил верного, но близорукого соратника в отставку. Комиссию возглавил Яков. Но в качестве «временноисполняющего». Феликс не потерял своего главного — да что там, единственно значимого звания: он остался для Ленина *ближним*. Таких во всей партии имелось пять или шесть человек, все из старой гвардии. Яков-то был, увы, из молодой гвардии. Не только по возрасту. В эмиграции он жил не в Швейцарии, близ Ильича, а в Англии. И вернулся поздно, попал в Петроград уже к шапочному разбору, только в октябре. *Ближним* ему никогда не стать. Путь навверх только один: доказать свою полезность, а еще лучше незаменимость.

Теперь, когда он стал капитаном команды, пускай временным, такая возможность появилась. Упускать ее нельзя.

Это, стало быть, личное.

Но и общественное требовало, чтобы во главе ЧК остался Яков Петерс. Он был нужен республике. В отличие от Феликса, он понимал: выиграть матч можно только атакуя. Лучшая защита — нападение. Без атаки голов не забьешь.

Республика была хилым младенцем, который вряд ли доживет до годовалого возраста. Инфекции и нарывы подтачивали слабое тельце, корчившееся в судорогах — очень возможно, предсмертных. Сжавшаяся под натиском советская территория на карте напоминала череп, мертвую голову.

Весь запад захвачен германцами. На юге белогвардейцы идут на Екатеринодар, Кубань обречена. Весь восток откололся. На дальнем краю великой Евразии высадились японцы, сибирскую магистраль захватили чехи, но и по эту сторону Урала дела идут хуже некуда. Казань пала, эвакуированный туда золотой запас государства достался контрреволюционерам; в Прикамье против большевиков восстали не кулаки или приспешники буржуазии, а рабочие, самая что ни на есть пролетарская масса, коллективы военных заводов. Рабочие против партии рабочего класса — каково?

А хуже всего на севере. На позапрошлой неделе в Архангельске началась высадка союзников. Немцы обескровели от долгой войны, белогвардейцы разрозненны и не столь уж многочисленны, чехи хотят только одного — поскорее вернуться домой, японцев интересует лишь Дальний Восток, но Антанта набрала силу, наступает на Западном фронте и теперь, кажется, вознамерилась окончательно решить «русскую проблему».

Ключевое слово здесь «кажется». Вознамерилась или нет? Сил, денег, ресурсов у британцев, французов и американцев для этого более чем достаточно, но их дипломатические представители уверяют, что десант не ставит своей целью свержение советской власти, а является лишь предохранительной мерой против наступления германцев из Финляндии.

В прошлый четверг на заседании Совнаркома Ильич сказал, что сейчас архиважно вызнать истинные намерения Антанты. Если она готовит наступление, нужно махнуть рукой на второстепенные фронты и срочно стягивать все боеспособные части к Москве и Петрограду. Они — мозг и сердце революции. Пока работает мозг, пока бьется сердце, Советская власть будет жива. Вождь предложил не рисковать и

начать эвакуацию на юге и востоке прямо сейчас, не теряя времени. «Я готов отдать Волгу, Дон, всё Черноземье, лишь бы спасти наши столицы. Если же товарищи со мной не согласны, я уйду с поста председателя Совета Народных Комиссаров, ибо промедление подобно гибели», — так закончил он свое драматичное выступление. «Коня, коня! Венец мой за коня!» — некстати вспомнился Якову король Ричард на Босвортском поле.

Все мрачно молчали, один Петерс ощущал трепетное kloкотание в груди. Он знал: это его Тулон. Негромким, спокойным голосом временный председатель ВЧК попросил обождать с эвакуацией. Через неделю, максимум через десять дней я доложу Совнаркому об истинных планах Антанты, сказал он. Ильич посмотрел прищуренно, с полминуты помолчал, потом кивнул. Поверил. Подвести его — поставить крест на своем будущем и погубить революцию. Оправдать оказанное доверие — спасти общее дело и покончить с «временностью». Личное совпадало с общественным на сто процентов.

Кто мог знать о планах союзников? Представители трех главных держав Антанты, находившиеся в Москве: британский поверенный Локкарт, американский генконсул Пуль и французский генконсул Гренар. Но они правды не скажут. Нужно было получить требуемые сведения каким-то извилистым образом.

В настоящей, обстоятельно устроенной контрразведывательной службе для этого имеются дешифровальщики, внедренные или подкупленные секретные агенты, специалисты по тайным обыскам. В ЧК же служили бывшие политкаторжане, вчерашние рабочие, недоучившиеся студенты. Ни знаний, ни опыта. Денег на подкуп посольского персонала нет, не хватает даже стульев в кабинетах, а председатель стряхивает пепел на свернутую газету.

Подобраться к иностранным дипломатам, мастерам извилистых наук, никакой возможности вроде бы нет.

Яков расхаживал по замызанной ковровой дорожке, оставшейся со времен, когда в доме на Лубянке 11 находилось страховое общество «Якорь», ерошил жесткие волосы, подгонял мозг: думай, думай.

Глава дипломатической миссии сам тайными делами не занимается, для этого у каждого из них должен быть специальный помощник. У французов это, по-видимому, военный атташе Лавернь.

Или, может быть, полковник Вертеман — он тоже подозрительно активен. Но который из них? Времени выяснять не было. Про распределение полномочий у американцев ничего не известно, к тому же их войска прибыли в Европу совсем недавно, и президент Вильсон выступает не за прямую интервенцию, а за экономическое давление на коммунистическую республику. Агрессивнее всего настроены британцы, и кто в их представительстве ведает разведкой отлично известно: морской атташе Френсис Кроми, который остался в Петрограде, потому что у англичан там с дореволюционных времен собственный телеграфный пункт, обеспечивающий мгновенную связь с Лондоном. Депеши шифруются мудреным кодом, взломать который невозможно, да и некому. Товарищи из петроградской ЧК, конечно, плотно следят за капитаном, вокруг которого постоянно крутится всякая контрреволюционная сволочь, но оперативная информация в данном случае ничем не поможет. Раз в неделю Подводник (это агентурная кличка Кроми, он на войне командовал субмариной) приезжает к Локкарту в Москву, но подслушать их беседу ни разу не удавалось.

И всё же добраться до британского поверенного можно было только через капитана Кроми. А что если закинуть крючок?

Допустим, англичане намерены, собрав в Архангельске достаточное количество войск, идти на Москву. В этом случае их наверняка соблазнит возможность устроить мятеж, а то и переворот прямо в большевистской столице. После июльского восстания левых эсеров, едва не захвативших власть, эта перспектива покажется Подводнику вполне реальной. Всем известно, что лейб-гвардией советского правительства являются латышские части, единственный контингент Красной Армии, где сохранилась дисциплина. Как поведет себя Кроми, когда узнает, что у советских янычар существует тайная организация, ищущая контактов с Антантой? Если англичане не вынашивают воинственных планов, Подводник просто проинформирует об этом лондонское начальство. Если же готовится наступление, немедленно даст знать о заговоре в Москву, Локкарту.

Так оформилась идея. Дальнейшее было делом техники: подобрать годных исполнителей, подробно их проинструктировать и ждать результата.

Выбор оказался правильным. Двое вчерашних подпоручиков, позавчерашних студентов не могли не понравиться bravому моряку своей бесшабашной щенячьей отвагой, которую не подделаешь. Кроме тоже смельчак, чуть ли не единственный англичанин, награжденный за военную доблесть русским георгиевским крестом. Birds of a feather flock together^[4].

Времени для поэтапного внедрения не было, Яков сделал ставку на психологию: на то, что сработает механизм инстинктивного доверия, и на то, что, с точки зрения британского разведчика, дилетанты-чекисты совершенно неспособны разработать сколько-нибудь сложную операцию.

Это правда. Раньше были неспособны. Но теперь в футбольной команде новый капитан.

К моменту, когда наевшиеся пшенки приятели вернулись из столовой, Яков уже всё обдумал. Он подробно объяснил, что нужно делать, притом дважды: сначала самую суть — чтобы ухватил шустрый Розенкранц, потом подробно для тугодумного, но внимательного к деталям Гильденстерна.

На прощание пожал обоим руку.

— Всё, ребята. Начинается второй тайм. Или второй акт — это как вам нравится. Завтра утром отправляйтесь к Гамлету.

Спрогис засмеялся. Буйкис, подумав, спросил:

— К какому Гамлету?

* * *

Глава британской специальной миссии Роберт Брюс Локкарт, в отсутствие полномочного посла представлявший в Москве интересы его величества короля Георга, был ровесником Якова Петерса и тоже любителем футбола, только не метафорического, а обыкновенного. Еще он любил балет, остроумную беседу под хорошее вино и Муру. Обстоятельства сложились так, что основную часть времени Локкарту приходилось заниматься большой политикой, то есть *делать историю*, и он очень старался соответствовать своему положению, но не

отказывался и от личных пристрастий: футбола, балета, приятных застолий и, конечно, Муры — Марии Игнатьевны Бенкендорф, самой восхитительной женщины на свете, которой незвратно, не уверенному в себе, до сих пор не разучившемуся краснеть Роберту не видать бы как своих ушей, если бы дерево русской жизни не закачалось под ураганным ветром и с оголенных веток не посыпались бы золотые яблоки.

Мура была золотым яблоком. Она сияла бы, переливалась несказанными искрами, даже упав в грязь. Локкарт и подобрал ее почти в грязи — в несчастном, разоренном Петрограде, голодную, выгнанную из прелестной квартиры, которую реквизирует комитет бедноты. В Совдепии 1918 года стать подружкой английского дипломата было все равно что пару лет назад попасть в фаворитки какого-нибудь императорского высочества — да нет, несравненно ценнее, ибо при старом режиме великий князь мог только дарить любовнице бриллианты, а при новом режиме положение подружки мистера Локкарта сопровождалось привилегиями не просто дефицитной, а почти недоступной роскоши: неприкосновенностью и безбедностью. Эти ценности Мария Игнатьевна ставила на высшее место в жизни и любила человека, который их обеспечивал, почти так же сильно, как он ее.

Утром четырнадцатого августа влюбленные сидели за завтраком в локкартовской резиденции (Хлебный переулок, дом 19), которая благодаря Муриной кошачьей домовитости превратилась в уютнейшее жилище, притом без малейших признаков мещанского благополучия. Даже хозяйка снобского лондонского салона не нашла бы, к чему здесь придраться. Небрежность и продуманность, богемность и удобство сочетались так естественно, что казалось — никак по-другому обставить апартаменты и нельзя.

Такою же была и Мария Игнатьевна. В каждом ее движении и слове, во взгляде спокойных улыбчивых глаз, в нежном рисунке полного рта, в звуке лениво-протяжного голоса ощущалась какая-то неизъяснимая *природность*. Мура никогда не разряжалась и при этом всегда выглядела нарядной. Любая женщина рядом с ней казалась или серой мышью, или чрезмерно расфуфыренной щеголихой.

Завтракали так, словно не было ни разрухи, ни голода, ни нормы в полфунта черного хлеба на едока. Яйца всмятку, бекон, белый хлеб с

маслом и джемом, отличный цейлонский чай. Разговаривали про приятное — от бесед на политические темы у Муры начиналась мигрень. Она была вдова, ее мужа в прошлом году убили крестьяне. Мария Игнатьевна заставила себя об этом забыть (это была женщина очень сильной воли), но от слов «революция», «большевик», «интернационал» или «диктатура пролетариата» в висках у нее сами собой возникали спазмы.

Сначала обсудили вчерашний балет. В Большом давали «Жизель», заглавную партию танцевала Федорова. Было божественно, но зрительный зал ужасно пыхал махоркой, от которой у Муры разболелась голова. Вернувшись домой, она выпила лауданум и сразу уснула.

Потом Роберт стал рассказывать про предстоящий матч с командой французских дипломатов и журналистов. Увлекся, принялся рисовать на салфетке разработанную стратегию игры. Мура слушала превосходно: кивала, улыбалась, подавала короткие, точные реплики. Тут не было притворства, она всегда моментально и естественно проникалась интересами собеседника, о чем бы тот ни говорил. Рядом с ней всякий чувствовал себя прекрасным рассказчиком. Это было одним из секретов ее феноменальной прелести.

— Веллингтон однажды сказал, что на поле боя «Бонни» — так он называл Бонапарта — стоит пятидесяти тысяч солдат, — возбужденно объяснял Локкарт. — Во французской команде таков Лавернь. Он старый, ему, я думаю, лет пятьдесят, поэтому бегаем он мало, все время держится в защите, но отлично видит поле и подает безошибочные команды, а голос у него зычный. Атака у французов слабая, весь их расчет на случайные прорывы, но оборона железная. Через Лаверня пробиться очень трудно, а голкипером у них Садуль, проворный и цепкий, как обезьяна. Смотри, что я придумал. — Он повел ложечкой по бумаге. — Дик погонит мяч вот здесь, по левому краю, у него отличный дрибблинг. Оттянет на себя троих, а то и четверых. Как только туда же кинется Лавернь, Дик дает мне длинный пас направо, и я с лету, левой ногой, бью в пустой правый угол. Мы отрабатывали этот маневр полтора часа, и у меня стало неплохо получаться.

— А забив гол, вы сможете перейти в глухую оборону! — увлеченно подхватила Мария Игнатьевна. — Пусть атакуют французы,

нападение у них слабое. Вы победите один-ноль. И кубок Москвы наш!

— Вся ставка на мой удар. Промахнусь — другого шанса не будет. Во второй раз Лавернь на такое не поведется. Честно говоря, я нервничаю.

Он сейчас выглядел совсем мальчишкой, Мура смотрела на него с материнской нежностью, хотя была шестью годами младше. Она принадлежала к редкой породе людей, кто рождается на свет уже взрослыми и всю жизнь живет, терпеливо приноравливаясь к повадкам детского сада, именуемого человечеством.

— Нервничать тебе полезно. Ты концентрируешься. Когда ты чересчур в себе уверен, ты делаешься рассеян. И в результате капаешь яйцом на скатерть.

Она сняла желтую каплю пальцем, протянула ему, чтобы слизнул. Оба рассмеялись. Они чувствовали себя счастливыми. Утро было ясное и свежее, день только начинался.

— И все-таки, — сказала Мария Игнатьевна, — мы не решили, куда пойдем вечером — снова в балет или в «Подполье». Я за «Подполье», нужно перемежать возвышенные развлечения с вульгарными.

Москва тысяча девятьсот восемнадцатого года была очень странным городом. По карточкам выдавали скверный хлеб, состоявший из муки всего на тридцать процентов, все ходили в обносках и опорках, но в театрах шли прекрасные спектакли, у спекулянтов можно было достать хоть трюфели, а в потайных местах, без вывесок, несмотря на все запреты, преспокойно существовали подпольные злачные заведения. Самое популярное кабаре, расположенное в одном из охотнорядских закоулков, так и называлось — «Подполье».

Роберт был за балет, Мура — за кабаре. Решили бросить монетку. Серебряный царский двугривенный — они продолжали ходить и теперь стоили двадцать рублей керенками — подлетел вверх, но упал мимо подставленной Локкартом ладони, потому что раздался дверной звонок.

Для посетителей время было необычное.

Заглянул лакей Доббинс, служивший в московском консульстве уже двадцать лет, но не утративший ни йоты английскости.

— К вам двое военных джентльменов, сэр. Говорят, дело сугубо конфиденциальное.

— Проведите их в приемную. И оставайтесь с ними, пока я не приду.

Лакей чуть приподнял бровь. Он не нуждался в том, чтобы ему напоминали о его обязанностях. С точки зрения Доббинса мистер Локкарт был молокосос и выскочка, не чета прежнему хозяину, сэру Джорджу Бьюкенену.

Допив чай, Роберт выкурил утреннюю сигару и лишь потом вышел в официальную часть апартаментов, где находились кабинет и приемная.

Двое молодых людей поднялись со стульев, одинаково держа фуражки на согнутом локте. На фуражках алели звездочки, но по выправке, по лицам было видно: это не пролетарии, а бывшие офицеры.

— Чем обязан? — спросил Локкарт. По-русски он говорил хоть и с акцентом, но совершенно свободно, питерские и московские знакомые обычно называли его «Романом Романовичем».

Подождав, когда лакей выйдет, светловолосый улыбнулся:

— Я Шмидхен. Сразу предупреждаю: фамилия ненастоящая.

Второй — темно-русый, серьезный — вовсе не представился, а только сказал:

— Прочтите письмо от капитана Кроми.

Выговор у обоих был нечистый. Латыши, определил Локкарт.

В письме Френсиса, для постороннего глаза совершенно нейтральном, имелся условный знак: буква «i» в подписи «Cromie» была без точки. Это означало чрезвычайную важность.

— Пройдемте в кабинет, господа.

Шмидхен заговорил напористо и четко, по-военному. Фразы были тяжелые и звонкие, будто удары молотка по гвоздю. Гвоздь заколачивался Локкарту прямо в мозг. Возбуждение, растерянность, паника — вот фазы, через которые прошел Роберт за пять или шесть минут энергичного монолога.

Последние месяцы были совершенно сумасшедшими. Груз ответственности, свалившийся на плечи молодого, малоопытного дипломата был огромен, с ним не справился бы и самый маститый ветеран Форин-офиса — потому посол Бьюкенен, старая лиса, и уехал,

оставив вместо себя стрелочника. Но никогда еще Большая Политика не обрушивалась на Роберта с такой безжалостной насущностью, как сегодня. От него требовалось решение, последствия которого в любом случае будут историческими. И действие, и бездействие могли быть поставлены главе «специальной миссии» в вину. Неизвестно, что страшнее — действовать и всё погубить или бездействовать и упустить шанс... на что? На спасение мира от ужасной угрозы, как утверждает Рейли? На величие? Но Рейли, может быть, драматизирует. А величие Роберта не манило. Скорее пугало. Футбол, балет и Мура с величием были несовместимы. Оно вообще не совмещалось ни с чем, что Роберту было дорого.

Шмидхен двигался от пункта к пункту. Логика была железной.

Латышские солдаты поддержали большевиков, потому что те обещали всем нациям независимость.

Но большевики отдали Латвию германцам. Там теперь распоряжаются «балтиеш», местные немцы, давние враги латышей.

Германия проигрывает войну. Это значит, что судьбу Европы, в том числе и Латвии будет решать Антанта.

Латышская дивизия — единственное соединение Красной Армии, где сохранилась строгая дисциплина и где бойцы полностью доверяют своим командирам.

Группа командиров, настоящих патриотов, уполномочила их двоих заявить господину Локкарту, что в случае наступления союзников латыши воевать с ними не станут, а если Антанта пообещает Латвии независимость, дивизия готова повернуть оружие против большевиков.

У Роберта пересохло во рту. Речь шла о военном перевороте — притом с гарантированным успехом. Большевистское правительство — заложник своей преторианской гвардии. Если латыши выступят против Совета народных комиссаров, ему конец.

В прежние времена можно было бы отправить зашифрованную телеграмму в Лондон — пусть решают. Но связи нет. Она есть в Петрограде у Кроми, однако тот, видимо, счел, что Локкарту в Москве виднее. Либо не доверяет шифру в таком опасном деле.

Выражением своего лица Роберт владел неплохо. Оно осталось неподвижным.

— Это всё? — спросил Локкарт, когда Шмидхен умолк.

Латыши переглянулись.

— А что, мало? — удивился блондин. В его глазах мелькнула искорка — то ли тревожная, то ли насмешливая. Темноволосый кашлянул, и стало видно, что он волнуется. Неудивительно. Дипломат рисковал высылкой и концом карьеры, эти двое — жизнью.

— Мне нужно подумать. — Роберт поднялся из-за стола. — Встретимся завтра. В шесть часов, в фойе гостиницы «Элит». Это в Петровских линиях, — пояснил он, когда латыши переглянулись. Видимо, они не очень хорошо знали Москву.

В «Элит» можно будет просто не прийти, сказал себе Локкарт, и стало немного спокойней.

В коридоре, уже перед дверью, роковые посетители столкнулись с Марией Игнатьевной. Она сменила свое шелковое утреннее платье на линялое ситцевое, переобулась в старые кожаные галоши, волосы покрыла бабьим платком. В это время Мура всегда ходила на Арбатскую толкучку за свежими цветами, не могла без них, а переодевалась, чтобы не выделяться из серой оборванной толпы — и все равно, конечно, выделялась. Блондин так и уставился на нее своими нахальными глазами, ослабилась, хотел что-то сказать, но спутник взял его за локоть и вывел.

— Чем тебя так озаботили эти Бобчинский и Добчинский? — спросила Мура вышедшего из кабинета Роберта. — Какие-то неприятности?

Локкарт удивился. На его памяти Мура впервые так ошибалась в людях. Обычно ее первое впечатление бывало верным.

— Это не Бобчинский и Добчинский. Это очень серьезно.

— Опять политика?

Мария Игнатьевна наморщила нос.

Вечером пришли вызванные по телефону французы — генеральный консул Гренар и военный атташе Лавернь. Американского представителя звать было бесполезно, он прибыл в Москву недавно, в советских обстоятельствах еще не разобрался, всех раздражал своими воспоминаниями о службе в Мексике и считал Ленина русским Панчо Вильей, которого не следует раздражать.

Главными проблемами Локкарта были нехватка опыта и невозможность разделить с кем-нибудь груз непомерной ответственности. Проблемы французов были противоположного

свойства: оба считали себя, выражаясь по-русски, тертыми калачами и ни в чем не могли между собой договориться — каждый претендовал на первенство.

Так вышло и теперь. Лавернь сразу заявил, что сама судьба дает в руки ключ к разрешению русского кризиса — заговорщикам следует не только дать любые обещания, но и оказать всестороннюю помощь. Что решат в Париже и Лондоне — идти на Москву или нет, мы не знаем, они там всё не могут договориться, но если в красной столице произойдет переворот, в России установится цивилизованная власть, которая немедленно разорвет мир с германцами. Восточный фронт снова откроется.

— Или же переворот провалится так же, как эсеровский, мы будем скомпрометированы, и большевики нас расстреляют, — нервно возразил Гренар. — Я предлагаю в любом случае, не дожидаясь заварухи, уехать из Москвы. Дождемся результата *coup d'état*^[5] в Вологде и будем иметь дело с победителями. Мы ведь дипломаты, а не диверсанты.

Роберту тоже захотелось в спокойную Вологду. Туда еще зимой эвакуировался основной контингент союзных посольств.

Лавернь с Гренаром долго спорили, один бурливый, другой рассудительный, но Роберту скоро стало ясно, что консолидированной англо-французской позиции не будет. Решать все равно придется в одиночку, на свой страх и риск.

Так и вышло.

— Послушайте, генерал, — в конце концов сказал Гренар, — ну что мы с вами ломаем копыя? Мсье Локкарту мы все равно мало чем поможем. Дорогой Робёр, вы выслушали нас обоих, теперь на вашем месте я бы посоветовался с профессионалами. Вопрос ведь не только политический, но и технический. В отличие от нас, вы имеете в своем распоряжении офицеров разведки. Пусть они определяют, насколько солиден латышский комплот. Если вы сочтете, что на эту лошадь можно ставить, Франция окажет вам поддержку — деньгами из нашего чрезвычайного фонда.

Генерал запыхтел, ему жалко было уступать британцам славу победы над большевиками, но собственной агентуры у Лаверня не имелось и финансами он не распоряжался. Единственное, что оставалось — доложить министру о том, как чертов трус Гренар

роняет честь Французской Республики. Но отправить рапорт можно только с курьером через Мурманск. Пока в Париже прочтут, дело уже разрешится.

— Спасибо и на том, — кисло молвил Локкарт.

Офицеров разведки у него было трое. Кроме уклонился от ответственности — просто отфутболил латышей начальнику. В любом случае командер сидит в Петрограде, с ним не посоветуешься. В Москве сейчас только Хилл, но ему двадцать шесть лет. Он храбрец и славный парень, однако обсуждать с ним стратегию бесполезно — капитан привык исполнять приказы.

Черт, поскорей бы вернулся Рейли.

* * *

Лейтенант Сидней Рейли, человек, которого с таким нетерпением дожидался Локкарт, всякий раз, возвращаясь из прежней столицы в новую (хотя еще совсем недавно было наоборот, и «новой столицей» называли Питер), поражался изобилию московской жизни. На привокзальной площади торговали пирожками, конфетами, жареной курятиной, и лица были не восковые, как у голодных обитателей «Северной Коммуны», а нормального августовского цвета — загорелые, у некоторых даже румяные. Объяснялось это, конечно, тем, что отсюда ближе до сытных южных краев. Продотряды пригоняют реквизируемый скот, эшелоны подвозят зерно, «мешочники» добираются своим ходом. В России столица всегда живет лучше, чем провинция.

Приезжий остановился у деревянного щита с «Московской правдой», просмотрел заголовки. Это заняло не больше минуты. У Рейли была интересная особенность: он никогда не торопился, обычно выглядел полусонным, но при этом делал всё очень быстро.

Передовица «За гражданскую войну». На заседании городского совета принята резолюция по текущему моменту: вести энергичную гражданскую войну с классовыми врагами трудящихся. Но гражданская война и без резолюции велась энергичнее некуда. Бои на востоке, бои на юге, на севере «дан героический отпор войскам

Антанты». Судя по трескучему тону и неупоминанию географических пунктов красные пятятся, а может быть, и бегут на всех направлениях.

Что еще? Всякие пустяки. На Рогожской заставе у спекулянтов изъята мануфактура, распределена между рабочими михельсоновского завода.

«Не позволим кулакам утаить излишки урожая».

В цирке желающие могут обменять хлебные карточки первой и второй категории на питательное слоновье мясо из расчета один к двум. Должно быть, прославленная слониха Бимбо не вынесла тягот военного коммунизма. А какая была умница. Умела стоять на двух ногах и подкидывала хоботом огромный шар.

Рейли вздохнул. Сентиментальностью он не отличался, но жалел зверей и женщин. К детям был равнодушен, не понимал, что в них умильного, называл «недозрелками», шокируя приличных людей.

В этом человеке вообще было много шокирующего. Он мало заботился о чувствах собеседников — если, конечно, не разговаривал с дамой. С женщинами всегда был внимателен и тактичен. Поэтому и женщины к нему благоволили. Мужчины делились на тех, кто Сиднея совершенно не выносил (таких было большинство), и тех, кто его очень высоко ценил. Все, кто имел для Рейли значение, относились ко второй категории.

Не обнаружив в новостях ничего существенного, лейтенант с внезапной проворностью кинулся к отъезжавшему от остановки трамваю. В вагон было не втиснуться, поэтому Рейли зацепился сзади за железку, ловко подтянулся, отодвинул мальчишку-беспризорника. Тот матерно выругался, Сидней цыкнул: «Заткни хлебало, шкет». Оглянулся через плечо. Никто за трамваем не бежал. Слежки не было. На всякий случай, проехав до угла Докучаева переулка, Рейли спрыгнул и нырнул в подворотню. Агенты Чрезвычайки грамотной слежки организовать не умеют, по сравнению с ними даже лопухи из порт-артурской гарнизонной контрразведки были ухари, не говоря уж об асах Охранного отделения, пасших подозрительного британца в довоенном Петербурге. Но терять навыки и расслабляться нельзя.

Из проходного двора на Спасскую он вышел ленивым, но в то же время удивительно спорым шагом. Если бы кто-нибудь из многочисленных московских знакомых случайно увидел сейчас мистера Рейли, вряд ли его узнал бы. Подтянутый, благоухающий

одеколоном офицер Королевского Лётного Корпуса, часто появлявшийся и в Кремле, и во ВЦИКе, и в Наркомвоенделе, превратился в «гегемона»: заросшее длинной черной щетиной лицо, мятый пиджак, картуз с треснутым козырьком, жухлые сапоги, за плечами брезентовый мешок. Две недели назад, когда стало известно, что в Архангельске вот-вот высадится союзный десант, лейтенант Рейли бесследно растворился в пространстве — перешел на нелегальное положение, иначе его, британского военнослужащего без дипломатического статуса могли арестовать.

На Сухаревской площади «буржуи», мобилизованные по трудовой повинности, мели мостовую. Несколько господ в сюртуках уныло возили по брусчатке метлами, поднимая тучи пыли. Лица тоже пыльные, серые, головы вжаты в плечи. Дама в шляпке, на которой от страусового пера остался только огрызок, морщась, собирала в совок конский навоз. Другая, в пенсне и постной жакетке с белым воротничком, какие носят учительницы, гнулаась в три погибели с домашним веником и совком. Следил за работами дежурный с красной повязкой на рукаве, грыз семечки. Он нашел себе развлечение: подождет, пока учительница соберет мусор, потом выплюнет еще шелухи. Орет: «А тут кто мести будет?». Поглядел на остановившегося Сиднея, подмигнул.

— Мы за ними говно подбирали, теперь пускай они покорячатся.

На угловатом, будто высеченном из гранита лице Рейли заходили желваки.

— Вредительствуешь, гнида? Саботируешь уборку территории? — процедил он. — Декрет Моссовета не для тебя писан? Расселся, фон-барон! А ну встать! Я тебя за тунеядство продкарточки лишу! Кто не работает, тот не ест. Чтоб через полчаса всюду чисто было. Вернусь — лично проверю.

Пройдя сотню шагов, обернулся. Дежурный бегал, размахивал руками, что-то вопил. «Буржуи» махали метлами в ускоренном темпе. Заступничество Сиднея их участи не облегчило.

«Перехамил хама, fucking Sir Galahad, — вполголоса обругал себя Рейли. — Нервы ни к черту».

Он вдруг почувствовал усталость. Ночью почти не спал, сидел на полу в душном, переполненном тамбуре, а посередине дороги, в Бологом, всех выгнали из поезда на перрон, проверять. Документы у

Сиднея были отличные, но битый час пришлось торчать под морозящим дождиком, одежда отсырела и до сих пор еще полностью не высохла, от нее несло псиной.

Пока не навалилась усталость, собирался после встречи с Хиллом идти в Шереметевский. Сейчас же остро захотелось не праздника и веселья, а покоя и нежности. Решено: на Малую Бронную. Но сначала необходимо заглянуть на конспиративную квартиру, узнать новости. Путь неблизкий, в Замоскворечье, через весь центр. Извозчиков в революционном городе нет, толкаться в трамвае после поездной давки — слуга покорный. Значит, в пешем строю, ать-два.

За три месяца, проведенных в Москве, Рейли в доскональности разработал несколько надежных маршрутов вроде вот этого, от Николаевского вокзала до Сухаревки, но для длинных дистанций все еще пользовался сытинским путеводителем, одолженным в Петрограде. Достал из вещмешка обернутую в газетный лист книжечку, развернул сложенную вчетверо страницу с картой, стал прикидывать: по Сретенке, по бульварам, через Устьинский мост.

Час спустя он был в Татарской слободе, наполовину состоявшей из патриархальных бревенчатых домов с палисадниками. Минут десять приглядывался к окнам одноэтажного особняка — не шевельнется ли занавеска. Занавеска не шевельнулась, но с крыльца спустилась простоволосая голоногая девка в подоткнутой юбке, начала отжимать половую тряпку. Тогда, успокоенный, Рейли приблизился.

Девка обернулась на чужого, вытерла нос рукавом.

— Чего уставился? Вали своей дорогой.

Присмотрелась. Узнала. Прошептала:

— Oh dear! I'll let him now^[6].

Побежала в дом.

Эвелин, секретарша Хилла, «залегла на дно» вместе с начальником. Она была по матери русская, языком владела в совершенстве. Маскарад доставлял ей много удовольствия. Джордж жаловался, что даже наедине с ним она отказывается говорить по-английски, с охотой употребляет площадные выражения, смысла которых, кажется, не понимает, и научилась сморкаться двумя пальцами.

Хилл изображал мелкого торговца, Эвелин — его служанку. Капитан, сын кирпичного фабриканта, родился в России, закончил

гимназию в Петербурге, но по-русски говорил с легким акцентом. Поэтому документы у него были на имя Георга Бермана, эстляндского немца.

— Костя! — крикнул Джордж, раскрывая объятая, как это сделал бы туземец, встречая приятеля. — Ну наконец-то!

— Не советую, от меня пахнет помойкой, — ответил Рейли по-английски, отстраняясь. Лицедействовать было не перед кем. — Ну и рожа у вас, Хилл.

Капитан тоже перестал бриться две недели назад, но волосы у него росли хуже, чем у Сиднея, и щетина вылезла неровная, клоунски рыжая.

— Вы бы на себя посмотрели, — обиделся Джордж. — Похожи на конокрада.

Умница Эвелин уже несла тазик, горячий самовар — не пить чай, а разбавлять холодную воду.

Пока Рейли мылся и обтирался, а потом приводил себя в более или менее цивилизованный вид, коллега делал ему update по событиям, произошедшим за время отсутствия лейтенанта. Тот ездил на четыре дня в Петроград, передать командеру отчет, но так с Кроми и не встретился — его неуклюже, но неотступно пасли чекистские филеры, причем бравый моряк этого, кажется, не замечал. Пришлось передать депешу через привратника, вместе с припиской о слезке. Впрочем ничего особенного в том, что питерская Чрезвычайка бдит за британским атташе, не было.

В Москве же всё было тихо, Хилл занимался своей обычной работой — готовил диверсионную группу для переброски на Украину. На прошлой неделе из Лондона поступил приказ вывести из строя семафоры на железнодорожных коммуникациях, по которым немцы увозят в фатерлянд зерно и скот. Капитан обожал такие задания. Он готовился лично возглавить диверсантов. В распоряжении Хилла имелась сеть бывших русских офицеров, отказавшихся признать Брестский мир, — Джордж не мог нахвалиться на этих отважных людей.

— И вот еще что, — сказал он, когда Рейли уже брил щеки. — Вчера вечером был связной от Локкарта. Нам велено прийти на явку, как только вы вернетесь. Triple X.

— Угу, — промычал Сидней.

Код «тройной икс» означал чрезвычайную важность. Тихим радостям Малой Бронной придется подождать.

Он стер пену и превратился во вполне пристойного гражданина с короткой аккуратной эспаньолкой. Открылись глубокие продольные складки, придававшие резкому, чеканному лицу несколько мефистофельский вид.

Из брезентового мешка были извлечены чистая рубашка с галстуком, пиджак, штиблеты. Лейтенант опять преобразился почти до неузнаваемости: из сотрудника петроградского угрозыска товарища Релинского, рабочей косточки, обратился греческим коммерсантом Константином Массино — так он звался в Москве.

Явка находилась в Мерзляковском переулке, на задах Дипломатического клуба, где встречались всё еще остававшиеся в Москве работники дипломатических и торговых миссий, корреспонденты европейских и американских газет, сотрудники международных организаций. Разумеется, прислуга работала на ЧК, подглядывала и подслушивала. Но иногда мистер Локкарт на время исчезал. Он выходил через черный ход, пересекал задний двор, всегда пустой, так что «хвост» привязаться никак не смог бы — и потом выныривал в соседнем переулке, прямо у конспиративной квартиры. После встречи, точно таким же манером, дипломат попадал обратно в клуб. Всё было устроено просто, чисто и надежно.

Эвелин отправилась предупредить Локкарта. У Хилла в доме имелся телефон, за установку которого комиссару Замоскворецкого узла заплатили хорошую взятку — ящик тушенки, но линия британской миссии, разумеется, прослушивалась. Секретарша позвонила через час из Арбатского почтового отделения.

— Он будет на месте. Просит поторопиться.

Это было беспрецедентно. Обычно разведчики приходили на явку первыми и ждали, когда Локкарт сумеет незаметно выбраться из клуба.

Пожав обоим руку — «Джордж, Сидней» — глава миссии сразу перешел к делу. Он говорил без остановки и уложился в десять минут, следуя всем правилам риторики, которую так прекрасно преподают в британских университетах — преамбула, наррация, формулировка задачи, результирующий пассаж:

— Итак, господа, мне нужно ваше профессиональное мнение: как следует поступить? Участвовать нам в латышском заговоре или последовать совету Гренара? И самое насущное: идти мне на вторую встречу с этими людьми или воздержаться?

Смотрел он при этом на Рейли, но ответил Хилл. Ему, впрочем, и полагалось говорить первым — он был старше чином.

— Не надо нам ввязываться во внутривососсийские дразги. Нас здесь держат не для того, чтобы мы свергали большевиков, а чтобы мы по мере сил вредили гансам. Мое задание — организация диверсий на оккупированной территории. Сидней прибыл с конкретным поручением — не позволить, чтобы Черноморская эскадра попала в руки к немцам, а после того, как корабли были благополучно затоплены, его дело — собирать информацию о германском направлении русской политики, используя источники и средства, недоступные дипломатическому представителю. Мы люди военные, наш долг — выполнять полученный приказ. Мое мнение: в авантюры не пускаться, на встречу с латышами не ходить.

Капитан искоса поглядел на Рейли — оценил ли тот солидную взвешенность суждения. Выжидательно смотрел на лейтенанта и Локкарт.

Несмотря на скромное звание и подчиненное положение, решающей инстанцией являлся Сидней. Он был намного старше обоих, несравнимо опытнее, а главное — обладал внутренней силой и спокойной уверенностью, которая моментально превращала его в вожака любой стаи.

— А ваше мнение? — не выдержал затянувшейся паузы Роберт.

— Каким вам видится двадцатый век? — задумчиво произнес Рейли, словно не услышав вопроса.

— Что?

— Он начинается с ужасных потрясений, которых еще не знало человечество. С всемирной бойни, после которой жизнь никогда не будет прежней. А какой она будет? Что нас всех ждет?

Двое остальных переглянулись. Ход мысли Сиднея иногда бывал причудлив.

— Мы победим Германию, Австрию и Турцию. Послевоенное устройство мира и судьбу нового века будет определять Антанта, — сказал Локкарт. — Это очевидно.

— Черта с два. Судьба двадцатого века решается здесь. В России.

— В каком смысле?

— В прямом. Мы присутствуем при рождении дракона, который — если дать ему подрасти — опалит своим огненным дыханием всю планету, разрушит государства, обратит в руины цивилизацию и превратит в рабов целые народы.

Начал Рейли флегматично, даже вяло, но постепенно его голос сделался гулким, хрипловатым и в то же время звенящим, словно надтреснутый колокол, веки стали подергиваться, а глаза налились матовым блеском, оставаясь при этом неподвижными. Они пристально смотрели в пространство, будто видели там нечто завораживающее, страшное.

— Ленин и Троцкий вам кажутся опереточными туземными царьками, не представляющими серьезной опасности для нашей великой империи, которая занимает треть земного шара, так ведь?

— А что, Британия должна бояться большевистского сброда, который не способен совладать даже с собственной страной? — удивился Роберт. — У них нет денег, нет армии, нет государственного аппарата — ничего нет.

— У них есть энергия и есть идея, с помощью которых они подорвут не только нашу рыхлую империю, но и весь мир. Армия и деньги для этого не понадобятся. Большевизм — это эпидемия, Локкарт, смертельно опасная эпидемия. Я сразу это понял, как только закачалось Временное правительство. Потому и напросился ехать в Россию. Но всё оказалось еще страшнее, чем я думал. Дракон растет не по дням, а по часам. Он проглотит эту несчастную страну, но на этом не остановится. Большевизм выплеснется за границы России. Он вызовет ответную реакцию, которая будет не менее катастрофичной. Страх перед большевизмом породит другого монстра — дракона антибольшевизма. Схватка двух этих чудовищ будет сопровождаться зверствами, по сравнению с которыми поля Вердена покажутся детской песочницей...

Это было уже чересчур и отдавало каким-то совершенно небританским кликушеством. Все-таки иногда чувствуется, что Сидней не англичанин, подумал Локкарт. Кажется, он наполовину ирландец, а наполовину русский еврей или что-то в этом роде.

— Что вы предлагаете?

— Если появилась возможность удушить дракона в колыбели, упускать шанс нельзя! История нам этого не простит! Да мы сами потом проклянем себя за малодушие! Во всяком случае я себе этого никогда не прощу. Плевать, что там думают в Лондоне. Они далеко, а мы близко. Значит, ответственность на нас, и решать тоже нам.

Теперь взгляд лейтенанта был устремлен прямо на Роберта, и тот сделал усилие, чтобы не зажмуриться — таким неистовым огнем горели карие глаза говорившего.

Наступила недолгая пауза.

Хиллу было легче — Рейли магнетизировал своими бешеными глазищами не его. Поэтому капитан примирительно сказал:

— Старина, ну что вы изображаете пифию? Черт знает, что случится в будущем. Это зависит от миллиона случайностей, предугадать которые мы не в состоянии. Надо двигаться шаг за шагом, решать проблемы по мере их возникновения. Наша главная проблема сейчас — война с немцами. И она еще не выиграна. Немцы — единственное, что меня занимает, и поверьте, забот у меня более чем достаточно. Угрозой большевизма мы озаботимся, когда справимся с германской угрозой.

Опять помолчали. Рейли — потому что он уже всё сказал. Локкарт — потому что колебался. Филиппика лейтенанта произвела на него впечатление.

— Как бы вы поступили на моем месте? — спросил наконец Роберт — и не у Джорджа, а у Сиднея.

Тот ответил своим обычным, спокойным голосом, будто только что не грохотал металлом и не сверкал глазами. Перепады от хладнокровия к страстности и обратно, словно некое внутреннее реле включало и выключало электрический ток, были еще одной чертой лейтенанта Рейли, притягивавшей людей — в особенности женщин и мужчин женственного устройства, к каковым относился Роберт Брюс Локкарт.

— Прежде всего я проверил бы парней, которые к вам явились. Вряд ли они агенты Чрезвычайки — она на подобные хитрости не способна, но вполне возможно, что это просто мальчишки, и никакой серьезной организации за ними не стоит.

— Как же я это проверю? — занервничал глава миссии.

— Вы — никак. Вместо вас на встречу пойду я. И просвечу их, как рентгеном.

— А если вы сочтете, что Шмидхену и его товарищу можно верить?

— На вашем месте я все равно не стал бы иметь с ними дело напрямую. Заговор может провалиться. Официальный представитель Британии не должен быть скомпрометирован. Предлагаю вот что. Джорджи пусть продолжает заниматься немцами, а я сосредоточусь на русских. Вернее на латышах, — поправился Сидней. — Но при одном условии.

— Каким? — насторожился Локкарт.

— Мне нужна полная свобода. Право действовать по ситуации, принимать решения по собственному усмотрению. Если мне предстоит общаться с руководителями заговора, меня не должны считать посредником. Иначе — если это серьезные люди — они все равно потребуют свести их с моим начальником.

Роберт совершенно успокоился. Разговоры с Рейли всегда на него так действовали.

— Предоставляю вам любые полномочия. Кроме того в вашем распоряжении мой фонд экстренных расходов.

— Тогда всё. До встречи с латышами почти два часа. Идите, я побуду здесь.

Ни руководителю дипломатической миссии, ни капитану не показалось странным, что лейтенант отпускает их, будто монарх, объявляющий о конце аудиенции.

Оба вышли, испытывая облегчение. Хилл — потому что можно было вернуться к привычному, ясному делу, подготовке рейда, Локкарт — потому что хорошо иметь дело с человеком, который всегда знает, как поступить.

Оставшись один, Рейли сел в кресло, откинул голову и уснул, велел себе проснуться ровно через час. У него в мозгу был встроенный будильник — очень полезная штука для человека, ведущего динамичный образ жизни.

Англичанин так и не появился.

Первые десять минут они ждали собранные, но более или менее спокойные — товарищ Петерс подробно проинструктировал, как себя вести и что говорить при любом повороте беседы. Спрогис шепотом рассказывал анекдоты — так у него проявлялась нервозность. Он и на фронте перед боем всегда балагурил. Буйкис не слушал, мысленно повторял затверженные фразы.

Через двадцать минут умолк и Спрогис, исчерпав запас шуток про тёщ и рогоносцев. Его светлые ресницы растерянно помаргивали, глаза шарили по фойе.

У стойки скучал портье. Свободных мест в московских гостиницах не было и быть не могло, гостиницы превратились в общежития. В номерах жили сотрудники перевезенных из Питера учреждений. Портье только выдавал ключи. Согласно революционной моде на сокращения, он теперь назывался «завключпостом». От былых времен остался только стол со свежими газетами. Около него сидел нога на ногу какой-то гражданин, закрытый разворотом «Известий», покачивал клетчатой брючиной.

Когда стрелка на стенных часах дошла до половины седьмого, Буйкис поднялся.

— Пойдем, Янит. (Их обоих звали «Янами»). Локкарт не клюнул...

По Петровской линии шли хмурые. Буйкис сердился на товарища, был уверен, что Спрогис вчера своей развязностью отпугнул англичанина. Выходило, что не справились они с заданием, подвели товарища Петерса. Теперь, наверное, отчислят из ЧК, придется возвращаться в батальон, снова тянуть казарменную ляжку, и это в лучшем случае. В канцелярии говорят, что скоро все боеспособные части пошлют на север, воевать с Антантой.

— Товарищ Шмидхен!

Обернулись.

Чернявый мужчина среднего роста, с небольшой бородкой стоял руки в карманах, разглядывал приятелей. Спрогис слегка толкнул локтем, показав глазами на клетчатые брюки. Те самые. Оказывается, Локкарт пришел не сам, а прислал человека.

Настроение у обоих сразу поднялось.

— Допустим, — сказал Спрогис. — А вы-то кто?

— Я — тот, кто будет иметь с вами дело. Или не будет. Мы пока не решили. Зовите меня «Константин Маркович».

По тону, по всей манере было видно: господин серьезный. Пожалуй, посерьезней Локкарта. Может быть, даже какой-то его начальник. Товарищ Петерс и не знал, что у англичан есть кто-то главней Локкарта. Это было очень важное сведение. Приятели так и впились глазами в «Константина Марковича», запоминая приметы. При поступлении в ЧК их научили, как это делается: определять рост с точностью до вершка, классифицировать тип телосложения, цвет волос, форму лица; потом — брови, глаза, нос, линия рта, подбородок, а самое главное — уши, потому что они у всех разные. У этого уши были заметные: хрящеватые, в верхней части слегка отогнутые, будто крылышки. И брови тоже характерные — густые, резко очерченные, вразлет.

— Вы, вероятно, Шмидхен, — обратился чернявый к Спрогису (стало быть, тоже знал приметы — от Локкарта). — А как называть вас? — Это Буйкису. — Мне не нужно знать настоящее имя, но должен же я как-то к вам обращаться.

— Зовите меня Невиенс, — ответил Буйкис. По-латышски это означало «Никто». — А почему вы к нам сразу не подошли? Зачем заставили столько ждать?

— Наблюдал. Проверял, нет ли слезки. Разговаривать будем на ходу. Если я замечу «хвоста» или что-то подозрительное, закашляюсь. Тогда сразу расходимся.

Шли по Петровке быстрым, деловым шагом. Константин Маркович расположился посередине. Поглядывал то влево на одного, то вправо на другого, а им двоим переглядываться было затруднительно.

— В какой служите части? — таков был первый вопрос.

Буйкис ответил, как велел товарищ Петерс:

— В Девятом полку.

Это должно было англичанам понравиться, Девятый полк охранял Кремль.

— Лиепинь состоит в вашей организации?

То, что англичане знают имя нового комполка, всего неделю как назначенного, было неожиданно. Буйкис немножко растерялся. Зато нашелся Спрогис:

— Мы пока не уполномочены раскрывать имена членов организации, но можете не сомневаться, в ней состоят большие люди.

— Среди них есть командиры частей? Это для меня принципиально, — сказал Константин Маркович. — Вторые или третьи лица успешную операцию подобного масштаба осуществить не смогут.

— Конечно есть, — ответил Спрогис. — У нас всё железно.

— Кто именно? Авен? Пулькис? Вайнянис? Риекстынь? Стуцка? Андерсон? Ремер? — и без запинки, не заглядывая ни в какие бумажки, перечислил всех старших командиров Латышской дивизии.

— Не уполномочены раскрывать, — повторил Спрогис. — Вы сами-то кто?

— Об этом я скажу руководителю вашей организации. Лично. Пусть приходит завтра в кафе «Трамбле» на Тверском бульваре. Один. Ровно в полдень, без опозданий. Ждать я не стану.

Сказав это, Константин Маркович остановился как вкопанный и сразу отстал. Когда приятели, пройдя по инерции несколько шагов, обернулись, то увидели спину англичанина, а может и не англичанина, черт его разберет. Разговор был окончен.

— Капита-альный господин, — протянул Спрогис. — Айда на Лубянку к товарищу Петерсу, докладывать.

— Сдурел? — осадил его Буйкис. — А если они следят? Сначала зайдем в казарму Девятого полка. Будто к себе. На Лубянку после.

Немного поспав, Сидней чувствовал себя отдохнувшим, а многообещающая встреча зарядила его энергией, поэтому идти на Малую Бронную он передумал. Отправился в Шереметевский переулок.

Если бы Сиднея спросили, кто самый трагичный персонаж мировой литературы, он не задумываясь ответил бы: конечно, Дон Жуан, неисцелимая жертва любви. Только идиоты считают Дон Жуана ненасытным соблазнителем и разбивателем женских сердец. Это женщины соблазняли бедного идальго, раз за разом разбивали ему сердце. Он как Тантал, который никогда не утолит своей жажды. Его влечет не плоть — что плоть. Его пьянят бесчисленные лики любви, ведь двух одинаковых любовей не бывает, как не бывает двух одинаковых женщин. Каждая неповторима, каждую нужно любить по-

своему, и тогда она тоже полюбит так, как никто и никогда тебя любить не будет. В молодости Рейли (тогда он носил другое имя) совершил немало сумасшедших поступков, даже преступлений, если того требовала любовь, а она требовательна, ох как она требовательна, но никогда, никогда не раскаивался в содеянном.

Заклятье Сиднея — а может быть, и проклятье — заключалось в том, что ему всегда было мало любить только одну женщину. Это была шизофрения, но сделать с собой он ничего не мог. Любовь — нет, *любви* — мешали ему в Главном Деле, повергали душу в смятение, а мысли в сумбур, но, может быть, в этом и состояла великая неподдельность жизни, в которой мука и наслаждение, злодейство и святость, награда и наказание неотрывны друг от друга.

Летом 1918 года Сидней Рейли любил двух московских женщин. Обе были уникальны и прекрасны. Он метался между ними, словно мотылек меж двух огней. Один светил ровно и тихо, другой рассыпался бенгальскими искрами. Экзистенция вибрировала и звенела, как натянутая до отказа струна, вот-вот оборвется. Мир великих свершений, где правит История, а стало быть Смерть, перемешивался с миром, в котором царствует Любовь, а стало быть, Жизнь, в какой-то невообразимый павлиний хвост. Наверное, это было счастье.

* * *

Лизхен ходила не похожая на себя, потухшая. Она не могла обходиться без музыки. Обычно насвистывала, будто щегол, или распевала шансонетки, а теперь мычала грустные оперные арии без слов. Днем еще ничего, днем в студии шли репетиции, разучивали новую революционную пантомиму «Марат», где Лизхен играла Шарлотту Корде — исполняла танцы в стиле «гротеск» (особенно хорош был канкан с кинжалом), но вечером было одиноко. По четвергам же репетиций не было. Согласно теории руководителя студии Николая Осиповича Массалитинова, актерам надлежало заниматься «само-рефлексией» — вживаться в роль и упражняться дома, перед зеркалом, это накапливает творческое напряжение.

Сегодня был четверг. Напряжения в Лизхен накопилось через край. С утра она то гримасничала, то, одетая в трико, задирала длинные ноги перед зеркалом, то выходила в коридор и застывала перед золотой дверью — точь-в-точь как тетина болонка Тяпа, по десять раз на дню бегавшая на кухню к своей миске и удивлявшаяся, что там пусто.

Дверь вообще-то была обыкновенная, покрашенная охрой, но за нею происходило волшебство, и потому она мерцала, словно вход в золотой чертог. Волшебство началось, когда три месяца назад в большой тетиной квартире поселился постоялец, как и Лизхен, приехавший из Петрограда. Сначала он ей не понравился — черный носатый грек. Старый, лет сорока, занимается чем-то скучным, и фамилия сюсюкающая: Массино, будто слово «машина» с греческим акцентом. Но в первый же вечер они разговорились, просидели в столовой до полуночи. Тетя давно ушла к себе, а Лизхен всё слушала рассказы человека, объехавшего весь свет и пережившего тысячу удивительных приключений. Много смеялась, пару раз расплакалась — она легко переходила от одного настроения к другому. Он сделал ей очень странный комплимент: «Ваше лицо похоже на лампочку». «Почему на лампочку?» — рассмеялась она. «В обычном состоянии пустое, никакое — стекляшка и стекляшка. Но стоит вам чем-то заинтересоваться, и зажигается электричество, вокруг становится светло. Я никогда не видел такого лица». Другая бы на «стекляшку» обиделась, а Лизхен была польщена. Настоящая актриса и есть электрическая лампочка: когда загорается, темный зал наполняется светом. У Константина Марковича лицо тоже было поразительное — как переводная картинка, которые Лизхен любила в детстве: трешь мутный, аляпистый рисунок, и от прикосновения он расцветает красками, бесформенное пятно превращается в прекрасного принца. Даже удивительно, что поначалу она не заметила всей красоты этого лица. На одном из занятий Николай Осипович объяснял японскую концепцию «югэн» — потаённой красоты, открывающейся не всем и не сразу.

В ту ночь Лизхен всё ворочалась в постели, вспоминая, с каким восхищением он на нее смотрел, словно любовался драгоценным ювелирным изделием. Однако ничего такого себе не позволил — никаких заигрываний, ни малейшего намека на ухаживание. И всё же

не было ни малейших сомнений: он в нее влюблен и сейчас, конечно, тоже не спит.

Лизхен не колебалась — это ей было несвойственно. Просто откинула одеяло и как была, в одной рубашке, легкая и воздушная, словно эльф, прошелестела по коридору к золотой двери. Она, незапертая, с легким скрипом отворилась. За нею ждало волшебство.

На рассвете, сонно поцеловав еще вчера незнакомого, а теперь самого близкого на свете человека в горячие губы, Лизхен прошептала: «Я буду звать тебя Югэн».

Первой встрепенулась Тяпа и, возбужденно повизгивая, понеслась со всех лап в прихожую еще прежде, чем раздался звонок. Собака была дура дурой, но сразу почуяла в Югэне что-то особенное. Едва тот майским утром впервые появился на пороге и сказал тете: «Здравствуйте, я от Александра Николаевича», болонка принялась на него запрыгивать, вертеть пушистым хвостом.

Лизхен выглянула из своей комнаты. Было темно, электричество в квартиры теперь давали только в десять вечера, на один час, но с лестничной площадки проникал свет, на его фоне мужская фигура казалась вырезанной из черной бумаги.

Из гостиной шла тетя Дагмара с керосиновой лампой. По стенам закачались тени, из мрака проступило дорогое лицо. Лизхен прижала пальцы к погорячевшей щеке.

— Костя, милый, наконец-то, — сказала тетя. — Мы так волновались! Про железную дорогу рассказывают ужасы. Всё ли у вас хорошо?

— У меня всё архивеликолепно, — весело ответил вошедший. — Велено передать вам от Александра Николаевича А) поклон... — Поклонился. — ...Б) поцелуй... — Поцеловал тетю в щеку. — ...В) кляйн гешенк.

Протянул коробочку.

От поцелуя тетя покраснелась. Она любила Константина Марковича, Костю, почти так же сильно, как Лизхен и Тяпа. Дагмара Генриховна по представлениям двадцатидвухлетней Лизхен была старая дева. Тете шел тридцать шестой год.

Пока Дагмара рассматривал содержимое коробочки и ахала (там сверкала золотая брошка — плата за постояльца), Югэн подошел к

племяннице.

— Елизавета Эмильевна...

Приложился к руке. Руку обожгло пламенем.

Об их отношениях Дагмара, невинная душа, не догадывалась. Югэн сказал: незачем тревожить ее девственное воображение эротическими фантазиями, это небезопасно. Вечерами Лизхен кралась к золотой двери на цыпочках, к себе возвращалась на рассвете. Это было романтично.

В эпоху всеобщего «уплотнения» они жили в пятикомнатной квартире только втроем. Югэн дал членам жилкомитета мзду, и обошлось без подселений. Это был человек, который с легкостью решал проблемы, представлявшиеся безнадежными.

Сели к столу. Жестом фокусника Югэн извлек из одного кармана большую плитку американского шоколада, из другого — плоскую бутылочку любимого тетиного ликера «бенедектин». Рассказывал про Питер и про дорогу смешное. Лизхен расположилась напротив. Целомудренно улыбалась, гладила под столом ногой его щиколотку.

От ликера тетя, как обычно стала прыскать, полчаса спустя заклевала носом. «Долго не засиживайся, Лизочка, тебе к восьми на репетицию, и Константин Маркович с дороги устал».

Ушла. В дальнем конце квартиры щелкнула дверь. В следующий же миг они кинулись друг на друга, как цирковые борцы. С грохотом отлетел стул.

Югэн подхватил ее на руки, понес по коридору к золотой двери. Оба задыхались.

* * *

«Клавдий» (такое кодовое имя получил у Петерса новый и неожиданный персонаж пьесы — таинственный господин с эспаньолкой) знает командиров всех частей Латышской дивизии. Возможно и в лицо. Это означает, что подсовывать ему чекиста рискованно, можно спалить весь театр.

Яков сидел за своим рабочим столом и, будто гадалка, раскладывающая карты, перебирал бумажки. На каждом имя, выписка из формуляра. Комдив Авен, бывший подполковник, и трое комбригов

в конспираторы не годились — слишком на виду. Выбирать надо было из командиров десяти полков и шести артиллерийских дивизионов. Вроде бы кандидатов много, но скоро на зеленом сукне остался только один листок: Эдуард Берзин, командир первого легкого артдивизиона.

Логика была простая.

Доверять большое, важное дело человеку незнакомому и непроверенному нельзя. Знакомиться со всеми времени нет, встреча назначена на завтра. Ergo круг сужается до тех, кого Яков знал лично. Из шестнадцати потенциальных кандидатов таких было трое, и двое точно не годились. У Лиепиня, отличного храброго вояки, всё на лице написано. Ян Бейка — тугодум, а тут нужна мгновенная реакция и творческая жилка.

Берзин был хорош по всем показателям. Во-первых, умный. Во-вторых, хладнокровный. В-третьих, сразу видно человека крупного калибра — если такой стоит во главе подпольной организации, можно быть уверенным, что это организация непустьковая. Во время революции Берзина, всего лишь прапорщика, солдаты выбрали командиром дивизиона единогласно. В-четвертых (самое интересное), Эдуард закончил Берлинское училище изящных искусств, он художник. Нужно будет увлечь его монументальностью сего полотна, сразу перешел к психологическому планированию Яков. На революционную сознательность давить не будем, он не член партии (что в данном случае превосходно — коммунисту Клавдий не поверит). А вот дайну на латышской струне мы непременно исполним — Берзин, кажется, большой патриот родных дюн. Рассказать ему про ленинскую программу самоопределения наций, про будущую свободную Латвию, привести в пример Финляндию, которой Совнарком в январе предоставил независимость. (Финны к тому времени уже взяли ее сами, но на этом мы заостряться не станем).

Сразу же, не откладывая, отправился в дивизион. Берзин жил в казарме вместе с бойцами, одной семьей.

Беседой Яков остался очень доволен. Он был на волне вдохновения. Говоря о Латвии, даже прослезился.

Берзин порадовал. Пока слушал, по малоподвижному лицу было не понять, согласится или нет. Однако по первым же вопросам стало ясно, что важностью задания проникся и всё выполнит. В конце сказал: «Раз это нужно для Латвии, сделаю».

Трудность состояла в том, что артдивизион не использовался для охраны правительства и устроить переворот никак не мог, но эту проблему Яков решил следующим утром. Поговорил с наркомом товарищем Троцким, тот сделал телефонный звонок, и к полудню вышло распоряжение командующего московским гарнизоном: поскольку артиллерийские части латышских бригад пока не получили орудий, приказываю использовать дивизионы посменно для несения комендантской службы по списку номер один (то есть для охраны высших органов власти).

Теперь Берзин становился невестой с богатым приданым, Клавдий не мог в такую не влюбиться.

В некогда модном бульварном кафе «Трамбле» от былой импозантности остался только интерьер в стиле «нового искусства». Подавали морковный чай да отвратительные на вид и вкус «гороховые птифуры». Эдуардс Берзиньш — по русским документам Эдуард Петрович Берзин — откусил серо-зеленый пирожок, поморщился и есть не стал. Интерьер ему тоже не нравился. Он считал ар-нуво сиропной пошлостью для мещан, которые любят изячно оттопырить мизинец. Эдуардс отдавал предпочтение грубым мазкам и кричащим краскам экспрессионизма, бескомпромиссность которого так выпукло передает корчи нового, рождающегося на глазах мира, что вылезает из утробы зловонный, измаранный кровью и безобразный, как все новорожденные. Таков уж закон природы.

Британский агент запаздывал, но Эдуардс не волновался. Не имел привычки волноваться из-за уродств бытия, к числу которых несомненно относилась эта шпионская возня. Волновало Берзиньша только красивое: сочетание цветов, изгиб линий и, конечно, воспоминания о Родине. А если Клавдий (странная кличка) не явится, то и слава богу. Участвовать в чекистской операции командир артдивизиона согласился лишь потому, что чувствовал себя не в праве отказаться. Независимость Латвии могли дать только большевики — в награду за то, что маленький народ оказывает им такую беспримерную помощь. Латыши стали гвардией революции, и политической полицией советской России тоже руководит латыш. С будущим председателем ВЧК Эдуардс познакомился прошлой осенью на фронте, когда Якабс Петерс был членом Реввоенкомитета Двенадцатой

армии. Человек себе на уме, но волевой и смотрящий далеко вперед. А главное не чужак. Латыши все любят свою тихую Родину, даже интернационалисты.

Но Клавдий придет, никуда не денется. Затаился где-нибудь, проверяет, нет ли слежки. Петерс пообещал, что слежки не будет. Сказал: такой волчище враз срисует моих олухов.

Вошел брюнет с небольшой бородкой клином, по описанию — Константин Маркович, он же Клавдий. Встретились взглядами. Клавдий тоже догадался, что его поджидает именно Эдуардс. Других военных в кафе не было.

Направился к столику.

— Вы от Шмидхена?

— Это Шмидхен был от меня. Садитесь, — пригласил Берзиньш, рассматривая своего визави цепким взглядом художника.

Одно из полученных от Петерса заданий было сделать портрет агента для последующей идентификации.

Такое лицо запомнить и нарисовать легко. Черты определенные, ни малейшей расплывчатости, рельефность бронзовой медали: высокий лоб с двумя продольными морщинами; глаза — как нацеленная двустволка; гравюрный нос и хорошо прорисованные носогубные; под эспаньолкой угадывается острый, стальной подбородок.

Оба были люди выдержанные. Разглядывали друг друга, начинать беседу не спешили.

Нарушил паузу Клавдий.

— Вы кто?

— Сначала представьтесь вы, — спокойно сказал Эдуардс.

Он ждал, что собеседник опять назовется Константином Марковичем или скажет что-нибудь неопределенное. Ответ, однако, удивил.

— Я лейтенант Королевского летного корпуса Сидней Рейли. Невысокий чин пусть вас не смущает. Я уполномочен правительством его величества вести дело, представляющее для нас обоюдный интерес.

Идентифицировать не понадобится, подумал Эдуардс. И тоже представился.

Опять помолчали, но теперь первым заговорил Берзиньш.

— Полагаю, вы желаете получить представление о возможностях нашей организации?

На сей счет от Петерса были получены подробные сведения: структура, имена и прочее. Эдуардс заучил наизусть.

Ответ снова был поразительным. При всей своей невозмутимости Берзиньш даже вздрогнул.

— Никакой подпольной организации в Латышской дивизии не существует. Клоуны, которых я вчера видел, в любой нормальной контрразведке не продержались бы и одного дня. Они могли охмурить простака Кроми и дилетанта Локкарта, но не меня. Однако я должен был посмотреть, кого пришлет Чрезвычайка. Вы настоящий командир, не чекист, это сразу видно.

Руки англичанин прятал под столом. Очень возможно, в одной из них был пистолет. Сейчас выстрелит в живот и преспокойно уйдет.

Мысль была несерьезная, Берзиньш на ней задерживаться не стал.

— Зачем же вы пришли, если уверены, что это чекистская провокация?

— Подумал, если явится подсадной, застрелю его, обрублю концы. Если же увижу человека серьезного, можно поговорить.

Рейли положил руки на стол. Они были пустые, с длинными и видимо сильными пальцами. Красивые.

— Поговорить о чем?

— О Латвии.

Эдуардс слегка приподнял брови. Он впервые встречал человека, который обладал даром все время удивлять — за пару минут уже в третий раз.

— Я знаю, чего больше всего хотят латыши. Жить в собственном государстве, избавившись и от русских, и от немцев. Так?

— Коммунисты обещают Латвии свободу. Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин выступает за право наций на самоопределение. Как только Германия проиграет войну и уйдет из Прибалтики, туда войдет наша дивизия. Она станет основой национальной армии. Советская Россия будет союзником независимой Латвии.

Англичанин покривился.

— Доктрину о праве наций на самоопределение разработал не Ленин, а президент США Вудро Вильсон. И, в отличие от Ленина,

намерен претворить ее в жизнь. Большевики же, как вам известно, никаких наций не признают — только классы. Цель Ленина и Троцкого — интернационал, всемирная пролетарская империя, которая будет управляться из Москвы.

— Империя? — недоверчиво усмехнулся Берзиньш. — Бросьте, они только что расстреляли всю императорскую семью.

— Неважно, как называется государственная система. Важна архитектура власти. Это может быть или «горизонталь», или «вертикаль». В первом случае власть разделена с представителями населения — это называется «демократия». Во втором власть сосредоточена в одной точке — это называется «диктатура». Скажите, много демократии вы видите у большевиков, при всей их болтовне про советы трудящихся? Это диктатура, господин Берзиньш. И диктатура очень жесткая. Чем сильнее она будет становиться, тем тотальней будут править большевики. Никакой независимой Латвии они не допустят, не обманывайтесь. А вот Антанта руководствуется доктриной Вильсона. И, в отличие от коммунистов, ложных обещаний не дает. Скоро мы добьем кайзера и установим в Европе новый порядок. Вы хотите, чтобы Латвия обрела свободу? Тогда держитесь нас, а не Ленина. Если латыши помогут нам избавить мир от большевистской угрозы, мы предоставим вам все необходимые гарантии. Больше я ничего говорить не буду. Вы человек умный. Думайте, я подожду. Что это у вас? Можно?

Он взял птифур и с аппетитом, в два укуса, проглотил.

— Морковный чай? Я в России к нему пристрастился. Эй, товарищ, еще один чайник!

Удивительный человек с удовольствием пил мутно-красную бурду. Берзиньш думал.

Большевики ему не нравились. Они не уважали дисциплины, всё делали вкривь и вкось, рубили лес так, что щепок получалось больше, чем дров. Но других хозяев в России нет. Берзиньш считал, что жить и договариваться придется с этими.

Однако после поражения Германии (а оно неизбежно) миром будет править Антанта, это ясно. Насчет наций и классов британский лейтенант тоже прав. Для того же Петерса неважно, латыш ты или нет, для него главное — кто за пролетариат, а кто за «буржуев». Но в Латвии нет пролетариата. Крестьяне у нас не голодранцы, потому что

умеют трудиться. Рабочие — не пролетарии, потому что не пьют. Согласится ли Москва, чтобы рядом существовала некоммунистическая Латвия? Ни за что и никогда. А если Латвией будут управлять комитеты бедноты и советы бездельников, что это будет за страна?

Эдуардс думал минут пять, для него долго. Внешняя неторопливость Берзиньша была обманчивой, голова у него работала быстро.

— Ну допустим, — негромко сказал он наконец. — Но ведь никакой организации нет. А кроме того мною занимается председатель ВЧК Петерс. Лично.

Неожиданно Рейли засмеялся, и его жесткое лицо сразу помягчело, сделалось обаятельным. Наверное, этот человек умел и веселиться, и радоваться жизни.

— «Ну допустим», — повторил он с латышским акцентом. — I like that and I think that I like you, you cold-blooded bastard^[7].

— Я не понимаю по-английски, но слово «бастард» я понял, — заметил Эдуардс. — Оно означает «ублюдок».

— Не когда оно произносится таким восхищенным тоном. Мне нравится ваше хладнокровие. Я вижу, что не ошибся в вас. Я в мужчинах никогда не ошибаюсь. Только в женщинах.

Отулыбавшись, лейтенант снова сделался серьезен. Наклонился ближе.

— Организация и не нужна. Слишком велик риск, что кто-то предаст или проболтается. Нужна одна воинская часть, которая полностью доверяет своему командиру и в назначенный день выполнит любой его приказ. Это во-первых. А во-вторых, требуется, чтобы это было подразделение, которое охраняет советскую верхушку. Скажите, в каких вы отношениях с командиром Девятого полка Лиепинем?

Эдуардс сразу ухватил суть.

— Лиепинь — человек, не способный на самостоятельные поступки. Для него существует только приказ начальства. Но Девятый полк не понадобится. Желая сделать меня более соблазнительной приманкой, Петерс перевел мой дивизион на комендантскую службу. По определенным дням охранять большевистских вождей буду я.

Энергично, но при этом бесшумно Рейли стукнул кулаком по столу.

— Тогда нам вообще никто больше не нужен! В таких делах простота конструкции — залог успеха! Но о технологии мы поговорим после.

— Вы забыли, что меня контролирует сам Петерс.

— Не забыл. Но это не проблема. Наоборот — плюс. Петерс должен полностью вам доверять. Для этого мы сделаем две вещи... — Лейтенант полез во внутренний карман и вынул толстый конверт. — Вы сообщите Петерсу, что с британской стороны делом руководит Сидней Рейли. Я назвался вам другим именем, но вы однажды, еще в начале лета, видели меня в Наркомате и запомнили мое прекрасное лицо. Я действительно часто бывал у Троцкого и Бонч-Бруевича — еще когда ходил по Москве в военной форме.

— Я тоже там бываю. И память на лица у меня отменная, — кивнул Берзиньш. — Петерс поверит.

— И проникнется к вам еще большим доверием. Кроме того вы дадите ему вот это. — В руку Эдуардсу лег конверт. Внутри плотно лежали царские сторублевки, ценившиеся выше всех прочих дензнаков. — Я выдал вам деньги на оперативные расходы и пообещал, что это только начало. Вы могли бы прикарманить куш, но вместо этого передадите его в ЧК. Никто так не ценит деньги, как презирающие золотого тельца коммунисты.

Снова мелькнула быстрая улыбка, теперь сардоническая. Англичанин Берзиньшу всё больше нравился. И кажется, симпатия была взаимной.

— На следующем этапе мне нужно будет убедиться, что ваши солдаты выполняют приказ, даже если он станет для них полной неожиданностью. Мне придется наведаться к вам в казарму и посмотреть на ваших подчиненных. Придумайте, как это устроить.

Берзиньш немного поразмышлял.

— В одиночку у меня не получится. Понадобятся помощники. Во всех трех батареях. В каждой есть человек, пользующийся безоговорочным авторитетом. Все они мои фронтовые товарищи и патриоты Латвии. Уверен, они согласятся. Но мне понадобится день или два. После этого я вас с ними сведу.

— Это командиры батарей?

— Командиры первой и второй батарей. Третьей командует партиец, но его не любят, бойцы уважают взводного Волковса.

— А как я попаду в казарму?

— У нас барахлит электричество. Что-то с распределительным щитом. Вы придете чинить. Разбираетесь вы хоть сколько-нибудь в технике?

— Я летчик, — с достоинством ответил Рейли. — Меня учили чинить авиационный мотор при вынужденной посадке. Уж с паршивым распределительным щитом я как-нибудь разберусь. Вы свой чай не будете допивать? Тогда, если позволите...

Четыре гвоздики



Был уверен, что Агата не позвонит. Если же позвонит — он скажет, что в ближайшее воскресенье никак не получится, а потом как-нибудь спустит на тормозах. Такая своенравная девица навязываться не станет, зачем ей?

Ужасно на себя злился. Какого, спрашивается, хрена позвал? Чтоб закрутить роман? Во-первых, это пустит под откос только-только наладившуюся, пускай не особенно счастливую, но всё же сильно улучшившуюся жизнь. Во-вторых, никакого романа не будет — только самоедство и унижение, от ворот поворот. Агата молодая и красивая. Он немолодой и некрасивый. Смотрел на себя в зеркало — кривился. Очки с толстыми стеклами (в войну из-за нехватки витаминов сильно просело зрение), мясистые щеки, толстогубый, какой-то немужской рот. А еще в решительной барышне угадывалось что-то тревожное,

исключающее всякий покой и всякую нормальность. Может быть, даже опасное.

Марат успокаивал себя: нет, она не позвонит.

Но в субботу вечером Агата позвонила. Он хотел сказать, что встреча отменяется, но сжалось сердце. От страха, что он ее больше никогда не увидит.

— Отлично. Тогда в одиннадцать перед воротами. Только не старого Донского кладбища, а нового, где колумбарий. Не перепутайте.

И тут же рационализировал свой поступок. Для этой цели у Марата был целый арсенал полезных цитат на все случаи жизни. Например, такая: «Лучше раскаиваться из-за содеянного, чем из-за упущенного». Лукавство, конечно. Когда он после колебаний решал чего-то не делать, на помощь приходила другая поговорка, из интернатского детства: «Не ищи на свою жопу приключений, сами найдут».

Марат приехал с пятнадцатиминутным опозданием, что было для него нетипично. Интернат на всю жизнь приучил его к пунктуальности, там за малейшее опоздание можно было получить затрещину или — самое страшное наказание — остаться без еды.

На выходе из квартиры посмотрел на себя в зеркало и решил переодеться. Тоже поступок в высшей степени нехарактерный. Если шли в гости или на какое-то мероприятие, надевал то, что велела жена. Она же и покупала, вернее сказать доставала, новые вещи. Собираясь на кладбище, Марат нарядился в нейлоновую рубашку густого синего цвета, светлые брюки, новые югославские туфли, но вспомнил Агатины техасы с полукедами. Вернулся к платяному шкафу, хоть и ругал себя за дурость: ах, ждет любовник молодой минуты верного свиданья.

Напротив ворот, прислонившись спиной к тополю, курила Агата. Одета она была так же, как у Гриваса, только не в тенниске, а в ковбойке.

— Извините, — сказал Марат. — Долго трамвая не было. Здравствуйте.

Она просто кивнула, что, видимо, означало и «здрасьте», и «понятно».

При ярком свете было видно, что глаза у нее не просто зеленые, а какого-то удивительного изумрудного оттенка, волосы же будто присыпаны золотой пылью. Чертова девица была пугающе хороша.

— Вам сколько лет? — спросила она, бесцеремонно его разглядывая.

— Сорок.

— Тогда говорите отчество. Тех, кто старше тридцати пяти, я зову по отчеству.

— Ничего, можно просто «Марат». Иначе я буду обращаться к вам «Агата Юльевна». А вам сколько?

— Скоро двадцать три.

— Учитесь?

— Работаю. Хотите?

Вынула пачку «Кента».

— Интересно, — сказал Марат. — Одеваетесь вы попросту, во всё советское, а сигареты курите американские. Моя жена такие у знакомого спекулянта по двадцать рублей за блок достает. Весь ваш туалет, я думаю, столько не стоит. Это у вас что-то концептуальное?

Решил: раз она бравировует естественностью, он тоже церемониться не будет. Про жену помянул нарочно. К этой красотке наверняка всё время клеятся, так пусть не думает, что он такой же.

От сигареты отказался.

— Спасибо, я «Беломор» курю. Американские меня не пробирают.

— Одежда — плевать, было бы удобно, — ответила Агата, будто не заметив (а может, вправду не заметив) иронии. — Но внутрь я Сову не пускаю. Ни в мозги, ни в легкие, ни в желудок. Ничего свиного не читаю, не смотрю, не курю, не ем.

— Свиного?

— Всего, на что наложила свои цапки Сова.

— В смысле ничего советского? — сообразил он. — Да как это возможно?

— Запросто. Продукты покупаю только натуральные — никаких микояновских говноколбас и «мосгорпищепромов», ничего такого, над чем потрудились рационализаторы и передовики производства. Сигареты и жбанку тырю у папочки. Лучше ничего не курить и не пить, чем травиться свиной дрянью. Туземные книги и фильмы

употребляю, только если какой-нибудь надежный человек скажет, что туда Сова не нагадила. За вашу повесть поручились — я прочитала. А иначе не стала бы.

Это было, пожалуй, лестно.

— Идем на кладбище или что? — спросила Агата.

— Сначала докурим. Около могил нехорошо.

Марат втянул царапающий дым своей «совиной дряни», которая во времена его юности считалась шиком, тогда все курили махорку и самосад.

— А как же вы учились в школе, в институте?

— Школа была в Академгородке. Сова туда почти не залетала. Институт я кончила заочно. На экзамены по всякой марксистско-ленинской мути вместо меня ходила кузина — на заочном ведь никто никого в лицо не знает...

«Кузина», елки зеленые, подумал Марат.

— Но вы сказали, что работаете. Где у нас можно работать, не соприкасаясь с Совой?

— Дома. Я перевожу техническую литературу с английского и немецкого. Патенты, лицензии, статьи из специальных журналов. Нормально зарабатываю, мне хватает.

— Конечно, хватает. Ведь сигареты, выпивку и, наверное, что-нибудь еще можно взять у папы?

«Что ты ее всё за косички дергаешь, будто влюбленный третьеклассник?» — одернул он себя.

Но Агата опять восприняла вопрос как самый обычный, требующий ответа.

— Да, папочка весь с головы до ног в совином помете. Так что с белоснежностью у меня хреново. «Нельзя жить в выгребной яме и не запачкаться. Просто не ныряй в дерьмо с головой», — говорит папочка.

— Не самое плохое у вашего отца кредо — в наших условиях.

Агата наморщила нос.

— Он в сущности преступник в тысячу раз хуже «Мосгаза». Водородная бомба была ему, видите ли, интересна как научная задача. Приделал Сове стальные когти, которыми она когда-нибудь растерзает человечество. Я ему это говорю — отвечает: дело не в стальных когтях, а в человечестве. Если оно решит себя угробить, туда ему и

дорога. Возникнет какая-нибудь другая цивилизация. Из дельфинов, например, или муравьев. У папочки теория, что люди — не первая попытка планеты Земля обзавестись разумной фауной. Один папочкин знакомый руководит астрономической лабораторией, там сверхмощный телескоп. Так он уверен, что за нами наблюдают какие-то инопланетяне. Им постоянно шлют туда, в космос сигналы, но ответа нет. И понятно почему. С нормальной, внеземной точки зрения мы дикари и варвары. А может быть, инопланетяне умеют просчитывать будущее и твердо знают, что человечество себя в каком-нибудь 2023 году к черту подорвет, так какой смысл с нами контактировать?

Агата сама была похожа на инопланетянку. Марату больше не хотелось ее цеплять едкими вопросами.

— Ладно, идем. Только цветы куплю. Дайте. Терпеть не могу, когда мусорят, — сказал он, видя, что Агата собралась бросить сигарету на землю.

— Человек конвенций? — усмехнулась Агата, но отдала.

Марат отнес оба окурка к урне. Купил у тетки четыре гвоздики, хотя в повести героиня приносит своим мертвецам разные цветы и каждый что-то символизирует, но жизнь — не литература. У всех торговок были только гвоздики да тюльпаны, букетами по четыре, шесть, восемь или десять стеблей, потому что на кладбище принято приносить четное количество.

— Я проведу вас по четырем местам памяти, четырем персонажам, которые сначала были в тексте, а потом я их оттуда изъяс.

— Почему?

— По кочану, — буркнул Марат. На него уже накатывало тягостное настроение, с которым он всегда входил в эти красные ворота. — Вы пока молчите, хорошо? Слушайте экскурсовода, а то он собьется.

— Хорошо, — кивнула Агата, внимательно на него посмотрев. Что-то почувствовала.

— Ненавижу расспросы о писательском замысле, — сказал тогда он. — Какая к лешему разница, что хотел донести до читателя автор? Важно, что читатель сам понял или ощутил. Ладно. Вам — объясню. Дело не в цензуре или самоцензуре. Главным мотором повести были очень личные воспоминания. О конкретных людях. Но штука в том,

что эти фрагменты получились... слишком личными. Я их потом убрал, потому что читатель должен ощутить всеобщность. Понимаете? Не сочувствие к горю автора, а скорбь по человечеству, извините за пафос. Всякое по-настоящему сильное произведение именно так и пишется. Главный мотор рассказываемой истории, ее сердце — физически отсутствует, но пульсация остается. Читатель должен заполнить эту пустоту собственным сердцем.

Агата немного подумала.

— Интересно.

И видно было, что ей действительно интересно. Врать она не стала бы.

Марат повел ее своим обычным маршрутом. Сначала — к бюсту Муромцева, стоящему прямо под стеной.

— Чей это памятник? — с любопытством спросила Агата.

Прочла вслух:

— «Председатель Первой Государственной Думы».

Удивилась:

— А я про такого и не слышала.

Еще больше удивилась, когда Марат положил справа от надгробья, прямо на траву, первую гвоздику.

— Муромцев-то вам что? Он умер в девятьсот шестом году, тут написано.

— Это не Муромцеву. Это моему отцу. У него нет могилы. Расстреляли в тридцать шестом и закопали в какой-нибудь общей яме. Я решил, что здесь будет место его памяти. Во-первых, в лице есть что-то похожее. Отец не носил бородки, но лоб, глаза, нос... Хотя вообще-то я его помню неотчетливо, мне было восемь лет, а фотографий не осталось, ни одной. Их потом замазывали в книгах или вырезали. Имя зачеркивали. Так было положено. Чтобы начисто стереть из памяти. Как будто человека никогда не было. Я еще и поэтому выбрал место рядом с Муромцевым. При жизни он был очень важный для страны человек, председатель первого в истории российского парламента, а сейчас совершенно забыт. Даже вы, с вашим Академгородком и высшим образованием, услышали про него впервые.

— А кто был ваш отец? Наверное, какой-то большой начальник, если его портреты печатали в книгах?

— Он был большевик с дореволюционным стажем, соратник Ленина и Дзержинского. Посты занимал самые разные. У него была присказка: «Работай там, где больше работы». Я отца помню странно, урывками. Мы с матерью жили отдельно.

— Почему? Они развелись?

— Нет, не думаю. Впрочем, я не уверен, что они вообще были официально женаты. В двадцатые и начале тридцатых брак часто не регистрировали. Когда я спрашивал у мамы, почему папа с нами не живет, она говорила: он живет на работе. Появлялся он только по воскресеньям. Я ждал этого дня как праздника. Он приходил большой, энергичный и вез нас на сверкающей черной машине в какое-нибудь интересное место. На аэродром, на стройку, на ипподром, в цирк, на завод. Помню какой-то цех, где из ковша лился расплавленный металл... Иногда, даже часто, он не мог прийти, и воскресенье превращалось в пустой, серый день. Перед самым концом его не было три воскресенья подряд. Потом приехал, вечером и ненадолго. Говорил с матерью, дверь была закрыта. Зашел ко мне и стал что-то объяснять или втолковывать. Так серьезно, напряженно, что я разволновался и ничего не понял. Во всяком случае не запомнил. Дорого я бы дал, чтобы восстановить тот разговор. Только осталось в памяти, как он повторяет, дважды: «Чего бы тебе это ни стоило. Чего бы тебе это ни стоило». Что «это»? Всю жизнь пытался угадать. Первую свою повесть назвал «Завет отца». Там к молодому человеку попадает записка, которую много лет назад оставил ему отец, как и мой, казненный в тридцать шестом году — только, разумеется, не своими, а японцами, на КВЖД. Неважно, не в сюжете дело. Повесть очень плохая. Но «мотор» в повести был: немое кино, в котором отец обращается ко мне с последними важными словами, губы шевелятся, а слова сливаются в неразличимый гул. Повесть следовало бы назвать «Зависть». Я завидовал своему герою.

— А что завещал ему отец в записке?

— Неважно. Всякую чушь. По вашей терминологии повесть — «сова» «совой», недаром она получила Сталинскую премию, что по нашим временам срамно. Ладно, идемте.

— Куда?

— Теперь к матери.

Шли аллеей к колумбариям. Марат рассказывал.

— Ее арестовали вскоре после отца. Я крепко спал, ночного звонка не слышал. Трясут за плечо. Яркий свет в глаза. Мама говорит, ласково: «Одевайся, Маратик. Поедешь с этим дядей». Целует меня. Кто-то скрипучий берет ее за руку, уводит в другую комнату. Всё. В следующий раз я ее увидел восемнадцать лет спустя.

— Выжила? — обрадовалась Агата.

— Как сказать...

Остановились в колумбарии, перед табличкой. Имя, годы жизни, овальная фотография на керамике: смеющееся молодое лицо с косой челкой по лбу.

— Она была солнечная, веселая, всё время пела или насвистывала, по утрам тащила меня делать зарядку, мы рубились в пинг-понг, ругались из-за спорных шариков... Она меня постоянно обнимала, тискала, тормошила, целовала. Если на людях — я вырывался, шипел: «Ну мам!». Мне, маленькому дураку, было стыдно.

Он покашлял.

— А в пятьдесят пятом захожу к ней в комнату... Она у нас отказалась жить, у знакомой поселилась, ту раньше выпустили... И не узнал. Совсем. То есть вообще ничего похожего. Короткие седые волосы. Старуха старухой, а ей ведь не было и пятидесяти. Сиплый голос. В пепельнице горой окурки. Посмотрела снизу вверх, помахала рукой, разгоняя дым. Глаза тусклые. Я хотел ее обнять — и не решился. Затоптался на месте. Говорю: «Я каждое утро и каждый вечер о тебе думал». Задыхаюсь. Она мне в ответ: «А я о тебе не думала. Запретила себе». Почему, спрашиваю. «Иначе не выжила бы. Есть, говорит, будешь? У меня котлеты из кулинарии». И зашлась кашлем. У нее был туберкулез, тяжелый. Я устроил ее в писательскую больницу. Сначала навещал каждый день. Пытался расспрашивать — молчит. Рассказываю о своей жизни — слушает без интереса. И всё время курит, несмотря на строжайший запрет. Курит и кашляет.

— Неужели она вас ни о чем не расспрашивала?

— В самый первый день спросила, женат ли я. Я говорю, да, в следующий раз обязательно приведу Тоню, познакомлю. Мать мне: «А дети у вас есть?». Нету, говорю, мы решили, что рано заводить. Она: «Тогда не приводи». И всё. Я принес ей в больницу свои публикации: две вышедшие книжки, журналы с рассказами. Оставил. Положил на тумбочку, так они потом и лежали. Я думал, не прочитала. Наконец не

выдержал, спросил. Она сказала: «Дрянью». Я после этого четыре года писать не мог... Что еще? Пробовал расспросить ее об отце. Ответила: «Что вспоминать?». Спрашиваю, а похож я на него, хотя бы внешне? «Нет». И больше ни слова. Через три месяца она умерла. Ночью, в приступе кашля...

Марат замолчал. Не стал рассказывать, как, напившись на похоронах, плакал и говорил жене: «Лучше бы она не возвращалась, лучше бы умерла в лагере». Потом, когда они ссорились, Тоня не раз поминала ему те слова. Она бывала жестокой, когда разозлится.

— «Руфь Моисеевна Скрынник. Тысяча девятьсот семь — тысяча девятьсот пятьдесят шесть», — медленно прочла Агата вслух, словно запоминая. — Красивое имя. Библейское. Дайте гвоздику. Я положу... Куда теперь?

— В дальний конец.

На площадке, где скрещивались аллеи, тоже торговали цветами. Цыганка в пестром капроновом платке сидела на оградке, поплевывала в кулак шелухой от семечек.

Подбежали две смуглые девчонки, лет по девять-десять. Одна схватила за штанину Марата, другая за ремень Агату.

— Дай десять копеек, мамка погадает! Не ходи, спытай судьбу! Уйдешь — беда будет! Не жидись, козырной, дай гривенник! — звонко, наперебой загалдели они.

— Отстаньте, а? — Марат отвел от себя чумазую ручонку. — Тут кладбище, не базар.

Но уже подошла «мамка», сверкнула золотыми зубами.

— На кладбище самое гаданье. Мертвые врать не дают, — сказала она хриплым голосом. — Дай двугривенный, кавалер. И тебе, и барышне погадаю. Деткам на хлебушек, вам на счастье.

— Я хочу, — объявила Агата. — Вот.

Достала из кошелька монетку.

Цыганка взяла ее руку, повернула ладонью — и Марат засмотрелся. Ладонь у Агаты была неожиданно нежная и, кажется, мягкая.

Девчонки прилипли с обеих сторон, тоже смотрели.

— Богатая не будешь, а счастливая будешь... За три моря уедешь... За князя выйдешь, — затянула-запела гадалка. — Сыновей нарожаешь... Старая-престарая помрешь, ни о чем не пожалеешь.

Агата осталась очень довольна.

— Класс!

Почесала ладонь — наверно было щекотно.

— Теперь ему.

— Давай другую монетку, с одной и той же нельзя, — потребовала цыганка, хотя уже получила свой двугривенный.

— Мне не надо. Идем!

Цыганка крикнула в спину:

— Всю жизнь будешь, как дурная собака, за своим хвостом гоняться! И помрешь, как собака, один! Никто к тебе на могилу не придет!

— И вам того же, — огрызнулся Марат, не впечатленный плохим предсказанием, а пожалуй что и проклятьем. Он в мистику не верил.

— «Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала», — отчаянно фальшивя пропела Агата. Слух у нее был чудовищный. — Вот так я и хочу. Прожить жизнь и ни о чем не пожалеть. Особенно о том, что хотела сделать и не сделала.

Марат был расстроен. Идиотское гадание сбило всё настроение.

— Охота вам всякую чушь слушать? Абсурд же. С одной стороны, «за князя выйдешь», с другой — «богатая не будешь». Лепит что на язык ляжет, даже не задумывается.

Агата нахмурилась. Ей хотелось, чтобы гадание сбылось.

— Князья бывают и бедные. Мышкин, например. Но хотелось бы какого-нибудь помужественней... — Махнула рукой. — Ладно, проехали. Кому третий цветок?

— Дяде Якову. Маминому брату. Это вон там.

Встали перед могилой. Гвоздика легла на плиту с вырезанным на граните скрипичным ключом. Дядя Яков Моисеевич преподавал в музыкальной школе.

— В шестьдесят втором? — прочла Агата год смерти. — Тоже отсидел и вернулся?

— Нет, он не сидел. Всё еще... печальней. Знаете, я не испытываю жалости, когда думаю об отце. Чувство трагичности — да. Но не жалость. Он сгорел на костре, который сам и разжег. И мать вспоминаю не с жалостью, а... — Марат запнулся, пытаясь найти точные слова. — Если бы она для меня навсегда осталась такой, какой я знал ее в раннем детстве — молодой, веселой, полной жизни, то

наверное очень жалел бы, но я закрываю глаза, вижу ледяную старуху в облаке табачного дыма, и меня охватывает совсем другое чувство, более сильное, темное и... пугающее. Что-то в обычных обстоятельствах мне совсем не свойственное. Ярость? Бешенство? А дядя... Он был хороший, добрый человек. После ареста матери взял меня к себе. Славная такая семья. Жена Лия Львовна, две дочки, уже подростки. Все со мной носились, пылинки сдували. Но осенью тридцать седьмого стало очень страшно. Я прямо чувствовал это по взрослым. Однажды дядя отвел меня в «Детский мир», накупил всякой одежды. Потом пошли в кафе-мороженое, они тогда только появились. Сказал: «Выбирай что хочешь». Я попросил тройную порцию. До сих пор не выношу вкус ванили. Дядя сморкался, отводил глаза. Говорил, что я поеду жить с другими мальчиками, мне там будет лучше. В общем отвез в интернат для таких, как я. И у меня началась совсем другая жизнь... Всё понятно, осуждать нельзя. Дядя должен был в первую очередь думать о собственных детях. Когда я вернулся в Москву, в пятидесятые, разыскивать его не стал. Он тоже не пытался. Только перед самой смертью, уже из онкологического отделения, прислал мне письмо. Раздобыл где-то адрес. Я пришел. Дядя плакал, просил прощения, говорил, что мучился всю жизнь. Вот его мне жалко. Человека нельзя ставить перед таким выбором. Никогда...

— Вот за это, *за всё это*, я Сову и ненавижу, — брезгливо передернулась Агата. — Даже не за миллионы погубленных жизней, а за сотни миллионов изуродованных. Не страна, а фрик-шоу. Цирк уродов. И дядя ваш тоже урод. Нечего ему цветы носить. Это же надо — самому отвезти ребенка в приют. Да лучше сдохнуть! Идем отсюда. Кому четвертая гвоздика? Тоже родственнику?

— Нет, совсем чужому человеку. Я про него почти ничего не знаю... Нам нужно вернуться на центральную площадку, и потом направо... Однажды в пятьдесят пятом, осенью, мне в редакцию позвонил какой-то старик. Сказал, что знал моего отца, хочет встретиться. Я, конечно, разволновался. Отменил все дела...

Они вышли из тени на открытое место. Июльское солнце палило вовсю. Марат легко потел, было у него такое малоприятное физиологическое свойство. Вот и сейчас на лбу сразу выступила испарина. Полез за платком. Остановился.

— Черт! Бумажник пропал!

Агата схватилась за задний карман тегасов.

— А у меня кошелек!

— Как же я теперь доберусь до центра? У меня в два встреча, — пробормотал Марат. Хотел посмотреть, сколько времени — и совсем растерялся. Часов на запястье не было.

— Ну и физиономия у вас! — засмеялась Агата. — Это нас девчонки обчистили, пока мамаша внимание отвлекала. Вот фокусники!

Он побежал к площадке, но цыганок, конечно, след простыл. Сзади с хохотом шла Агата.

— Это из-за того, что вы связались со мной, — сказала она ошеломленному Марату. — Папа говорит: «Где ты — там всегда приключения». Вот с вами часто происходит какая-нибудь полоумная фигня?

— Нет...

— Со мной постоянно. Хуже другое. — Она потеряла живот. — Я не завтракала, а ужасно есть хочется. Тут близко, на Шаболовской, булочная. Зайдем? А потом будем выбираться отсюда.

— Да как? У нас ни копейки! Даже в трамвай не сядешь.

— В трамвай — нет, там кондуктор. Но по Ленинскому ходит троллейбус, и там кондуктора нет.

— Зайцами? А если контролер?

— Я дам деру, а вы как хотите. Но сначала в булочную. У меня под ложечкой сосет и в животе бурчит, слышите?

Удивительно, но случившаяся катастрофа — хорошо, не катастрофа, но в любом случае серьезная неприятность — привела Агату в прекрасное расположение духа. У нас с ней совсем ничего общего, подумал Марат. Я от потрясений цепенею, а она от них, наоборот, заряжается.

— Булочная — не троллейбус. Без денег там не получится.

— Отставить разговоры! Рота, за мной! — приказала Агата и замаршировала первая, отмахивая руками. Еще и запела «Соловей-пташечка», на какой-то собственный мотив. Посетители кладбища смотрели на нее с осуждением. Марат шел сзади, делал вид, что он сам по себе.

Перед булочной Агата жестом велела дожидаться за дверью — там, где к перилам крыльца был привязан нетерпеливо

поскуливающий эрдель. Марат приблизился к окну, стал смотреть.

К прилавку, на котором в лотках были разложены хлебобулочные изделия, стояла очередь. Агата лениво прошлась, трогая ценники. Спросила о чем-то продавщицу. Направилась к выходу.

Потянула Марата за рукав. И азартным шепотом:

— Дербаним добычу.

В каждой руке по десятикопеечной ржаной лепешке. Одну протянула ему, от другой жадно откусила.

— Вы... украли?! — пролепетал Марат.

— Всё вокруг народное, всё вокруг мое, — беспечно ответила она с набитым ртом. — Берите, чего вы.

— Не хочу.

— Ну тогда я обе слопаю. Потом топаем на троллейбусную остановку.

Ехать «зайцем» Марат не собирался. Хорошо будет член Союза Писателей, пойманный за безбилетный проезд. Прикинул, что до гостиницы «Москва», где договорились встретиться с Антониной, идти час с хвостиком. Сейчас четверть первого.

— На четвертую могилу не пойдём? — спросил он, глядя на последнюю гвоздику.

Агата ответила не сразу. Испытующе смотрела на него, жевала, что-то решала.

— Чего по кладбищам ходить? Мертвецов вокруг и так полно. Только прикидываются живыми. Хотите свожу вас к настоящим живым людям? Не таким, как у Григория Павловича.

Марат удивился. Ему казалось, что более живых людей, чем компания Гриваса, не бывает.

— Они вам не понравились?

Наморщила нос.

— Да ну их. Изображают из себя, будто им все трын-трава, а сами — как зайцы на поляне.

— На какой поляне?

— Это меня один ухажер водил на «Мосфильм» смотреть новую комедию, она еще не вышла. Глупая, но смешная. Там была песенка про зайцев, которые косят трын-траву: «А нам всё равно, а нам всё равно, пусть боимся мы волка и сову». Вот и эти тоже боятся Сову. А

люди, про которых я говорю, никого не боятся. Отблагодарю вас экскурсией за экскурсию. Впрочем как хотите. Нет — так счастливо.
— Хочу. Конечно, хочу, — быстро сказал он.

Сэйдзицу

Роман



* * *

Встреча с Берзиным всё изменила. Появился шанс, реальный шанс повернуть ход истории. От этой мысли у Сиднея кружилась голова и перехватывало дыхание. Он прибыл в Россию, чтобы находиться близ эпицентра землетрясения, которое разрушит цивилизацию, и сигнализировать отсюда беспечному человечеству о надвигающейся опасности: укрепляйте крыши, подпирайте стены, готовьте убежища — и вот случилось невероятное. Катастрофу можно предотвратить. И спасет цивилизацию он, Сидней Рейли. Вот для чего

он родился на свет. Всё было не напрасно. Судьба — в книге она называется «карма» — причудливыми зигзагами вела тебя сорок четыре года именно к этой точке, чтобы испытать твой *сэйдзицу*.

От возбуждения Сидней не мог ни есть, ни спать, всё ходил из угла в угол. Чтобы дать отдых усталому мозгу, садился почитать поразительную книгу, делал из нее выписки. Это была старая привычка: записывать то, что требует осмысления.

Книгу он взял у Грамматикова перед отъездом из Петрограда, скоротать время в дороге. Небольшой англоязычный томик с самурайским шлемом на обложке Сидней выбрал, потому что много лет, еще с Порт-Артура, интересовался всем японским.

Сначала книга показалась ему очень странной. Это был набор коротких мыслей и историй, не все они были понятны. Но скоро попала фраза, которую захотелось прочитать еще раз. Потом другая, третья. Трясаясь в переполненном тамбуре, где по стенам металась тень от качающегося керосинового фонаря, Сидней подчеркивал строчки карандашом, чтобы потом выписать самое важное.

Правильная книга — как правильная женщина. С нею нужно встретиться в тот миг, когда ты к ней готов, не раньше и не позже. Тогда она даст тебе то, в чем ты сейчас больше всего нуждаешься.

Почитав книгу, напитавшись ее духом, Сидней снова вскакивал, возвращался к разработке плана. Мысли о подготовке акции и мысли о женщинах переплетались. Они были связаны.

Есть женщины, которых нужно заботливо оберегать от опасностей, и есть женщины, которых опасность возбуждает, обостряет в них наслаждение жизнью.

Много лет назад, когда Сидней носил другое, давно забытое имя, по юности лет увлекался нищезанятием и считал мораль подлой ложью, единственная цель которой — превратить людей в овчье стадо, он влюбился в одну женщину, мучившуюся с деспотичным мужем. И был у них с Маргарет разговор, который Сидней запомнил на всю жизнь.

— Старый скот не дает тебе развода? — сказал он. — Значит, я женюсь на вдове. Ни о чем меня не спрашивай, тебе не нужно знать лишнего. Я всё сделаю сам. Просто доверься мне. Мы будем вдвоем, и ты будешь счастлива.

— Мне не нужно, чтобы *ты* сделал меня счастливой, — ответила Маргарет. — Я хочу сама сделать себя счастливой. И мне повернуть такое дело легче, чем тебе, ведь я всё время с ним рядом. Он очень следит за своим поганым здоровьем, перед сном проглатывает кучу пилюль, пьет пять разных микстур. Ты достанешь лекарство, от которого не просыпаются, остальное я исполню сама. А теперь обними меня.

С того момента их любовные слияния обрели неистовую, надрывную страстность. Они были очень счастливы друг с другом, так опьяняюще счастливы, что долго это продолжаться не могло.

После Маргарет было много других удивительных женщин, и понемногу Сидней научился угадывать, что́ делает каждую из них счастливой — шторм или штиль.

Проблема заключалась вот в чем. Подготовка великого акта требовала активных действий. Активные действия повышают градус риска. Азбука профессии предписывала развести оперативный центр с местом обитания в два разных, желательно не связанных между собой пункта. Это первое. И второе: эффективно и плодотворно работает только тот, кто полноценно отдыхает.

Вечером из студии вернулась Лизхен.

Он усадил ее за стол, плотно запер дверь, наклонился и тихо, с мукой в голосе начал каяться.

— Милая, бесконечно милая Лизонька, я негодяй и подлец, я страшно виноват перед тобой. К тому же я еще и преступник, ибо нарушаю присягу. Но плевать на присягу, я больше не хочу тебя обманывать. Я должен сделать признание...

Про присягу Лизхен не поняла или не расслышала, но при слове «признание» затрепетала, рванулась встать.

— У тебя другая женщина!

— Зачем мне другая женщина, если есть ты? — удивился Сидней. — Молчи, не перебивай. Мне и так трудно...

Она опустила на стул. Смотрела снизу вверх широко раскрытыми глазами. Ему стало ее невыносимо жалко — ведь в сущности девочка. В какую опасную игру он ее втягивает! Но инстинкт подсказывал: всё верно, именно это ей и нужно.

— Я не тот, за кого себя выдаю. Моя фамилия не Массино, и я не коммерсант.

Прошептала:

— А кто?

— Британский офицер, выполняющий секретное задание огромной важности. ЧК охотится за мной, круги сужаются, мне нужно перебраться на конспиративную квартиру. Я не могу больше подвергать тебя угрозе. Но исчезнуть, не попрощавшись, тоже не могу. Прости меня и прощай.

Рейли отстранился, будто не уверенный, захочет ли она его на прощанье поцеловать.

— Как же... как тебя зовут? — еле слышно произнесла Лизхен. Зрачки у нее были расширены.

— Сидней. Сидней Рейли.

— Сидней... Красиво...

Лизхен взяла его за руки. Крепко.

— Я никуда тебя не отпущу. Остайся! Пусть опасно. Пусть мы даже погибнем.

Инстинкт не подвел. Эта женщина была создана для бурь.

В Шереметевском он, конечно, не остался. Договорился, что Лизхен перестанет ходить на репетиции, скажется больной, будет сидеть дома, встречать связных и курьеров. Сидней пообещал навещать каждый день. Одну штору в комнате Лизхен должна держать полузакрытой. При любом звонке в дверь отодвигать. Если это не чекисты, потом задвигать обратно. Полузакрытая штора будет для Рейли знаком, что всё чисто, можно войти.

Тем же вечером он перебрался на Малую Бронную.

Была еще одна причина, кроме необходимости дистанцировать себя от центра связи. При новом, авральном режиме существования бурь хватит и без африканского нрава Лизхен. Нужна тихая гавань, где можно хоть на время укрыться от штормов, починить такелаж, собраться с мыслями, да просто выспаться.

Для этого в жизни скромного греческого подданного существовала Оленька. Ее он встретил и полюбил месяц назад, когда начал немного уставать от страстей Шереметевского переуллка.

Оленька служила машинисткой в исполнительном отделе ВЦИКа, большевистского парламента. Константин Маркович познакомился с лучистой светловолосой барышней, похожей на русалку, из практических видов — рассчитывал получать копии секретных постановлений. Но влюбился в нежное, доверчивое, отзывчивое на ласку существо и передумал — не стал впутывать Оленьку в свои дела. Она и так, безо всякого задания, доставляла немало важных сведений.

Женщины бесконечно разнообразны, к каждой нужен свой подход, но есть два ключа, которыми можно открыть почти всякое женское сердце. Нужно быть интересным и щедрым. Та, кому никогда не бывает с тобой скучно и кому ты без конца устраиваешь праздники с подарками, будет как минимум признательна, а от этого всего шаг до любви.

Оленька несколько раз говорила, что с появлением «Кости» ее жизнь превратилась в рождественскую сказку. Он снял уютную квартиру, которую Оленька с наслаждением превратила в маленький рай — во времена, когда вокруг царствовало разрушение, это само по себе было сказкой. Оленька больше не томилась в длинных, унижительных очередях «отоваривая карточки» — любимый давал ей довольно денег, чтобы покупать на черном рынке давно исчезнувшие из магазинов продукты. Она достала кулинарную книгу и готовила умопомрачительно вкусные блюда. Расстраивалась, если «Костя» не появлялся ими полакомиться (он иногда исчезал по своим коммерческим делам без предупреждения на несколько дней), но никогда не корила его, а только радовалась возвращению. Они собирались пожениться и, когда закончится война, уехать в Грецию, где тепло, солнечно, прямо на деревьях растут апельсины и нет военного коммунизма.

Оленька была простая и светлая. После дня, проведенного в метаниях по грязному, ошетиленному городу, после конспиративных встреч, каждая из которых могла оказаться засадой, Сидней приходил на Малую Бронную и попадал в совсем иной мир.

Он клал голову Оленьке на колени, легкие пальцы гладили лоб, перебирали волосы.

— Ты очень устал, — шептала она. — Ты столько работаешь. Боже, я никогда не думала, что буду кого-то так любить...

В эти минуты ему ничего не хотелось — ни спасти мир, ни войти в историю. Только лежать, закрыв глаза, ощущать невесомые прикосновения и слушать нежный голос.

Однако ключевой элемент будущей операции возник именно благодаря Оленьке.

21 августа на очередной встрече с Берзиным, передав ему новую пачку денег (все они потом попадали в ЧК, к Петерсу), Сидней сказал:

— День определился. По сведениям из надежного источника ровно через неделю, 28-го, в Большом театре состоится чрезвычайное заседание ВЦИК. Троцкий приедет с фронта, чтобы сделать доклад о положении дел. Перед началом в директорском кабинете соберется президиум. Будет вся большевистская верхушка, но главное — оба вождя, Ленин с Троцким. Это идеальный момент для удара. Можете вы устроить, чтобы в охрану назначили ваш дивизион?

— Смогу, — уверенно ответил латыш. — Я скажу Петерсу, что у нас есть шанс взять самого Сиднея Рейли с поличным. Предположим, план у вас такой... — Спокойные глаза сосредоточенно прищурились. — «Англичанин помешан на том, чтобы сыграть роль в истории, — скажу я Петерсу. — Он собирается собственной рукой бросить в кабинет две лимонки, чтобы разом уничтожить весь штаб революции. Гранаты должен принести я. Я их и принесу. Рейли бросит, но они не взорвутся. Главарь британской агентурной сети будет схвачен после неудачного покушения». Уверен, что Петерсу это понравится.

— Блестяще, — признал Сидней.

План в самом деле был превосходен. Впечатлила и реплика о роли в истории — не в бровь, а в глаз. С Берзиным несказанно повезло: умный, сильный, решительный. Прирожденный лидер.

В казарме дивизиона, изображая электрика, Рейли понаблюдал, как командир общается со своими солдатами. Нет сомнений, что они выполняют любой исходящий от него приказ. Посмотрел Сидней и на трех помощников, которых выбрал Берзин. Они тоже были хороши.

— Какую батарею вы отберете для дежурства в Большом театре?

— Третью. В ней меньше всего коммунистов, только пятнадцать человек. Сделаю так. Предложу комиссару собрать партийцев батареи перед ответственным дежурством на собрание. Отведу для собрания

снарядный склад. Это глухое помещение с железной дверью. Волковс и Крастиныш запрут засов снаружи, останутся караулить. Кигурс поведет батарею в театр, поставит около директорского кабинета самых надежных людей. Я, разумеется, тоже там буду. Возьмем всех наркомов без шума и пыли. Кто станет брыкаться — проткну штыком. Куда их потом, вы решили?

— Ленина с Троцким сразу увезем и изолируем. Остальную мелочь, всяких Свердловых-Каменевых-Сталиных, посадим под замок, они опасности не представляют.

— «Изолируете» в смысле убьете? — покачал головой Берзин. — Это, конечно, проще всего, но может стать миной замедленного действия. Революционные мученики становятся бессмертными.

— А как бы с ними поступили вы? — заинтересовался Сидней.

— Я бы их выставил на посмешище. Это надежнее. Допустим, спустил бы с них штаны и провел в одних кальсонах, связанных, под конвоем, через Охотный Ряд и Красную площадь. Потом, когда с севера подойдут ваши войска, нужно будет устроить суд. Не это их революционное судилище, а настоящий, с прокурором и адвокатами. Чтобы все видели: восстановилась настоящая, законная власть.

Идея была остроумная и живописная, достойная художника. Сидней оценил. Но еще больше ему понравилась мысль про лимонки. Кинуть в кабинет и разом отсечь дракону все его головы. Раненых добить из револьвера. Неостроумно и неживописно, зато надежно.

Но говорить об этом, конечно, не стал. Берзин и сам сменил тему. Его волновало, что высадившийся в Архангельске союзный десант остается малочисленным, подкрепления не прибывают. Значит ли это, что Антанты передумала вести наступление на Москву?

Увы, именно это и произошло. Локкарт рассказал, что умники из Уайтхолла решили не распылять силы. На Западном фронте сейчас решается судьба войны, немцы отступают, нужно их додавить, а Советы — забота второстепенная, может и подождать. Тупые, бездарные слепцы!

Что ж, Сидней Рейли сразит дракона в одиночку. Двумя гранатами.

Ночью приснился Фрицис. Такой, каким Яков видел его последний раз, на опознании, в морге. С черной дыркой во лбу — от снайперской пули.

— Мистер Питерс, можете ли вы идентифицировать покойного? — спросил тогда инспектор.

— Да. Это мой двоюродный брат Фриц Сваарс, — ответил Яков, и в тот момент ему померещилось, что рот мертвеца чуть раздвинулся во всегдашней бесшабашной улыбке.

Так же улыбался Фрици и во сне. Несмотря на пробитый череп, он был живой, веселый.

— Что, Йека, всё было не напрасно? — Оскалил прокуренные зубы. — Мы ведь знали, что кто-то из нас ее поймает. Не я, так ты. Будешь «хозяином», твоя взяла. Мне-то она теперь на кой?

Это в детстве, в заводи на Даугаве, они охотились на большущую щуку. Она была старая, хитрая, никак не давалась. Побились с Фрицисом на «хозяина-батрака», была у них такая игра. Победивший на условленный срок становился «хозяином», проигравший должен был выполнять все его приказы. Щука тогда так и не далась, Яков про нее давным-давно позабыл, а тут вдруг вынырнула из омуты памяти. Во сне.

В жизни-то обычно первенствовал Фрицис. Он был бесстрашный и фартовый, опасность его не пугала, а приманивала. Это Фрицис втянул Якова в лихое дело, в революцию, и потом, когда бегали от полиции, в трюм уходящего из Вентспилса корабля, в угольную яму, затащил тоже он. «Поглядим, братуха, что за Англия такая, нечего нам тут больше ловить, революции амба».

Но в Англии дороги разошлись. Фрицис собирался жить по-прежнему, по-русски. Якову же захотелось стать англичанином. Он выучил язык, поступил на службу, стал носить воротнички и галстук. С двоюродным братом почти не виделся. Тот появлялся редко, над галстуком смеялся, вынимал из кармана скомканные купюры, кидал на стол: «Бери, не жалко».

А потом полиция повезла Якова на опознание. Фриц Сваарс и его напарники, грабя ювелирную лавку, застрелили трех полицейских. Англия не Россия и не Америка, там подобных страстей никогда не видывали. Грабителей выследили, полдня осаждали целой армией и всех убили. Яков потом на суде еле доказал, что он ни сном, ни духом.

Проснувшись, лежал на спине, курил. Думал: что-то от Фрициса в меня переселилось, живет внутри, пузырит кровь. Я нынешний — не тот, что был тогда. Там, в морге, Фрицис не зря улыбнулся. Он знал, что я пустил в себя его неугомонную душу. Что я больше не захочу быть англичанином, а захочу быть только собой, Яковом Петерсом. И немного Фрицем Сваарсом.

Потом, раз уж вспомнился Лондон, стал думать о жене и дочке. Не видел их больше года и увидит ли когда-нибудь — бог весть, а поскольку бога нет, то никто не весть. Товарищам по коллегии ВЧК сказано, что Мэй — английская леди, дочь банкира, влюбившаяся в революционера. Пролетарии только прикидываются, что ненавидят белую кость, на самом деле им лестно, когда кто-то из бар переходит на нашу сторону. Ну и вообще, читайте Достоевского: аристократ в революции обаятелен. Вон Жора Лафар из ОБК, отдела по борьбе с контрреволюцией, не преминет вернуть при случае, что он из французских маркизов. Тоже наверняка врет. Мэй была служанкой, когда Яков ее обрюхатил. Женился только после родов.

Пускай жена остается в своей Англии, на что она в Москве, курица. А вот дочку Мейси повидать ужасно хочется, маленькую хохотушку.

Ничего, весело сказал себе Яков, под звон будильника. Скоро выменяем. Будет на кого. Дочь председателя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии прибудет к отцу первым классом, а за это мы так и быть не расстреляем какого-нибудь Локкарта. Но уж Сидней-то Рейли, несостоявшийся убийца советского правительства, от расплаты не уйдет.

Вчера товарищу Ленину отправлен доклад с подробным описанием операции «Заговор послов». Ильич несомненно оценит масштаб замысла и высокую художественность разработки. В Большом театре на заседании ВЦИК будет вся иностранная пресса. Пусть полюбуется на арестованного Рейли, на неразорвавшиеся гранаты. Ниточка к британскому представителю прямая, не отопрется. Французов притянуть — не проблема, есть оперативные данные по тайным встречам Локкарта с Гренаром и Лавернем. По американской линии, правда, жидковато, но хватит и Франции с Англией. Разразится скандал на весь мир, Антанта сядет в лужу, а Яков Петерс наконец перестанет быть «временноисполняющим».

Длинный «бельвиль», в котором раньше ездил московский градоначальник, вез Петерса на службу. От гостиницы «Националь», где обитали большие люди Республики (но недостаточно большие, чтобы жить в Кремле), до Лубянки было десять минут пешком, на автомобиле минута, но, заняв место председателя, Яков стал передвигаться по городу только на колесах, и непременно с охраной. Положение обязывало. Лицо, облеченное высокой властью, не может теряться в толпе, оно должно быть окружено дистанцией почтительности. Это нужно не тебе, это нужно народу. Человек, к которому так просто не приблизишься, вызывает трепет, без нее власть не будет пользоваться авторитетом, а что это за власть без авторитета? Ну и потом есть соображения безопасности. На каждой встрече талдычишь товарищу Ленину: «Владимир Ильич, вы ведете себя безответственно. Глава государства не может разъезжать запросто, позвольте мне приставить к вам настоящую охрану» — отмахивается. Значит, надо подавать пример. Сапожник не должен быть без сапог.

Рядом с шофером сидел сотрудник, грозно вертел головой, в руке сжимал маузер. Сзади тарахтел мотоциклет с коляской, на нем двое в черной блестящей коже, тоже с оружием наготове. Прохожие провожали взглядами, некоторые наверняка знали: сам Петерс едет. Феликс-то был вроде Ильича, шагал до Лубянки попросту, мерил тротуар своими длинными ногами, будто циркулем.

Город, где осуществилась вековая мечта угнетенного люда о счастье, выглядел несчастным. Был он пылен, убог и тускл. Повсюду только два цвета: преобладающий серый и, клочками, алые флаги. К дверям «продпункта», бывшей булочной, тянулся длинный унылый хвост. Прямо посередине мостовой, на углу Малого театра, валялась издохшая лошадь, никто не торопился ее убирать. По раздутому боку деловито расхаживали два ворона. Мусорщики, как унижительная для пролетарского достоинства профессия, упразднены, грязь с улиц убирают представители эксплуататорских классов, но их не хватает. Многие прячутся или сбежали на юг. Покончу с заговором и с «временным исполнением» — возьму порядок в Москве под свой контроль, пообещал себе Петерс. Столица победившего пролетариата должна быть витриной социализма.

Не терпелось скорее попасть в кабинет, там ждали захватывающе интересные дела, но заставил себя дожидаться, чтобы сопровождающий распахнул дверцу. Сошел на тротуар неспешно. Председатель Чрезвычайной Комиссии не может выскакивать из машины чертиком. Всем своим видом он должен показывать, что никакой чрезвычайности нет, в Советской Республике всё спокойно.

Зато внутри здания — через проходную и потом по лестнице — Яков пронесся со скоростью мяча, летящего в ворота.

В девять ноль ноль коллегия, в десять тридцать — прямой провод с начальниками трех Губчека, потом можно будет заняться главным. Придет с очередным отчетом Берзин, доложит о контактах с Рейли, принесет полученные деньги. На подкуп латышских стрелков англичане дали уже миллион. Не скупятся сэры и пэры. Хорошее пополнение для особого фонда ВЧК.

К себе в кабинет Яков вошел, посмеиваясь — и застыл на пороге.

За столом сидел Феликс, просматривал бумаги, попивал жидкий чай.

Поднял бесстрастные глаза.

— А, Яков Христофорович. — (Он ко всем обращался чопорно — только на «вы» и по имени-отчеству.) — Проходите, садитесь.

Показал на кресло для посетителей.

Ничего не понимая, Петерс приблизился. Глупо спросил:

— Феликс Эдмундович, вы ко мне?

— Нет, это вы ко мне, — ответил Дзержинский. — Сегодняшним приказом Совнаркома я возвращен на должность председателя ВЧК. А вы — на должность моего заместителя.

Яков не совладал с лицом — по нему прошла судорога. Феликс вздохнул, поманил рукой.

— Садитесь, садитесь. Поговорим начистоту, без недомолвок. Я вас ценю, нам вместе работать, но нужно, чтобы между нами не осталось никаких теней.

В голове метались сумбурные мысли. «Почему? За что? В чем я ошибся?».

— Вы хотите знать, почему принято такое решение, — кивнул Феликс. Уточнил: — Почему *Ильич* принял такое решение. Потому что он мудр и лучше всех нас понимает архитектуру политической власти. Разработанная вами операция «Заговор послов» (превосходное кстати

говоря название), с одной стороны, восхитила Ильича. С другой — заставила задуматься. Он вызвал меня и сказал: «Феликс Эдмундович, пора вам возвращаться». Знаете, почему?

— Почему? — проскрипел Петерс.

— Потому что слишком изобретательный и шустрый начальник ВЧК опасен. Ибо непредсказуем. Бог знает, что́ ему однажды может прийти в голову. Неизобретательный и нешустрый, зато предсказуемый Дзержинский надежнее. Ильич знает, что я — его человек. Навсегда. «На этом посту верность важнее таланта», — сказал он мне. Вы ведь его знаете, он деликатностью не отличается. — Тонкие, бескровные губы чуть изогнулись в полуулыбке — это был максимум веселости, доступной Феликсу. — «Держите-ка, говорит, талантливое товарища Петерса на коротком поводке».

Яков опустил глаза. Феликс не торопил, потягивал чай.

— Товарищ Ленин прав, — сказал Петерс. — Личная верность прежде всего. Вы — человек Ильича, а я буду вашим человеком. Можете на меня положиться. Знаю, что это не просто, но я восстановлю ваше доверие, товарищ Дзержинский. И никогда не подведу вас. Слово коммуниста.

— Ну-ну. — Феликс отставил стакан. — Заседание коллегии я перенес. Рассказывайте про Рейли во всех подробностях, ничего не упуская. Значит, исторический день у нас двадцать восьмое?

Антонина



Тоня была уже на месте, она никогда не опаздывала. Сияющий красным лаком «москвич-412» стоял перед гостиницей. Эту машину начали выпускать недавно, около нее стояло несколько мужчин и мальчишек, рассматривали. Автомобиль современных угловатых очертаний смотрелся совсем по-западному. Он тоже был частью новой жизни, к которой Марат еще не привык. «Москвич» принадлежал Тоне, она говорила, что это ее приданое. По четным дням водил он, по нечетным она. Сегодня было 21-е, потому Марат и поехал на кладбище общественным транспортом. Супруги существовали в режиме «союз нерушимый республик свободных» (Тонина шутка), у каждого собственная жизнь. Про свои дела рассказывали друг дружке, только если хотели. Про Донское, например, жене знать было незачем. Она тоже утром уехала куда-то, ничего не объясняя. Вид имела загадочный,

велела в два часа быть в гостинице «Москва», на третьем этаже, в коктейль-холле. Пообещала некое важное известие. «Почему не дома?» — спросил он. Оказалось, что после встречи она едет на улицу Грановского, там Ляля Рокотовская, дочь маршала, в узком кругу проводит занятие по йоге. Ляля недавно вернулась из Индии, ее муж там работал в посольстве. Про маршальскую дочь и про йогу Марат услышал впервые, но не особенно удивился. Антонина вела чрезвычайно насыщенную жизнь, а круг ее знакомств делился на две категории: полезные люди и «штучные» люди. Дружила она с теми, кто совмещал в себе «штучность» с полезностью.

Тоня была зубастая лиса и даже волчица. Толстой и Достоевский с Чеховым описали бы ее самыми язвительными красками. И были бы неправы. Русские писатели ни черта не смыслят в женщинах. Не то что французы. Мужчине, который хочет чего-то добиться в жизни, нужна не Наташа Ростова и не Соня Мармеладова, а мадам Форестье. Особенно если ты писатель, который три четверти времени бродит сомнамбулой, натываясь на углы. Без жены-волчицы тебе не обойтись. Надо только, чтобы она была на твоей стороне, а щерила зубы на чужих.

И потом, Антонина ничего из себя не изображала. Сразу давала понять: я такая, какая есть, не устраиваю — гуд бай. Идя через мраморный вестибюль гостиницы, Марат вдруг подумал, что в этом Тоня очень похожа на Агату — и поразился. Неужели его тянет к женщинам подобного типа? Хотя какого «подобного»? Никаких других черт сходства между Тоней и Агатой нет.

Стоп. Есть еще одна. Обе — дочери героев Соцтруда, только одна — академика, а другая — живого классика. Гривас про таких говорит: «живого мертвого классика», и в данном случае это было очень точное определение. Тонин отец, драматург Афанасий Чумак, давно вышел в тираж, его пьесы теперь шли только в захолустных театрах, по инерции, но в пятьдесят втором, когда Марат карабкался на первый горб своего верблюда, это было очень громкое имя, и юная Тоня показалась робкому провинциалу ослепительной принцессой.

Красавицей она не была, скорее наоборот, но одежда, прическа, аромат духов, ухоженность рук, а главное уверенность в том, *что у нее на всё есть право* — естественная для девушки, которая никогда ни в чем не нуждалась — произвели на него большое впечатление.

«Мой отец Чумак, а я — чума», — говорила Антонина. Не он «положил глаз» на нее — она на него. Марату и в голову бы не пришло, что эта московская царевна может им заинтересоваться.

Лишь потом, годы спустя, он понял, что главной пружиной, главным зудом Тониной жизни является соперничество со старшей сестрой Полиной. Та была красивой, везучей, праздничной — попрыгуньей-стрекозой, которой всё очень легко давалось. Рано вышла замуж, по любви и очень счастливо, за молодого, но уже известного дирижера, сопровождала мужа на международные фестивали, в начале пятидесятых ездила на трофейном «опель-адмирале», одевалась у самых дорогих портных. Приятельствовала с «Димочкой» и «Ларой» Кабалевскими, глава Союза композиторов Хренников для нее был просто «Тиша».

Антонина завидовала не богатству сестры, оно казалось ей чем-то само собой разумеющимся. Она завидовала успеху, сиянию, *штучности*. Это было одно из ее любимых словечек, обозначающее всё особенное, возвышающееся над обыденностью и толпой.

Нет, она не влюбилась в Марата. Она на него *поставила*. Именно так и сказала в первый же день, прямым текстом:

— Великим композитором я не стану. Нет таланта. [Она училась в консерватории, на композиторском]. Лучше поставлю на тебя. Моей симфонией будешь ты. Смотри: в 24 года ты уже сталинский лауреат. Ты — как Наполеон после Тулона. И ты добился этого сам, без чьей-то помощи. Но это пока только увертюра. Я сделаю тебя великим писателем, главным писателем страны. Сейчас перед тобой открыты все двери, и я позабочусь, чтобы они никогда не закрылись. Ты станешь новым Фадеевым, Бубенновым, Бабаевским.

Если быть точным, сказано это было не в первый день, а в первую ночь.

Всё произошло с головокружительной быстротой. Утром, на Слете творческой молодежи в Колонном зале Дома Союзов, где Марат, только что прибывший в Москву, внезапно оказался в центре всеобщего внимания как единственный сталинский лауреат комсомольского возраста, в перерыве к нему подошла ослепительная столичная девушка, аспирантка консерватории, и они моментально подружились, хотя обычно он сходил с людьми долго и трудно. Но девушка держалась так естественно и была так к нему расположена, с

таким интересом его слушала, так весело смеялась его неуклюжим остротам, что Марат скоро перестал зажиматься. Они сходили в буфет, во втором отделении сели рядом, перешептывались, а в конце, когда министр культуры зачитал обращение товарища Сталина к делегатам и потом все очень долго аплодировали, Тоня шепнула прямо в ухо, горячо и щекотно: «Слушай, вообще-то у меня сегодня день рождения. Приходи, я буду рада». И дала адрес.

Вечером он явился в Лаврушинский переулок, долго стоял перед дверью, собираясь с духом, мял в руках букет роз. Боялся, что как-нибудь осрамится перед Тониными гостями и родителями. Знаменитый драматург жил в не менее знаменитом «Доме классиков», построенном для самых заслуженных работников пера. Лестница там была — как в Свердловском обкоме партии, широкая и с ковровой дорожкой. Внизу Марат с трепетом прочитал на доске объявлений список членов домкома: Федор Гладков, Николай Погодин, Константин Федин, Константин Тренёв, Петр Павленко, Всеволод Вишневский, Михаил Бубеннов. А вдруг кто-то из них тоже придет, по-соседски?

В квартире было тихо, и он испугался, что пришел раньше времени, перепутал. Но дверь открылась сама собой. Из неосвещенной прихожей протянулась тонкая рука, взяла Марата за узел галстука и потянула внутрь.

— Я в глазок подсматривала, — со смехом сказала Тоня. — Ты чего тут застрял?

Она была в китайском халате. От волос исходил умопомрачительный аромат, глаза таинственно мерцали в полумраке.

— А где гости?

— Никого нет. Папхен с мамхеном на даче. Я наврала про день рождения. Давай сюда розы.

Положила букет под вешалку, взяла Марата своими царственными руками за голову, пригнула книзу (Тоня была маленького роста) и поцеловала в губы.

Она стала его первой женщиной. Мир раскрывался перед вчерашним провинциальным газетчиком, как волшебная пещера Аладдина. Горб верблюда поднимался всё выше и выше.

Марат поселился сначала в огромной квартире Чумаков, где — невероятно для советской архитектуры — к кухне примыкала комната для домработницы. Потом тесть выбил для молодых отдельное

жилище, на свадьбу подарил «москвич» (тот, первый, скопированный с немецкого «опель-кадета»), продал для зятя членство в редколлегии журнала.

Марат не мог не полюбить Антонину — с ее появлением прежний мир, убогий, серый, уродливый, волшебным образом преобразился. Она была Царевна-Лебедь. А еще его совершенно околдовала ее бесстыжая, не описанная ни в какой литературе чувственность. Это тоже был совсем новый мир, о существовании которого раньше Марат и не догадывался. Он думал, половое — это что-то дерганое, быстрое, ночное, после чего стыдно смотреть друг другу в глаза. Тоня же предпочитала секс днем, в самых неожиданных местах, торопиться не любила, постоянно придумывала что-нибудь новенькое, а потом делалась разговорчивой и строила смелые планы на будущее. У нее это называлось «философия в будуаре» — как роман маркиза де Сада. С писательской точки зрения это, наверное, было самой интересной Тониной чертой: эротика и будущее у нее в сознании каким-то причудливым образом переплетались. «На самом деле ты хочешь трахнуть завтрашний день», — сказал он ей однажды, употребив глагол, которому научился у нее. В его прошлой жизни эфемизмов для обозначения полового акта не существовало. Люди или употребляли похабный глагол — или вообще об этом не говорили.

— Женщины делятся на две категории, — философствовала Антонина лежа на ковре голая, одна рука подложена под голову, в другой сигарета. — Те, кто влюбляется в сильного мужчину, потому что у них комплекс дочери. И те, кто любит слабого, потому что у них комплекс матери. Мужчины-середнячки, ни рыба ни мясо, пролетают мимо. Они никому не нужны. Восхищаться ими не за что, оберегать тоже незачем. Я исключение из этого закона, я уникальная. Ты сильный, и я тобою восхищаюсь, но в то же время я загрызу всякого, кто тебя обидит.

— Брось. Какой я сильный? — скромничал разнеженный Марат, дымя своим «беломором». — Сама знаешь: легко падаю духом, вечно в себе сомневаюсь, да еще трусоват. Вчера в бассейне залез на вышку и не прыгнул, забоялся.

— Сила бывает разная, — убежденно отвечала Тоня. — С трамплина прыгнуть — это не храбрость. Морду набить — это не сила. Самая сильная сила — талант. А самый лучший из талантов —

писательский. Ни театр не нужен, ни оркестр, ни мастерская, как художнику или скульптору. Только бумага и ручка. Из этого копеечного сырья талантливый человек создает миры, овладевает миллионами сердец и, между прочим, строит не фантазийные, а вполне материальные дворцы. Шолохов выпустил один-единственный великий роман — и получил всё, что только можно получить в СССР: славу, штучное положение, открытый счет в сберкассе, охранную грамоту от любых неприятностей. Никакому министру не снилось. Напиши великий роман, зая. А уж я позабочусь о том, чтобы он прогремел на весь мир.

Он старался, очень старался. Писал и печатался, но, если когда-нибудь довелось бы издавать собрание сочинений, ничего не включил бы из пятидесятых. Мать права. Всё было дрянью.

Антонина прожила с ним четыре года. Последний был тяжелым. Марат боялся своего рабочего стола, не написал ни строчки, зато начал пить, иногда целыми днями не произносил ни слова. Вспоминал слова князя Андрея: «Нет, жизнь не кончена в тридцать один год». Марату до тридцати было еще порядком, а жизнь, казалось, кончена. «Я не Болконский, а Лермонтов, — говорил он себе, когда воздух начинал подплывать и качаться от выпитого. — Только Лермонтова убили, а я сдулся сам». Потом морщился: какой я к черту Лермонтов, ни одной живой строчки.

Жена долго за него сражалась, надо отдать ей должное. Чего только не перепробовала. Даже совершила нечто почти героическое — родила ребенка, хотя в ее планы это совсем не входило. Надеялась, что Марат возьмет себя в руки.

И он действительно бросил пить. Навсегда. Часами сидел около кровати, замороженно глядя на озаренное сиянием личико, подолгу гулял с коляской. В конце концов терпение Антонины закончилось. «Мне не нужен муж-нянька. Лучше бы уж ты спился», — объявила она. Забрала дочку и переехала к родителям. Долго потом не могла простить ему этого унижения — что вернулась под родительский кров неудачницей, как раз в то время, когда блистательная старшая сестра собиралась переезжать в Милан, ее муж получил контракт в «Ла Скала».

На развод Антонина не подавала, это подпортило бы ей анкету, но к дочери Марата не допускала. Даже когда он снова понемногу начал

печататься. Середнячок, ни рыба ни мясо, был ей не нужен.

Они не встречались больше десяти лет. За дочкой он подглядывал украдкой — как она гуляет с няней, потом как ходит в школу. Пытался угадать, какой у Машеньки характер, обещал себе, что однажды подойдет и назовется — когда она станет повзрослее, а у него в жизни всё наладится. Боялся, что Антонина, предвидя нечто подобное, заранее настроила девочку против отца — на жену с ее дальним планированием это было очень похоже. К одиннадцати годам Маша вытянулась, сменила косички на модную стрижку а-ля Галина Польских. Судя по походке и резкости движений нрав у нее был независимый.

После ошеломительного успеха «Чистых рук» и «Поездки», на втором горбе верблюда, когда пришла известность и появились деньги, а главное исчезло ощущение вечного неудачничества и, еще хуже, собственной бездарности, Марат решил, что пора встретиться с дочерью. Но тут вдруг появилась Антонина. Просто вечером позвонила в дверь квартиры, где когда-то жила и до сих пор была прописана. Сказала: «Ну привет. Я знала, что тот Марат, которого я когда-то полюбила, однажды вернется. Потому что ты сильный. Просто нужно тебе не мешать, ты справишься сам. Потому и ушла. Но ты наконец вернулся. Значит, возвращаюсь и я».

И точно так же, как пятнадцать лет назад, с абсолютной естественностью и полной уверенностью, что ее не оттолкнут, притянула Марата к себе, обняла и поцеловала. Откуда-то знала, что у него так никого и появилось. Должно быть, специально выясняла.

За минувшие годы он видел жену только издали, когда партизанил в Лаврушинском, поджидая Машу. Вблизи стало видно, что Антонина очень изменилась. Раньше она была внешне интересной, но некрасивой, говорила про себя, что «берет стилем». Теперь же будто вошла в свой настоящий возраст и сделалась очень хороша. «Я научилась быть красивой, — сказала она, когда потом перед зеркалом приводила в порядок прическу, голая и совершенно домашняя, будто одиннадцатилетней разлуки и не было. — Это целая наука плюс много работы по превращению дефектов в эффекты. Я и тебя с твоей лошадиной физиономией сделаю если не Ален Делоном, то по крайней мере Фернанделем».

Никакого обсуждения, как они будут жить дальше, не было. На следующий же день Антонина просто переехала с Лаврушинского на Щипок.

Ее вернул к нему, конечно, не новообретенный Маратов достаток. Антонина отлично обеспечивала себя и сама. Из «музыки» она давно ушла, работала в ССОДе, Союзе Советских Обществ Дружбы, сопровождала делегации в заграничных поездках по линии культурного обмена. Зарплата маленькая, зато командировочные в валюте. Плюс привозила всякую всячину, продавала знакомым дамам или дарила — и получала ответные дары. В сложно устроенной московской экосистеме, где всеобщим эквивалентом были не деньги, а связи и взаимные услуги, Тоня чувствовала себя как рыба в море — и не какая-нибудь сардина, а ухватистая акула.

Нет, Маратовы гонорары тут были ни при чем. Наоборот, это Антонина изливала на новообретенного супруга всевозможные роскошества — совсем как тогда. Выкинула прежние очки и достала новые, французские. Поменяла весь его гардероб. Записала в писательский кооператив, на четырехкомнатную квартиру («ты — член СП, я — кандидат искусствоведения, у нас обоих право на допплощадь»), добыла новенький «москвич».

Дочь осталась жить у бабушки с дедушкой.

— Переедем на Аэропорт — заберем, — пообещала Антонина. — Тут, во-первых, тесно, а во-вторых, у Машки уже переходный возраст. Как только начались месячные, стала жуткой стервой.

Марат возражал, требовал наконец свести его с дочкой, но жена твердо сказала: «Скоро, но не сейчас. Сначала проведу подготовительную работу. Результат фирма гарантирует».

Так у Марата началась еще одна жизнь, по счету какая? Первая была детская, золотистая, наполовину придуманная, потому что память мало что сохранила, лишь какие-то картинки и ощущения. Вторая — черная, интернатская, ее и хотелось бы забыть, да разве забудешь. Третья — серая, с металлическим запахом, заводская. Четвертая — лауреатская, сверкающая фальшивыми блестками. Пятая — мутно-зеленого болотного цвета, неудачническая. Теперь вот эта, стало быть, уже шестая, такая ослепительно яркая, что после долгого сумрака Марат еще жмурился, никак не мог привыкнуть к сиянию.

Антонина сидела не за столиком, а у барной стойки, которая выглядела почти как в заграничном кино: помигивала лампочками в сиреневом сумраке, на полке блестели красивые бутылки. Конечно, если приглядеться, становилось видно, что часть из них соцлагерские (кубинский ром, венгерский джин, польский ликер), а некоторые пустые («Курвуазье», «Джонни Уокер», «Чинзано»), но на бармене была бабочка, магнитофон мурлыкал что-то на английском, и элегантная женщина покачивала острой туфелькой, пускала колечки дыма из не по-советски длинной сигареты. Место было очень модное, одно из немногих, где делали коктейли со сложными названиями, звучащими, как музыка: «шампань-коблер», «глория», «ковбой». У входа стояла очередь, но Марат сказал «меня ждут», Антонина помахала рукой, и пропустили.

— У меня охренительные новости, — сказала она, подставляя щеку. — Твоя львица была на охоте и притаранила добычу. Сядь, зая, а то упадешь.

В полумраке она выглядела еще эффектней. Стиль у Тони был «продуманная небрежность», косметика «фрагментарная». Последнее означало, что, в зависимости от времени дня и погоды, солнечной или пасмурной, Антонина выделяла какую-то одну деталь лица. Или ярко красила губы, и смотреть хотелось только на них, они были резко очерченные, чувственные. Или «делала ресницы» и, кажется, что-то закапывала в глаза — они сияли, словно звезды. Невыигрышность кругловатого носа при этом как бы затушёвывалась. Сегодня было солнечно, поэтому Тоня утром вышла из дому «при губах», но перед тем, как войти в темный бар, должно быть, поработала и над глазами: Марат видел перед собой два врубелевских мерцания и смелую линию рта, а прочие черты лишь угадывались.

— Сэм, котик, сделай ему «планету», безалкогольную. У меня муж — непьющий урод, — попросила Антонина бармена.

Марат с обслуживающим персоналом всегда чувствовал себя неловко, ему казалось, что эти люди тягостятся своим положением. Тоня же, привыкшая к папиным шоферам, домработницам, приходящим маникюршам, держалась с любой прислужгой очень естественно, по-свойски. Официанты, швейцары, дворники с удовольствием делали для нее то, чего не сделали бы для другого.

Когда Марат сел на высокий, неудобный стул без спинки, она спросила:

— С какой новости начать — с хорошей или... — интригующая пауза, — с очень хорошей?

— Валяй, фея Мелюзина, сыпь свои дары, Золушка уже разинула рот, — улыбнулся он. Сам думал: «Она анти-Агата. Всё время чем-то одаривает, а та, наоборот, словно грозитя всё отобрать. Почему же меня тянет к той, а не к этой?».

— Сенсация намбер ван. Я звонила Лидочке в инокомиссию. Ты включен в делегацию, которая едет в Софию на молодежный фестиваль. «Молодежь» — это до сорока, а тебе уже исполнилось, но немножко колдовства, и в твоём конкретном случае решили обойтись без формализма.

Новость действительно была потрясающая. За границей Марат еще никогда не был, мешала национальность матери, а еще в подробной выездной анкете была графа про судимость родителей. Реабилитация реабилитацией, но лучше всего в этом пункте смотрелся прочерк, а не густо написанный текст с обозначением статей УК.

— Вот это да!

— Выпустили в Болгарию — считай ты им целку сломал. В декабре съездишь в Югославию, есть у меня на присмотре один вариант по нашей, «содовской» линии, а потом уже — куда угодно. Хоть в Америку.

«Вот теперь я стану совсем своим в Гривасовской компании», — мелькнула в голове стыдная мысль, которую Марат тут же отогнал. Разве в этом дело? Увидеть мир, *большой мир!* Невообразимое счастье для человека, казалось, пожизненно запертого на одной шестой части суши.

— погоди мечтательно улыбаться, главный рахат-лукум впереди. — Щедрая волшебница пустила вверх струйку голубого дыма, наслаждаясь моментом. — Я тебе ничего не говорила, пока не будет результата, но после триумфа «Чистых рук» я произвела кое-какие маневры. Настоящее будущее не за книгами, а за фильмами. Просто потому что большинство населения СССР книжек не читает, а в кино ходит и каждый вечер пялится в телевизор. Тебя ждет большая кинокарьера, зая, и я буду твоим Дягилевым. На Гостелерадио пошла мода на сериалы, а Госкино в ответ запускает формат киноэпопей.

После бондарчуковской «Войны и мира», после озеровского «Освобождения» затевается третий гиперпроект — монументальная киносага про гражданскую войну. Предварительное название «Этих дней не смолкнет слава». Твоя тема! Никто лучше тебя не сделает. «Чистые руки» всем это доказали. Я провела предварительные переговоры на «Мосфильме» и сегодня получила добро.

— На что? — ошеломленно спросил Марат.

— На твоё участие в конкурсе сценариев. Что твой будет лучше всех, я не сомневаюсь. Ну и кое-какие кнопочки у меня имеются, — подмигнула Антонина. — Ты только представь себе. Я даже не говорю про сценарные по высшей категории, это ладно. Но международные кинофестивали. Премьеры как минимум во всех братских странах. А параллельно ты будешь писать по тому же сюжету роман. Кино его так раскрутит, что спекулянты будут продавать книжки по десятерной цене. Пойдут переводы на иностранные языки, а это на минуточку уже валюта. Сейчас новый порядок: четверть валютного гонорара переводится на личный счёт автора. Ты даже не представляешь себе, какие это деньжищи. Шолохов за «Тихий Дон», папа рассказывал, по несколько тысяч долларов гребет. Ежегодно. Вот такой у меня план. Как тебе?

Он заморгал. Вдруг вообразил. Выходит у него толстенный роман, называется «Этих дней не смолкнет слава». Агата берет в руки, листает, говорит «фу, Сова нагадила» — и отшвыривает. И потом, как же роман про Сиднея Рейли?

— Чего-то ты какой-то не такой, — почувала неладное проницательная Антонина. — На себя непохож. У меня такая бомба, а ты витаешь где-то... Э, зая, ты часом не влюбился? Ну-ка, ну-ка... — Наклонилась вперед, принялась. — Духами не пахнет, но я этот взгляд в момент срисовываю. Вокруг тебя сейчас наверно бабы так и кружат, у нашей сестры течка на успех.

— Ладно чушь молоть, — буркнул Марат.

Но жена смотрела прищуренно.

— Учти, зая. Я не против того, чтобы ты немножко покуролесил. Мужчина есть мужчина. Но только без глупостей. Не увлекайся. Потеряешь меня — потеряешь всё.

Он разозлился:

— Елки, Антонина! Никого у меня нет и ни в кого я не влюбился! То Василиса Премудрая, то вдруг курица безмозглая! Нет, ну правда! Я задумался про сценарий. Занервничал, это нормально. Большое дело, надо не налаживать. Вечером обсудим, а сейчас... — Он хотел посмотреть на часы, но вспомнил про цыганку и задрал голову — над баром светился электрический циферблат. — Мне еще надо в одно место. Только дай денег, а то я бумажник где-то оставил.

— Видишь, какой ты без меня идиот, — качнула головой жена. — Ходишь, ворон считаешь.

Если б узнала про кражу, вообще изглумилась бы.

Достала кошелек, подозрительно спросила:

— Куда это ты намылился? Если собираешься мои трудовые рубли тратить на какую-нибудь шалаву — это, зая, цинизм.

— Господи, Тоня, поменяй уже пластинку! Мне позвонил один человек... Потом расскажу.

Но если Антонина хотела что-то выяснить, она вцеплялась насмерть, по-бульдोजьи.

— Что за человек? Не темни.

— Да я не темню. Не знаю, чем он занимается. Только имя. Каблуков... Нет, Клобуков Антон Маркович. Говорит, что знал отца.

— Клобуков, Клобуков, где-то я слышала эту фамилию, — пробормотала жена. Память на людей, особенно полезных, у нее была феноменальная. — Стоп. Есть такой медицинский академик, светило анестезиологии. Когда папу пять лет назад оперировали, главврач обещал «обеспечить самого Клобукова». Сейчас... — Она достала книжечку. — Я записала телефон на будущее. Ага, вот. Антон Маркович. Это он.

Сэйдзицу

Роман



* * *

По старому стилю, недавно упраздненному советской властью, но все еще признаваемому большинством русских людей, нынешнее двадцать восьмое августа считалось пятнадцатым, а 15 августа было датой магической. 15 августа родился Наполеон, человек, не боявшийся замахиваться на недостижимое — и достигавший его.

Год назад, в день рождения императора, заново родился и Сидней Рейли.

То утро началось обычно. Он проснулся в своих апартаментах. Первое, что увидел, разлепив глаза — золоченую лепнину потолка и фреску с купидонами. Интерьеры отеля «Сент-Реджис» на Пятой авеню были выдержаны в стиле «тяжелая роскошь». В первое время

ему это нравилось, потом начало утомлять. Негде отдохнуть глазу — всё сверкает, переливается, «бронзовеет-хрусталеет-мрамореет», как выразилась Надин, обладавшая безупречным вкусом. Ей, выросшей в достатке, было не понять, что это нуворишеское великолепие — материализация мечты, вещественное доказательство достигнутой цели.

Сидней не торопился вставать. Лежал, курил сигару («Упманн-реаль» по доллару штука), думал про Наполеона, чей день рождения он сегодня собирался отметить особенным образом. Всегда, с самой юности, еще с тех времен, когда звался Зигмундом Розенблюмом, он был заморожен метеорической судьбой Корсиканца. Чужак, полунищий инородец карабкался по жизни, как по лестнице, в головокружительные выси. Юный Зигмунд, безъязыкий иммигрант, отпрыск зачумленной нации, непонятно чей сын, в кармане вошь на аркане, шансы на жизненный успех нулевые, смотрел на дворцы и особняки Лондона, столицы мира, как голодный Гаврош, прижавшийся расплюснутым носом к окну витрины. Там — недостижимо высоко, на верху длинной-предлинной лестницы — мерцало и переливалось золотое, недоступное Счастье. И он, не боясь пораниться осколками, рванулся вперед, через стекло, несколько раз срывался, скатывался вниз, ушибался, но не обращал внимания на боль, вновь упорно карабкался и вот, в сорок три года, наконец достиг верхней площадки. Там действительно всё было раззолоченное, всё сверкало, переливалось. Но выше ступеньки уже не вели — некуда.

После множества дерзких затей, после рискованных авантур, когда на карту приходилось ставить свободу и даже жизнь, джекпот был сорван до зевоты банальным манером. За каждый американский снаряд, благополучно прошедший российскую военную техинспекцию, посредник мистер Рейли получал 25 центов комиссионных. Корпорация «Эдистон» ежемесячно поставляла на нужды армии полтора миллиона начиненных взрывчаткой болванок. Деньги сыпались и сыпались, сами собой. А всего-то и понадобилось — съездить в Петроград и сунуть нужным людям смешную взятку, чтоб перестали придирааться.

Двух вещей, которых всегда катастрофически не хватало — денег и времени — вдруг стало очень много, просто некуда девать.

И всё утратило смысл. Сложно выстроенную операцию по переправке опиума из Китая Сидней, конечно, прекратил.хлопот и риска много, а доходы по сравнению с новой бонанзой смехотворные.

Марафонский бегун вдруг разорвал грудью финишную ленточку на середине дистанции. Разогнавшееся сердце, сильные ноги требовали продолжения, но бежать было некуда и незачем, на груди уже сверкала золотая медаль, руки оттягивал кубок победителя.

Всю весну и всё лето 1917 года Сидней развлекался тем, что собирал Наполеониану, коллекцию личных вещей императора. Агенты находили их в частных домах и антикварных магазинах воюющей Европы, везли через океан, по которому шныряли германские субмарины. Трогая предметы, которых касалась рука великого человека, Рейли мучительно ощущал собственное невеличие. Мешок с деньгами — вот он кто. И ничем бóльшим уже не станет — только еще бóльшим мешком.

В день рождения Наполеона на Мэдисон-сквер проходил аукцион: потомки одного из Бонапартов, некогда эмигрировавшего в Америку, распродавали семейные реликвии. Сидней рассчитывал там пожить.

Выбор, однако, оказался скудный. Единственный интересный артефакт — собственноручное письмо императора брату Жерому, королю Вестфалии, от 10 марта 1812 года с известием об окончательном решении начать войну с Россией и предписанием выставить дивизию немецких солдат составом не менее чем в восемь тысяч штыков и сабель.

Спускаясь по ступенькам аукционного дома, Сидней гладил пальцем желтый листок, исписанный торопливым почерком, и думал о том, что весной 1812 года Наполеон находился на самой вершине могущества. Все его мечты — невообразимые, фантастические — осуществились. Он был повелителем Европы, женился на дочери кайзера, наконец обзавелся наследником, бывший грозный враг Англия тряслась на своем острове, ожидая вторжения. Зачем было всё ставить на карту, затеявая безумный поход в страну, которую невозможно завоевать, потому что она — как огромная туча, неухватима и бесформенна?

Кричал газетчик: «В России военный мятеж! Главнокомандующий Кóрнилофф выступил против Временного

правительства!»).

Корнилова называют русским Бонапартом, вспомнил Сидней. И вздрогнул: у нас там что, восемнадцатое брюмера?

Сначала его поразили две вещи. Что сжалось сердце и что подумалось не «у них там», а «у нас там».

Отношения со страной рождения у Сиднея были запутанные. Когда-то он скинул с плеч Россию и всё русское, как пальто, из которого вырос — сменил на британский смокинг, и тот пришелся впору. Новый язык, новое имя, новая жизнь. Просуществовал так десять лет, британец британцем, даже думать научился по-английски. Никто не принимал его за иностранца. «Сяожэнь меняет лишь выражение лица, леопард — пятна на всей шкуре», — сказал Хо Линь-Шунь во время последнего разговора.

Но русский язык и знание России оказались ценным капиталом. Британии были нужны британцы, понимающие Россию и чувствующие себя там как дома. Приходилось возвращаться на бывшую родину вновь и вновь. Там появлялись хорошие друзья и прекрасные женщины, Сидней их любил, а вместе с ними, кажется, сам не заметил, как полюбил Россию. Иначе чем объяснить это «у нас там»?

Сжатие сердца объяснялось проще. Он испытал лютую зависть к Корнилову — будто тот что-то крадет у него, Рейли.

А в следующий миг произошло то, что в японской книге зовется «satori» — внезапное прозрение. Настоящая жизнь — это сама лестница, а не ее верхняя площадка, даже если на ней расположены апартаменты «люкс». Пункт, от которого некуда двигаться дальше, называется «тупик».

Если бы к тому времени Сидней уже прочитал книгу, он знал бы, что жизнь — череда мгновений и что нет ничего бездарней, чем воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Потому что жизнь тоже остановится.

Прежняя цель — разбогатеть — была достигнута для того, чтобы не застила небо. Оно много выше и ослепительней, ибо в нем сияет не позолота, а солнце.

Рейли перестал следить, как пополняется банковский счет, расстался с взыскательной Надин, выделив ей сумму, более чем достаточную для бонтонной жизни, и поступил в Королевский летный

корпус. Опытного пилота, одного из пионеров авиации, сразу приняли офицером. Но это было не то небо, которое манило Сиднея. Едва надев погоны, он подал заявление в военную разведку МИ-5, куда опытного агента и знатока России взяли с еще большей охотой. В прошлом Рейли не раз выполнял для секретной службы деликатные поручения, но всегда оставался вольной птицей, а стало быть, своим не считался, в стратегию его не посвящали. Иное дело — человек с погонами, «офицер и джентльмен».

В Россию лейтенант Рейли прибыл с задачей стратегической, открывавшей дверь в Историю. Ступени-мгновения вели прямо в небо, но теперь они были из белоснежного мрамора. Многие навыки и методы, отработанные на пути к богатству, теперь сделались непригодны, вызывали брезгливость. Цель не только оправдывает средства, но и диктует их. Высокая цель низкими средствами не достигается. Иногда Сидней сам себе поражался — поступки, которые раньше показались бы ему естественными или даже пустяковыми, вдруг стали невозможны. Хо Линь-Шунь часто сетовал на трудности, которые налагает положение цзюньцзы. К сожалению, Сидней был молод, невнимательно слушал и мало что запомнил. Лишь фразу: «Путь того, кто обходит грязные лужи, сильно удлиняется».

* * *

Двадцать восьмое августа 1918 года, по старому пятнадцатое, должно было стать его, Сиднея Рейли, брюмером. Но не стало.

За домашним вечерним чаем, подкладывая жениху в блюдечко вишневое варенье, Оленька сказала:

— Ах да, у меня хорошая новость. Послезавтра не придется сидеть на службе весь день. Заседание ВЦИКа переносится. После обеда всех отпустят. Давай пойдем в синематограф? Девочки говорят, вторая серия фильма «Молчи, грусть, молчи» просто чудо. Вера Холодная превзошла сама себя.

— Почему переносится? — глухо спросил он.

— Товарищ Троцкий не приедет. Там на фронте, на Волге что ли, какая-то трудная ситуация. Начальница объясняла, но я толком не

слушала. Заседание перенесли на шестое сентября. Билетов на фильму не достать. Но ты ведь всё можешь, правда, Костенька?

К черту знаменательные даты, сказал себе Сидней, они ничего не значат. Шестого сентября так шестого сентября. Это лишние девять дней. Как бы их использовать?

И сразу придумал.

— Это даже к лучшему, — сказал он Берзину на следующей встрече. — В нашем плане из-за спешки было одно слабое место. Петроград. Мы устраним большевистскую верхушку в Москве, но для всей России главным городом страны по-прежнему остается Питер. Он больше, туда тянутся все кровеносные артерии, и он — гнездо революции. Если в Москве всё держится на Ленине и Троцком, то в Питере — на председателе Петросовета Зиновьеве и председателе Петрочка Урицком. Переворот в Москве еще не будет означать падения советской власти. Зиновьев с Урицким мобилизуют огромную армию питерских рабочих, возродят Красную Гвардию, и у Гидры вырастет новая голова. Теперь у нас появилось время устранить эту опасность.

— А как вы можете ее устранить? — спросил Берзин.

— С вашей помощью. Смольный ведь тоже охраняют латыши. Подумайте, нет ли там среди командиров ваших друзей или хотя бы знакомых?

— Есть, — ответил славный прибалт. — Карлис Алдерманс, с которым я лежал в госпитале, и Артурс Лацис, мы вместе выходили из окружения. Оба служат в Сводном латышском полку. Карлис командует батальоном, Артурс — ротой.

— Давно вы с ними виделись?

— Раз в месяц я езжу в Петроград. Там живет моя сестра Ильзе с детьми. Отвожу им продукты. Вы же знаете — в Питере совсем голодно. Заодно встречаюсь со старыми товарищами.

— Отлично! Каких они взглядов? Коммунисты или латышские патриоты?

— Все латыши патриоты, даже коммунисты. Но Алдерманс и Лацис беспартийные.

Рейли азартно улыбнулся. Всё складывалось просто великолепно.

— Ну, как они относятся к вам, я не спрашиваю. К вам все относятся с уважением. — Усмехнулся, видя, что Берзин засмутился. — Скромность — штука хорошая, когда ее не слишком много. Человек должен знать, в чем его сила, и уметь ею пользоваться. В общем так. Завтра отправляемся в Питер. Оба. Потолкуете со своими боевыми товарищами, а у меня там тоже есть товарищи, и тоже боевые. Если мы соединим их усилия, за «Северную Коммуну» можно не беспокоиться.

В день, так и не ставший историческим, двадцать восьмого, они выехали в Петроград разными поездами — из осторожности.

За Сиднеем-то слежки не было, на это у Чрезвычайки ума хватило — знали, что опытный разведчик моментально почует и тут же исчезнет. Но предприимчивый товарищ Петерс мог на всякий случай приглядывать за Берзиным. В связи с отсрочкой операции Эдуард отпросился у большевистского Макиавелли в трехдневный отпуск по семейным обстоятельствам и даже получил для сестры ордер на обеспечение продуктами из распределителя Губчека. «Считайте, что купили талоны на белки, жиры и сахар за английский миллион, который вы мне принесли», — пошутил Петерс.

В северной столице договорились существовать тоже порознь. Рейли дал соратнику два дня на переговоры с Алдермансом и Лацисом. Встречу назначили на тридцать первое, в Адмиралтейском сквере, около памятника Пржевальскому.

Сиднею и самому нужно было подготовить своих.

Прежде всего командера Кроми. Непростая задача, с учетом плотной чекистской слежки за британским военно-морским атташе.

Утром, прямо с вокзала, Рейли отправился на Миллионную, где в здании британского посольства проживал капитан. Сразу заметил в подворотне точильщика ножей, которому в таком месте рассчитывать на клиентов явно не приходилось.

В начале одиннадцатого из подъезда вышел Френсис, сел в автомобиль с британским флажком. «Паккард» выплюнул серый дым, отъехал. Точильщик махнул рукой. Из соседней подворотни кто-то в кепке и подпоясанной толстовке выкатил велосипед, разбежался, перекинул ногу через раму, закрутил педали. В европейском городе Петрограде велосипедистов на улицах было много, и всё же работали

местные чекисты очень уж грубо. А может быть, нарочно демонстрировали англичанину свое присутствие.

Дождавшись, когда точильщик уйдет, Сидней прошел мимо двери, на которой сверкали золоченые лев с единорогом, и на ходу сунул в прорезь для писем записку в наглухо заклеенном конверте с вензелем TS, «top secret». Персонал знает, кому следует передавать подобную корреспонденцию. Внутри личным шифром, по которому Кромби опознает отправителя, лаконично: «Triple X. 31 noon».

Для встреч особой важности, которые могли проходить только в безопасной обстановке, имелся экстренный метод проникновения во внутренний двор миссии: туда можно было попасть с набережной Лебяжьей канавки по канализационной трубе. Этим малоприятным маршрутом Сидней еще ни разу не пользовался, но деваться некуда, придется.

Теперь — к Саше Грамматикову.

Александр Николаевич, разумеется, был дома. Он теперь всегда был дома. Вскоре после октябрьского переворота Грамматиков объявил «домашнюю забастовку» — сказал, что не выйдет на улицу до тех пор, пока Петербург (названия «Петроград» он не признавал) вновь не станет «нормальным городом».

Каждое утро Александр Николаевич надевал свежую рубашку, пиджак, галстук с золотой заколкой, вдевал в бутоньерку цветок — и оставался в квартире. При этом был полностью в курсе событий, даже тех, о которых не сообщалось в газетах. Грамматиков лично знал всех, кого имело смысл знать в городе, и несколько часов в день проводил у телефона. О том, что происходит на улицах, ему рассказывала жена Ксения Аркадьевна. Слушая ее, Александр Николаевич вздыхал и морщился.

Жена-то производила вылазки каждый день. Навещала знакомых, доставала продукты у надежных спекулянтов. Поскольку прислуги теперь не стало, готовила сама, не хуже ресторанного повара. Ее гурман-супруг не считал военный коммунизм оправданием для того, чтобы ограничивать меню, и стол у Грамматиковых накрывался почти такой же, как до революции. Деликатесы ведь исчезли не совсем — рыба в озерах не перевелась, дичи в лесах стало только больше, в уцелевших оранжереях зрели ананасы и цитрусы, просто все

вкусоности переместились с прилавков на черный рынок, и за хорошую плату в голодном городе достать можно было что угодно. Сразу после февральской революции, когда никто еще этого не делал, прозорливый Александр Николаевич снял с банковского счета все свои немалые средства и обменял бумажные рубли на империалы. По утрам он выдавал жене одну желтую монетку, на которую ныне можно было купить больше, чем год назад на сто рублей — золото невероятно поднялось в цене.

Более непохожего на Сиднея человека, чем Грамматиков, казалось, не сыскать на свете, и всё же это был настоящий друг, один из самых близких.

Хотя что значит «непохожего»? В молодости они были одного поля ягоды. Судя по старым фотокарточкам, юный Саша был худ и остроглаз. Хотел переделать мир, подпольничал, бывал под арестом, сбежал с каторги в эмиграцию, водил знакомство с Владимиром Ульяновым, будущим Лениным.

А потом к нему, как к Сиднею, пришло *satori* — только лет на десять раньше и совсем иного рода. Несколько месяцев эмигрант читал философские книги, потом несколько недель напряженно размышлял и пришел к не вполне оригинальному, но чрезвычайно твердому убеждению, что всё сущее вокруг — иллюзия, а истинно реально лишь внутреннее. Надо жить полной, счастливой жизнью самому, а не пытаться осчастливить несчастных, которые не больно-то этого и хотят. Каждый человек имеет право решать сам, как ему обходиться с собственной судьбой, быть счастливым или несчастным. Не убеждай того, кто привык бегать на четырех лапах, что на двух ногах передвигаться удобней. Пролетарии всех стран, катитесь к черту.

После амнистии Александр Николаевич вернулся в Россию, стал преуспевающим адвокатом, а заодно участвовал в деловых проектах. С Рейли они сошлись восемь лет назад на почве любви к авиации, только Сидней любил летать по небу, а Грамматиков любил заманчивые перспективы, которые открывал новый вид транспорта. Они арендовали участок для аэродрома, основали лётный клуб «Крылья». Рейли кружил в облаках на хрупком «фармане», Александр Николаевич оставался на земле — решал финансовые, организационные и юридические вопросы.

Сразу к делу Саша переходить не любил, он уважал размеренность. Зная это, Сидней и не торопился. Сел к столу с накрытыми закусками (между завтраком и обедом Грамматиков обычно «подкреплялся»), отведал осетрины, телячьих языков в желе, свежекопченого омуля. Повспоминали славное время «Крылышек».

Наконец, придвинув поднос с ликерными графинчиками, Александр Николаевич молвил:

— Ну рассказывай, Сидор, зачем я тебе понадобился?

(Он отказывался считать Сиднея британцем, называл только «Сидором»).

Рейли с облегчением отодвинул тарелку.

— Ты самый умный человек из всех, кого я знаю. Хочу послушать, что ты думаешь о моем плане.

Изложил самую суть, без имен и второстепенностей. Не из предосторожности — просто излюбленная поговорка Грамматикова при обсуждении стратегических вопросов была «к черту подробности». Еще он говорил: «Чтобы увидеть слона, надо отойти от него подальше».

— Замысел плох только одним. Может вмешаться тысяча случайностей, — изрек Александр Николаевич, дослушав.

Рейли повеселел. Это значило, что другу план понравился. Саша всегда скупился на похвалы.

— В этом наша разница, — улыбнулся Сидней. — Ты считаешь, что случай — твой враг, а я — что он мой друг.

— Потому что ты авантюрист. Ну а теперь еще раз: чего ты *от меня* хочешь? Ты ведь не похвастаться пришел.

Взгляд маленьких, заплывших от жира глаз был пытлив. Перейдя от революционной фазы существования к эпикурейской, Грамматиков быстро набрал корпулентность, а от «домашней забастовки» растолстел еще больше. Он был очень похож на буржуа с большевистских плакатов. Пожалуй, ему и не следовало появляться на улицах красного Петрограда.

— После того, как мои латыши изолируют Зиновьева с Урицким, в городе возникнет вакуум власти. Это очень опасно, ведь здесь двести тысяч рабочих. Я хочу, чтобы ты прекратил свою забастовку, поднял толстую задницу и организовал новый порядок. Я же знаю: ты со своим телефонным аппаратом — как паук, от которого во все стороны

тянется паутина. Подергай за ниточки. Собери и подготовь нужных людей. Подумай, кто это может быть.

Саша сморщил лоб, уставился на люстру.

— Ну, предположим, генерал Некрасов, председатель Комитета георгиевских кавалеров. Ему будет нетрудно собрать офицерскую дружину... Бывший начальник Алексеевского училища генерал Ловчинский говорил мне, что половина его юнкеров остались в городе... Статский советник Денисов, из Департамента полиции, во время революции унес с собой картотеку секретных агентов... Есть известный тебе Орлов-Орловский...

— С ним я поговорю сам, — перебил Рейли. — Вот что. Ты подумай, кого привлечь еще. Я доверяю твоему суждению. Поезжай ко всем, кого отберешь, поговори с глазу на глаз. Не сейчас, а начиная с послезавтрашнего дня — после того, как я удостоверюсь, что с латышской стороны всё в порядке.

Грамматиков скривился.

— Не буду я никуда ездить. Я же дал слово: не выйду из дому, пока на улицы не вернутся полиция и дворники. И зачем мне куда-то ездить? Вызову всех, с кем надо договориться, по телефону. А мои книги ты привез?

С Сашей всегда было так. Решив дело, он немедленно менял тему. Про важное говорил коротко, про чепуху или на отвлеченные материи мог разглагольствовать долго.

С книгами же у Грамматикова был пунктик. Во всем широкий и щедрый, он становился настоящим Гарпагоном, если это касалось его личной библиотеки. Стены всей огромной квартиры были заставлены полками, до самого потолка. Хозяин был библиофил и библиоман. Знакомым выдавал чтение только под расписку, на определенный срок и требовал обязательного возврата.

— Путеводитель остался в Москве, у Дагмары.

Дагмара Генриховна приходилась Грамматикову дальней родственницей.

Рейли вынул из кармана маленький томик.

— А «Листва» со мной. Не дочитал еще.

— Ишь, исчеркал всё, — проворчал хозяин, листая страницы.

— Я выписки делаю. Хочешь зачту? Тут много поразительных мыслей.

— Много? Во всякой книге, которая чего-то стоит, всегда есть только одна мысль, ради которой книга и написана. Главная. В чем главная мысль этой «Листвы»? Сформулируй коротко.

Ответить было непросто. Сидней задумался.

— Наверное, так: «Один в поле воин».

Грамматиков кивнул:

— Значит, хорошая книга. Ненавижу поговорку «один в поле не воин», лозунг извечного русского капитулянтства.

— Почему только русского? — удивился Сидней. — Любите вы, русские, свою уникальность подчеркивать, пускай даже в чем-то стыдном. На других языках эта поговорка звучит еще гнуснее. «One man, no man», «Einer ist keiner». Человеку на всех языках вбивают в голову: в одиночку ты никто. А это книга про то, что тебе никто не нужен, всё самое главное ты можешь сделать сам.

— Мда? Автор — приверженец моей личной философии? — Саша перевернул страницу пухлым пальцем. — Нет, непохоже. Что за чушь! «Всегда имей при себе румяна и пудру. Не следует выглядеть бледным, особенно после сна. Не забывай с утра нарумянить щеки».

Рейли засмеялся.

— Просто ты не видел Хо Линь-Шуня. Я сейчас так и услышал его голос. Хо всегда очень заботился о своей внешности.

— Кто это — Хо?

Лицо Сиднея сделалось серьезным и печальным.

— Я давеча сказал, что ты самый умный человек из тех, кого я знаю — в настоящем времени. Но когда-то я знал человека, который, возможно, был еще умнее тебя.

Грамматикова это сообщение неприятно удивило.

— Да? И кто же был сей умник-китаец?

— Шпион. Только он был не китаец, а японец.

— Ммм? — Александр Николаевич налил себе шартреза, взял папиросу. Он очень любил после трапезы послушать хорошую историю. — Расскажешь?

* * *

«Это было второе задание, которое я получил от Азиатского отдела британской военной разведки. Про первое я тебе рассказывал — оно касалось бакинской нефти. Наградой за успешное исполнение стало британское подданство, ну и заплатили мне по тогдашним моим понятиям очень неплохо. И вот в конце девятьсот третьего приглашают меня снова на Уайтхолл-корт 2. Говорят: «Мистер Рейли, правительству его величества было бы очень полезно, если бы вы съездили на Дальний Восток». Я сначала хотел отказаться. Тащиться на край света мне совсем не хотелось, даже ради его величества. Но сижу, вежливо слушаю. И вдруг понимаю, что мне не предлагают никакого денежного вознаграждения!

И тут, конечно, я сразу решил согласиться. Меня переводят из платных агентов в «агенты-джентльмены»! Это уже почти «офицер-джентльмен». Я больше не на положении прислуги, я — гость дома, и мое место теперь не в лакейской, а в салоне. Огромный социальный прорыв!

Я догадался, за что мне такое повышение. Британия только что заключила союз с Японией. На кону был огромный куш, самый крупный на планете — кому достанется господство над Китаем. Соперник — Россия, которая утвердилась в Маньчжурии и захватила незамерзающий Порт-Артур, где разместила и быстро наращивала свои военно-морские силы, да еще готовилась прибрать к рукам Корею. Без Кореи и Китая японцы оказывались заперты на своих маленьких островах, лишались возможности строить империю. Дело шло к войне. Никто в мире кроме Лондона не верил, что жалкие азиаты смогут противостоять русской мощи. Британцы же решили поставить на маленького, но резвого пони — вдруг удастся сорвать приз? Открыто вмешиваться в конфликт они не собирались, но были жизненно заинтересованы в японской победе. Тут-то я и понадобился, с моим знанием русского языка и русской жизни, с предприимчивостью, которую я продемонстрировал в Баку, ну и, разумеется, с готовностью работать без белых перчаток.

Я прибыл в Порт-Артур на должность заведующего отделением «Восточно-Азиатской компании», датского пароходства, оказывавшего разного рода конфиденциальные услуги Британии — ведь она владычица морей. Задание у меня было весьма неопределенное:

«оказывать поддержку японскому резиденту», который сам со мною свяжется и объяснит, какая именно поддержка ему нужна.

Некоторое время я обживался, присматривался, обзаводился полезными знакомствами. И вот как-то раз, на новогоднем банкете в Морском клубе, один из этих знакомых, китайский коммерсант по имени Хо Линь-Шунь, под треск и блеск фейерверка произнес мне на ухо кодовую фразу. Я поразился. Хо Линь-Шунь был этакий женоподобный хлыщ, над которым все посмеивались, потому что он всегда одевался с иголки, как куколка, сверкал идеальным пробором, злоупотреблял изящными жестами и, поговаривали, даже пудрился. Русские прозвали Хо Линь-Шуня «Холеный». Он поставлял флоту продовольствие на весьма выгодных условиях, славился своей обязательностью и считался редким среди «туземцев» человеком скрупулезной честности.

Когда мы на следующий день встретились наедине, я едва узнал смешного человечка. Он иначе держался, иначе разговаривал — будто стянул клоунскую маску, и под ней открылось совсем другое лицо, малоподвижное и суровое.

— Я офицер японского генерального штаба, — сказал Хо Линь-Шунь. — Мое настоящее имя вам знать ни к чему. [Я так и не узнал, как его на самом деле звали.] Я присмотрелся к вам, мистер Рейли, и решил, что могу с вами работать. Задача перед нами стоит трудная. Через неделю или две, самое большее через три начнется война.

— Через неделю или через три? — перебил его я, снисходительный к азиатской приблизительности. — От этого зависит, как действовать разведке.

— Нет, — говорит. — В данном случае начало войны будет зависеть от действий разведки. От наших с вами действий. Мы должны добыть схему минных полей, блокирующих вход на Порт-Артурский рейд, чтобы наши миноносцы смогли ночью войти в бухту и торпедировать русские броненосцы. Эскадра должна быть парализована. Тогда Япония сможет без помех переправить войска через Корейский пролив и высадиться на этом берегу. Как только мы добудем чертеж, в Токио отправится телеграмма. На следующий день наш посланник в Санкт-Петербурге вручит русскому правительству ноту о расторжении дипломатических отношений, и в ту же ночь будет нанесен торпедный удар.

Я был впечатлен. Кажется, тогда я впервые ощутил трепет прикосновения к большой истории — чувство сильное и для меня новое. Резидент сообщил, что схема существует в трех копиях. Единственная гипотетически доступная находится в распоряжении командира порта контр-адмирала Гreve. Дело в том, что управление портом на ремонте и адмирал временно работает в своем домашнем кабинете. Нужно найти способ туда проникнуть. План хранится в сейфе.

— Гreve и его супруга принимают гостей, госпожа адмиральша — дама весьма общительная, — продолжил Хо Линь-Шунь, — но мне туда ход заказан. Я — желтокожий.

Он чуть усмехнулся и произнес фразу, заставившую меня присмотреться к узкоглазому, тихоголосому человечку еще раз. Я будто впервые увидел его по-настоящему.

Хо сказал вот что:

— Значение имеет только внутренний цвет твоей кожи. Она может быть белой снаружи, а с изнанки черной. Красной, зеленой, синей, жемчужной — какой угодно. У вас, например, лиловая. Это хороший цвет, но опасный.

Потом я привык, что он между делом, впроброс, вставляет какие-то ремарки, в которые потом долго вдумываешься. Что такое лиловый цвет кожи и чем он опасен, я так и не знаю. Тем, что находится на стыке красного и синего и может утянуть тебя и в одну сторону, и в другую? Но что такое красное и синее?

Я решил, что понял, зачем я нужен резиденту. Уверенно пообещал всё исполнить и на следующей же встрече доложил о проделанной работе, а также предложил план действий. Вы ведь знаете, как я люблю производить на людей впечатление, а мне очень хотелось поразить интересного японца.

— Всё проще, чем мы думали, — сказал ему я, несколько рисуясь небрежностью тона. — Мадам Гreve находится в предвечернем женском возрасте и очень скучает. Мы мило с ней поболтали на рауте, она пригласила навещать ее запросто, что я назавтра же и сделал, когда мужа не было дома. Попили чай, побеседовали об Оскаре Уайльде, которого я впрочем не читал. Повздыхали. Я ей жаловался на одиночество, она мне на непонятость. В какой-то момент Лидия Константиновна даже расплакалась, попросила извинения и на

несколько минут удалилась. Я воспользовался этим, чтобы наведаться в кабинет. Сейф незамысловатый, фирмы «Эриксон». Открывается мастер-отмычкой. План такой. Я проникну в сердце Лидии Константиновны, это будет нетрудно. Затем — чего не сделаешь ради микадо — я проникну и в ее перезревшее тело. Любовное свидание назначу, разумеется, ночью — когда супруг будет дежурить в порту. Это случается дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Утомив даму африканской страстью, наведуясь в кабинет, вскрыю сейф — и чертеж наш. Как вам мой план?

— Очень плох, — ответил Хо Линь-Шунь. — По двум причинам. Если сейф вскрыть, это будет заметно. Мастер-отмычка оставляет царапины, которые не скроешь. Русские немедленно начнут менять минные проходы. Это можно сделать за один день. А кроме того проникать в сердце женщины, чтобы потом его разбить, недостойно человека, обладающего сэйдзицу. Любое предательство — грязь. У того, кто выбрал нечистое ремесло шпиона, руки должны быть безупречно чистыми — как у хирурга.

Я подумал, что ослышался. От резидента как-то не ждешь подобных сентенций.

— Какое еще «дзицу»? — пролепетал я.

— Вы пока не поймете. Но оно в вас есть. Иначе я не стал бы с вами работать, — ответил мне Хо. — Впрочем, полагаю, что первого аргумента вам достаточно. Вы хорошо потрудились. Теперь я знаю довольно, чтобы разработать собственный план. Всё, что от вас нужно теперь — узнать, когда супруги Грече в следующий раз поедут в Харбин.

Адмирал ездил в Харбин почти каждую неделю. Там находился комиссариат, отвечавший за снабжение порта. Лидия Константиновна всегда сопровождала супруга — ее интересовали харбинские магазины, куда товары поступали прямо из Москвы и Петербурга.

Мы с Хо Линь-Шунем встречались каждый день. Дорого бы я сейчас дал, чтобы восстановить наши беседы. К сожалению, я был слишком молод и многое пропускал мимо ушей. Однажды Хо сказал: «До сорока лет человек — ученик, который должен обрести два знания: жизни и самого себя. Лишь потом наступает время выбора и действия. К сожалению, очень мало тех, кто умеет учиться». Мне тогда не было еще и тридцати, что с меня было взять?

Кое-что из того, о чем говорил Хо, я встретил в этой книге, и будто снова услышал его голос. Хо наверняка ее читал. Первая глава знаешь с чего начинается? С пассажа про «собачью смерть». Это, как я теперь знаю, буддийский термин. Он означает смерть без толку и смысла — когда человек погиб, не достигнув поставленной цели. «Собачья смерть прискорбна, но в ней нет стыда, — говорится в книге. — Стыдно прожить собачью жизнь».

Я стал читать в поезде томик, который взял у тебя, почти случайно. Наткнулся на эту фразу — и вздрогнул.

Потому что Хо Линь-Шунь в самый последний день сказал мне: «Если нам не повезет, умрем собачьей смертью». Я, естественно, подумал, что он имеет в виду русскую поговорку и счел эти слова мрачным восточным юмором. Только сейчас, четырнадцать лет спустя, понял.

Итак. Я пришел к резиденту с сообщением, что супруги Грече отбывают нынче вечером. Дом будет пуст, но проникнуть в него непросто. На ночь железные ставни первого этажа запираются, у входа караул. Каждые пять минут один из часовых обходит особняк по периметру. Кабинет на втором этаже. Этаж высокий. Если приставить лестницу, во время очередного обхода дозорный ее заметит.

— Я всё это знаю, — ответил Хо. — Встретимся в полночь у правого края ограды. Оденьтесь в черное.

Тут-то он и прибавил про собачью смерть, задумчиво.

В назначенное время, одетый в черное, с намазанным сажей лицом, трубочист да и только, я прибыл в указанное место. Хо тоже был в чем-то черном, облегающем, голова закрыта полотняным чехлом с прорезью для глаз, за спиной мешок.

Перелезли через забор, затаились в кустах. Дождались, чтобы мимо прошел часовой. Потом Хо надел перчатки с железными когтями и такие же когтистые тапочки. С фантастической быстротой и ловкостью вскарабкался по отвесной стене, цепляясь за выемки между кирпичами — я никогда не поверил бы, что такое возможно. Открыл окно кабинета. Вынул из мешка шелковую лестницу, подержал ее, чтобы я тоже поднялся и перелез через подоконник. Еле успел — снизу снова донеслись шаги караульного.

Я был уверен, что понадобится Хо Линь-Шуню из-за умения орудовать отмычкой, но он отлично справился без меня. Вскрыл замок,

вынул бумаги, быстро нашел схему минных полей.

— Но вы же сами говорили: они обнаружат пропажу, — прошептал я. — Утром придет адъютант, станет открывать сейф, увидит царапины и поднимет тревогу.

— Затем вы мне и нужны, мистер Рейли, — ответил Хо. — Посветите-ка.

Он вынул из мешка маленький фотоаппарат, сделал снимок.

— Сейчас вы спуститесь. Пойдете к Нахимовскому доку. Встанете около второго фонаря слева. К вам приблизится кули, скажет: «Холосая нось, гаспадина». Отдайте фотопластину ему. И всё, ваша миссия закончена. Можете уезжать из Порт-Артура. Лучше не сразу, чтоб не вызвать подозрений, а через несколько дней после начала войны, когда станут эвакуироваться иностранцы.

— А вы? — спросил я в полном недоумении.

— Когда вы исчезнете, я опрокину стул. Снизу прибегут солдаты и возьмут меня с поличным — со схемой в руках. Раз шпиону не удалось похитить чертеж, менять расположение мин незачем.

— Вы с ума сошли! Вас повесят как японского шпиона! — зашипел я. — После начала войны — уж наверняка.

— Если бы, — вздохнул Хо. — Быть повешенным — смерть легкая. Но я не могу признаться в том, что я японский офицер. Это значит, что я останусь китайцем. Меня передадут китайским властям, и я буду распят заживо, как поступают с изменниками. Неприятная смерть. Но не собачья — при условии, что вы в точности выполните порученное. Очень вас прошу, не подведите меня, мистер Рейли. И вторая просьба. Не живите собачьей жизнью.

...Я исполнил порученное. Следующей же ночью десять японских миноносцев атаковали русскую эскадру и вывели из строя главные ее корабли.

А Хо Линь-Шуня палач приколотил гвоздями к двери сарая. Мне рассказывали, что шпион умер только на исходе второго дня».

* * *

От Грамматикова он вышел в шестом часу. Идти к Орлову поздно. Того могло уже не оказаться на службе, а свой домашний адрес

Владимир Григорьевич никому не сообщал. Этот сверхосторожный человек чуть ли не каждую неделю переезжал с квартиры на квартиру.

Собственно, по плану встреча с Орловым предполагалась только завтра.

Переночевал Сидней у своей петроградской возлюбленной Антонины Леонтьевны. Они называли друг друга по имени-отчеству: «Антонина Леонтьевна» и «Сидней Георгиевич», отношения у них сложились деликатно-драматические, очень красивые. Это была женщина блоковская, дышала духами и туманами, вдохновлялась короткими встречами и долгими разлуками. Каждое свидание с ней было последним, каждое прощание будто навек. Рейли появлялся на пороге без предупреждения, ее тонкое лицо розовело от счастья, взгляд затуманивался. «Вы! Это вы...» — шептала Антонина Леонтьевна. Даже дома она всегда была безупречно одета. Казалось, вся ее жизнь проходит в ожидании его визита. Возможно так и было.

Антонина Леонтьевна знала, что Сидней Георгиевич английский разведчик, но никогда не задавала вопросов. Удивительная женщина. Единственная на свете. Как впрочем все женщины, которых он любил.

Вечер и ночь прошли волшебно. Утром, когда Антонина Леонтьевна еще спала (по подушке разметались великолепные пепельные волосы), Сидней тихо оделся и вышел. Романтически прощаться было пока рано, он собирался провести здесь еще одну ночь.

В начале девятого явился на Гороховую, в ЧК, показал удостоверение.

— Я к товарищу Орловскому.

Владимир Григорьевич к числу друзей Сиднея не относился — сомнительно, чтобы у этого холодного господина вообще имелись друзья. Но если бы Рейли стал составлять перечень своих самых поразительных знакомых (а список получился бы длинный и впечатляющий), Орлов занял бы в нем одно из первых мест.

Это был человек-арифмометр, просчитывавший каждое свое действие на бог знает сколько шагов вперед. И шаги эти выстраивались в весьма непрямую линию, следуя некоему замысловатому маршруту, известному только самому Владимиру Григорьевичу.

В юности, изучая на юридическом криминологию, он решил, что Россия для постижения сей науки слишком скучна, и уехал в Соединенные Штаты Америки, где с преступностью дела обстояли намного интересней. Целый год Орлов путешествовал по самым бандитским закоулкам беспокойной страны, работая то в порту, то в питейном заведении, то в каком-нибудь притоне. Вернулся аккурат к началу японской войны и немедленно отправился на Дальний Восток добровольцем. Однажды в разговоре выяснилось, что весной 1904 года, когда Рейли выбирался из обреченного Порт-Артура, Орлов как раз прибыл туда с пополнением. (Рассказывать Владимиру Григорьевичу о своей роли в порт-артурской эпопее Сидней благоразумно не стал.)

После войны молодой юрист сделал умопомрачительно быструю карьеру. Служил в Варшаве следователем по особо важным делам и к четырнадцатому году имел чин действительного статского советника, то есть в тридцать с небольшим уже стал «превосходительством». В германскую войну перевелся в контрразведку, вылавливал крупных шпионов и еще более крупных казнокрадов, считался доверенным лицом самого генерал-адъютанта Алексеева, начальника штаба Верховного Главнокомандующего.

Но вот произошел большевистский переворот. Государства не стало. Отправляясь на юг то ли восстанавливать старую Россию, то ли создавать новую, генерал Алексеев поручил толковому помощнику организовать подпольную эстафету, по которой тысячи офицеров и юнкеров, живущих в Петрограде, смогут попасть на Дон, чтобы вступить в Добровольческую армию.

Уходить в подполье Орлов не стал — он относился к разряду людей, которые не прячутся, а ловят — и поступил на службу в большевистскую полицию, Чрезвычайку. Криминалист высшей категории сиял среди чекистских игнорамусов, как Луна в темном небе. Через короткое время «товарищ Орловский» уже возглавлял Главную уголовно-следственную комиссию, советский аналог уголовного розыска. Там Владимир Григорьевич мог заниматься полезным чистым делом — вылавливал бандитов, которые не нравятся никакой, даже большевистской власти и портят жизнь мирным обывателям. Заодно исправный чекист исполнял и другую, потайную работу. Даже две работы. Во-первых, переправлял на юг добровольцев,

снабжая их надежными документами, а во-вторых, составлял картотеку на самых опасных большевиков — чтобы никто не ушел от расплаты после восстановления законности.

С этим бесценным человеком Сиднея в свое время свел вездесущий Грамматиков. Орлов-Орловский выдал русскому британцу мандат, с которым «уполномоченный ВЧК товарищ Релинский» беспрепятственно перемещался между Москвой и Питером. Документ был действителен до 31 августа, поэтому наведаться на Гороховую следовало в любом случае.

Постучал в дверь с табличкой «Тов. В. Орловский».

— Прóшу.

Орлов выдавал себя за поляка, по-русски говорил с акцентом. Он вырос и долго жил в Привисленском крае, хорошо знал язык и, поступая на службу, назвался старинным знакомым товарища Дзержинского. Это кстати говоря было правдой. В 1913 году, состоя на должности следователя по политическим преступлениям, Владимир Григорьевич вел в Варшаве дело арестованного социалиста Феликса Дзержинского. Рассказывал о будущем начальнике ВЧК, что это хоть и фанатик, но личность весьма яркая и по-своему благородная, этакий Рыцарь Тьмы. На допросах они вели интересные беседы, играли в шахматы, а при расставании пожали друг другу руки: Орлов уезжал в столицу на повышение, Дзержинский — на каторгу.

— Приветствую личного друга Железного Феликса, — сказал входя Сидней. — Ваш приятель вернулся на свой пост, так что перед вами снова открывается большая карьера.

— Шутник, — проворчал Орлов, вяло отвечая на рукопожатие. — А мне, знаете, было не до шуток. Через два дня после восстановления Дзержинского в должности, стало быть в прошлую субботу, вдруг открывается дверь, входит Урицкий и с ним, *bardzo miło*, товарищ председатель ВЧК собственной персоной. Мой начальник говорит: «А это гроза воров и бандитов, наш советский Шерлок Холмс товарищ Орловский». Оказывается, Дзержинский нагрянул из Москвы якобы с инспекцией, а на самом деле, разумеется, чтобы проверить лояльность своего питерского заместителя.

— Тогда я не понимаю, почему вы не в тюрьме, — сдвинул брови Рейли.

— Потому что Дзержинский после каземата глуховат и не расслышал окончание «ский». «Вот тебе на, — говорит. — Здравствуйте, Орлов. Рад, что вы у нас. Это хорошо, что такие дельные криминалисты служат Советской власти». Урицкий не стал поправлять начальство — «Орлов» так «Орлов». А мы с Феликсом Эдмундовичем потом славно так поговорили, вспомнили старые деньки. Просил заходить, когда буду в Москве.

Владимир Григорьевич засмеялся. Смех у него был скрипучий, неприятный. Внешность тоже нерасполагающая: шишковатый лоб, колючие глазки под сильными стеклами, клочковатая борода. При желании, однако, с людьми, которые ему зачем-нибудь были нужны или просто нравились, Орлов умел делаться обаятелен. Лицо светлело, глаза приязненно шурились, толстые губы мило улыбались. На собеседников это магическое превращение действовало безотказно.

Именно так — улыбочиво и доверительно — Владимир Григорьевич всегда смотрел на Рейли. Сидней не взялся бы сказать, по какой из двух причин. Ему самому Орлов был, конечно, весьма нужен, но не слишком симпатичен. Очень уж похож на очковую змею, а испытывать приязнь к рептилии трудно.

— Ждал вас, ждал. Удостовереньице обновить приехали? — спросил хозяин кабинета.

— Не только.

Орлов слушал, прикрыв веки и сложив короткопалые миниатюрные ручки на животе, словно дремал. Лишь когда Сидней сказал, что собирается арестовать всю большевистскую верхушку в Большом театре и запереть там в директорском кабинете под караулом латышей, глазки приоткрылись, тревожно блеснули. Но Владимир Григорьевич посмотрел на Рейли внимательно и успокоился.

— А, ну это вы своему Локкарту рассказывайте, для дипломатического политесу. Разумеется, вы кончите их всех на месте. Моему дорогому другу Феликсу лично от меня всадите пулю в лоб, сделайте милость. Жалко я его, гадину, в Варшавском центре на виселицу не отправил.

Обаятельная улыбка, добродушный кивок, веки сомкнулись.

— Продолжайте, пожалуйста.

Орлов распрямился и ожил, когда пришло время говорить ему.

— Вы спрашиваете, чем могу в Питере помочь делу я? Самых дельных людей я на юг не отправляю, оставляю себе. Глупо расходовать полезный материал на пушечное мясо. Бегать со штыком и кричать «ура» может любой болван. У меня подобралась неплохая команда, восемьдесят человек. Разделена на пятерки. Как только латыши захватят Смольный, отправлю пятерочки по адресам из моей картотеки. Нужно будет срочно нейтрализовать коммунистов, которые могут создать нам проблемы. Недели на подготовку мне вполне хватит.

Отрадно иметь дело с рептилиями, думал Сидней, получая в канцелярии новое удостоверение. Саша вчера со своими разносолами да душевными разговорами съел целый день. А тут раз-два, никаких сантиментов и излишних, обменялись информацией, всё решили, обо всем договорились. День свободен. Не свозить ли Антонину Леонтьевну на острова? Она будет сидеть в лодке под кружевным зонтиком, опустив тонкую руку в воду, и таинственно улыбаться, похожая на Царевну Лебедь.

Как там, в книге, сказано? «Перед сражением или поединком лучше всего, в зависимости от сезона, полюбоваться цветущими деревьями, осенней листвой или мерцанием падающих снежинок».

* * *

Последний день лета был золотисто-медовым, жарким. Брусчатка Дворцовой площади мерцала солнечными бликами, будто гладь морской бухты. Зимний дворец слегка покачивался в мареве, похожий на мираж.

Рейли повернул к набережной Невы. Настроение было красивое: торжественное и меланхолическое. На торжественность Сиднея настроила только что закончившаяся встреча с Берзиным. Меланхолия объяснялась очередным прощанием навек с Антониной Леонтьевной. В Москву Рейли собирался ехать только вечером, но не возвращаться же было к возлюбленной после прогулки по канализации?

Предстояло два переодевания. Сначала, после спуска в люк, надеть лежащую в сумке робу. Кроме ничего, понюхает. Потом, совершив подземный маршрут в обратном направлении, Сидней намеревался снова принять пристойный вид, да еще хорошенько

сполоснуться речной водой, но дочиста все равно не отмоешься, а у Антонины Леонтьевны, как у всех деликатных женщин, острое обоняние.

Ладно, перестал думать о красивом. Сосредоточился на торжественном. Еще раз прикидывал, что включить в донесение для передачи в Лондон, а что не включать.

Про общую идею одновременного удара в обеих столицах — безусловно. Про то, что дипломатическая миссия напрямую в этом не участвует и в случае чего козлом отпущения будет не представляющий никакой ценности лейтенант Рейли — тоже. Правительству его величества такая конструкция понравится. Эти господа любят загребать жар чужими руками. Нас это тоже вполне устраивает: после успеха вся слава достанется отважному и предприимчивому — да что там, великому и гениальному мистеру Рейли (сам с собой сыронизировал он).

О том, что в московских большевистских вождях полетят гранаты, а питерских в Смольном переколют штыками латыши и будут убивать по всему городу «пятерочки» Орлова, естественно, ни слова. В Лондоне не дураки, сами понимают, что бескровных переворотов не бывает, но в шифротелеграмме всё должно выглядеть чинно.

Мимо, громко сигналижая клаксоном, опять промчался грузовик. В кузове люди с винтовками. Идя в Адмиралтейский сквер, на встречу с Берзиным, Рейли обратил внимание на то, что в городе творится что-то необычное. По улицам то и дело на бешеной скорости неслись машины, на перекрестках стояли патрули. Вчера вечером, когда они с Антониной Леонтьевной, разнеженные и томные, возвращались после речного катания домой, на Васильевский, вдруг в неурочное время выстрелила пушка Петропавловки, по противоположной набережной бегали люди. В Совдепии вечно происходили какие-то чрезвычайности. Утром хотел купить газеты, узнать, что у них опять стряслось, но в киоске сказали: есть только вчерашние, сегодняшние еще не поступали.

К Лебязьей канавке, где люк, нужно было пройти мимо английского посольства. Если Кромби получил послание и ничто не препятствует встрече, шторы в его кабинете на втором этаже будут слегка раздвинуты.

Что такое?

Рейли остановился.

Вокруг здания миссии цепочкой стояли солдаты, блестели штыками. Улицу перегораживало несколько автомобилей, около них суетились кожаные фуражки — чекисты.

Прохожие опасливо переходили на другую сторону, ускоряли шаг. Многие поворачивали обратно. Времена, когда всякое экстраординарное событие немедленно собирало толпу, остались в прошлом. Граждане Совдепии знали по опыту, что от ЧК, чем бы она ни занималась, лучше держаться подальше.

Но Сидней, конечно, подошел — он ведь и сам был в некотором роде чекист. Сунул свое новенькое удостоверение красноармейцу. Тот оказался грамотный.

— Проходите, товарищ Релинский.

Около пыльного «форда» курил шофер, человек маленький.

— Что тут такое, товарищ? Я из уголовного отдела.

— Да вот приехали, а он давай палить, — ответил шофер.

— Кто?

— Вот этот вот.

Из подъезда на шинели тащили труп. Свесилась рука с золотыми командерскими галунами.

Кроми?!

Ошарашенный, Рейли попятился.

Чтобы военно-морской атташе Великобритании открыл огонь по чекистам, а они застрелили его, как собаку?! Возможно ли?! Последний раз туземцы громили английское посольство, дай бог памяти, в 1841 году в Афганистане!

Осторожно приблизился к кучке чекистов.

— ...А он в ответ: «Это территория Британии, естчо шаг и буду стрэлят!», — возбужденно говорил один, вертя в руках фуражку. — Спрятался, гад, за колонной и давай сажать! А сверху из-за двери дымом тянет. Товарищ Стодолин кричит: «Бумаги секретные жгут! Вперед, ребята!» Ага, вперед. Янсону прямо в лоб шмякнуло, насмерть. Стодолин с Бронексом раненые. Мне, глядите, полкозырька отстрелил. Чудом живой остался. — Заметил чужого. — Ты откуда, товарищ?

— Я из уголовно-следственной. Вот удостоверение. К нам сообщение поступило, что стреляли.

Чекист махнул рукой:

— Иди отсюда, не мешай. Тут дело не вашего калибра.

Надо было срочно звонить Саше. Он всегда знает, что происходит.

Стараясь не бежать, Рейли дошел до ближайшей почты. Позвонил Грамматикову.

— Сидор, кто-то из твоих напортачил, — сказал в рубке сонный, жирный голос. — Начали раньше времени и наломали дров. Давай-ка ко мне.

Полчаса спустя Сидней был у друга. Новости потрясли его.

Оказывается, вчера в Петрограде стреляли в Урицкого, а в Москве — в Ленина. Урицкий убит, Ленин тяжело ранен.

— Похоже, ты плохо контролировал своих людей, Сидор. Кто-то отдал приказ без тебя.

У Рейли стало сухо в горле. Сдавленным голосом он сказал:

— Это не наши. Никаких «наших», собственно и нет. Только я и мой латыш, а он здесь, в Петрограде. Кто стрелял, известно?

— В Москве женщина, здесь какой-то юнкер. Арестованы. Судя по моим сведениям, оба эсеры. У эсеров, как ты знаешь, свои счета с большевиками. Совпало.

— Чертовы идиоты, — простонал Сидней. — Они всё испортили...

— Это и есть случайность, о которой я предупреждал. От них не застрахован ни один план, даже самый идеальный, — философски заметил Грамматиков. — Извечная проблема эсеров: боевитости много, мозгов мало. Единственное, чего они добились, — в обеих столицах повальные обыски и аресты. Хватают всех подряд. У коммунистов паника. От ярости и страха они будут бить вслепую. Начнется большой террор. Это теперь неизбежно.

Рейли пытался собраться с мыслями.

— Мне... мне нужно в Москву.

— Зачем? Твой комplot утратил смысл.

— Ничего подобного! Латыши по-прежнему охраняют правительство. И оно будет собираться на заседания. С Лениным или без Ленина. Я еду.

Александр Николаевич развел руками.

— Не сегодня. Сообщение между столицами временно остановлено. Ходят только экстренные поезда. Твоего мандата, чтобы

попасть в вагон, будет недостаточно. Жди. Завтра я буду знать больше.

В гостях



Звонок был вот какой. Накануне, в субботу, когда Марат убеждал себя, что Агата, конечно, не позвонит и пускать ее в свое прошлое не придется, оттуда, из давно ушедшей, одному ему дорогой жизни, пришла весточка. Так бывает, во всяком случае с писателями. Если относишься к собственной судьбе как к литературному произведению с сюжетом, главной идеей, вроде бы случайными, а на самом деле совсем не случайными совпадениями и символическими знаменами, всё это начинает происходить с тобой на самом деле.

Совпало одно к одному.

Незнакомый голос назвал по имени и отчеству, интонационно налегая именно на отчество:

— Простите, это Марат *Панкратович*?

— Да.

— Сын Панкрата Евтихьевича Рогачова?

— Да, — повторил Марат, и пересохло в горле. Прикосновения к прошлому, особенно к *этому прошлому*, всегда приводило его в волнение, а тут он еще и готовился, все-таки готовился к тому, как будет рассказывать об отце Агате. — Но... почему вы спрашиваете? Кто вы?

— Антон Маркович Клобуков. Сегодня я встречался со своим старинным знакомым Филиппом Бляхиным, и он потряс меня известием о том, что у Панкрата Рогачова, оказывается, был... есть сын. Я ведь знал вашего отца, еще до революции. Филипп сказал, что у вас нет ни одной его фотографии. А у меня, кажется, одна сохранилась. Я очень давно не перебирал старые снимки, но поищу. Приходите. И мне, конечно, очень хочется на вас посмотреть.

Марат напросился в гости завтра же.

Звонку предшествовал другой сигнал из прошлого. Пару месяцев назад была встреча со зрителями — коллектив «Чистых рук» ездил по всей стране, выступал перед переполненными залами. Сценарист публике мало интересен, поэтому Марата, слава богу, не привлекали. Обычно в поездках участвовали режиссер-постановщик и два-три известных артиста. Но тут вечер проходил в столице, режиссер заболел, нужно было в последний момент заменить, и студия вызвонила Марата. Встреча была не рядовая — в клубе КГБ, с ветеранами органов. Глядя со сцены на седые и плешивые головы, Марат думал, что кто-то из этих людей тридцать лет назад, может быть, допрашивал отца или мать. Выступая, нарочно, с нажимом, сказал, что его отец, Панкрат Рогачов, стоял у истоков ВЧК и во времена культа личности был репрессирован вместе со многими другими настоящими большевиками, соратниками Ленина и Дзержинского. В последние годы писать и публично говорить о сталинском терроре перестали, тема считалась не то чтобы закрытой, но «перегретой», из области хрущовских перегибов — что, мол, старое ворошить. Марат с удовлетворением заметил, что некоторые в зале зашевелились, и ощутил себя почти героем. Конечно, позвонят в студию, наябедничают — и ладно. Пускай впредь не зовут участвовать в этих тоскливых радениях, не отрывают от дел.

Но потом в фойе подошел рыхлый, невысокий старик с орденскими планками (на самом видном месте значок «Почетный

сотрудник госбезопасности”), представился: Филипп Панкратович Бляхин. Спросил:

— Обратили внимание, что я тоже «Панкратович»? Это не случайно. Я работал с вашим родителем. А поскольку я пролетарий из пролетариев, сирота безродный и вместо папаши в метрике у меня прочерк, выбрал себе отчество в честь товарища Рогачова. Он мне был заместо отца. Вот и получается, что мы почти братья.

Долго тряс руку, вглядывался, качал головой.

— Я ведь вас разок-другой видел, когда по воскресеньям заезжал. И мамашу вашу знавал, она у товарища Рогачова в секретариате работала. Потом, когда у них начались отношения, уволилась. Панкрат Евтихьевич не мешал общественное с личным. Веселая такая была, певунья. Как ее звали-то, имя необычное...

— Руфь, — подсказал взволнованный Марат. Он и не знал, что мать познакомилась с отцом на работе.

— Да-да, все у нас ее звали Руфочкой. Вы-то меня, конечно, по детскому возрасту не помните. Да и как меня узнать? Был сокол, стал пень облезлый.

Филипп Панкратович засмеялся, похлопал себя по багровой лысине.

— Вы вот что, вы приходите в гости. У нас по воскресеньям семейный сбор, жена готовит хорошо. Расскажу про вашего папу. Заодно и внук пусть послушает, он комсомолец, ему полезно. Ох, большой был человек Панкрат Евтихьевич, одно слово — ленинская гвардия. Я про него много в своих мемуарах пишу. Вам интересно будет.

Марат, конечно, пришел.

Ветеран органов жил на улице Кирова, в превосходно обставленной квартире: хрустальная люстра, на стене старинный немецкий гобелен, в полированном серванте майсенские тарелки. На столе деликатесы — и шпроты, и сервелат, и даже красная икра в серебряной вазочке. Бляхин скромно сказал, что получает продовольственные заказы по двум линиям — как ветеран органов и как старый большевик, пятьдесят лет в партии. Полная, уютная, хлопотливая супруга с подсиненными, аккуратно уложенными сединами почти не садилась, все время курсировала между столовой и кухней.

Семья Бляхиных была представлена тремя поколениями — прямо плакат на тему «завоевания Октября». В стариках чувствовалось, что они из низов, из народной гущи. Филипп Панкратович иногда выражался не очень грамотно: «одел я, значит, свою буденовку», «ихний», «ехай». Евлампия Аркадьевна говорила «кушайте, кушайте» и всю еду называла уменьшительно: «колбаска», «ветчинка», «котлетка». Зато сын и невестка были уже стопроцентные европейцы. Антонина безусловно поставила бы обоим высший балл.

Бляхин-младший, Серафим Филиппович, был в английском твидовом пиджаке, приятно-ироничный, говорящий нечасто, но всегда к месту. После обеда закурил трубку, табак был тоже очень приятный, фруктового оттенка. Его жена Ирина Анатольевна, одетая очень сдержанно, никаких золотых побрякушек, никакой косметики, была мила и тоже малословна.

Внук Дима, лет шестнадцати, и вовсе смотрелся юным лордом. Открывал рот, только если спрашивали, и отвечал как-то очень взросло. «Да, уже решил. Посоветовался с родителями, конечно. Буду поступать в МГИМО, хочу стать дипломатом» — это когда Марат спросил о планах на будущее. И больше ни слова, только вежливая улыбка. Таких воспитанных — или выдрессированных? — подростков Марат еще не встречал.

У Филиппа Панкратовича имелась и внучка, но она отсутствовала, уехала в ГДР по обмену: юные тельмановцы — в Артек, наши пионеры — в Берлин. «Настенька в немецкую школу ходит, — горделиво сказал дед. — И английский тоже учит, с репетитором. Двенадцать лет, а уже самостоятельная заграникомандировка, каково?»

Всё это было очень славно, но Марат пришел не ради котлеток и не чтобы познакомиться с образцово-показательным семейством. Едва дождавшись десерта (мороженое с ранней клубникой), стал расспрашивать хозяина об отце.

Филипп Панкратович оживился, сходил в кабинет за папкой, вынул оттуда стопку машинописи.

— Вот мои воспоминания. «Полвека на страже социалистической Родины. Записки старого чекиста». Почитаете потом, я дам. Тут много про товарища Рогачова. Сейчас узнаете, как я с ним познакомился. Дело было в январе семнадцатого. С этого момента и надо отсчитывать мой большевистский стаж, а не с весны восемнадцатого, как в

партбилете указано. Наши бюрократы и формалисты только бумажкам верят, — пожаловался Бляхин. — Если бы я числился с января семнадцатого, это не то что дооктябрьский, а даже дофевральский партстаж. Мне бы сейчас на пятидесятилетие революции не паршивый «Знак почета» кинули, а орден Октябрьской революции, как минимум. Или даже орден Ленина. Потому что в указе прямым текстом сказано...

— Папа, — мягко перебил сын, лукаво подмигнув Марату. — Гость пришел послушать про своего отца, а не про то, как тебя зажимают формалисты.

Бляхин старший откашлялся. Читал он с выражением, время от времени поверх очков многозначительно поглядывая на слушателей. Сын, улыбаясь, попыхивал ароматным дымом. Невестка слушала безупречно — с чрезвычайно заинтересованным видом. Внук сидел, как отличник на уроке. Жена кивала всякий раз, когда чтец повышал голос.

— «Стоял студеный февраль семнадцатого года. Глыба самодержавия стояла несокрушимой стеной, казалось, что на века. Но великий Ленин сказал: «Стена — да гнилая, толкнешь — развалится». Я был простой заводской парнишка, голь и безотцовщина, вырос на воде и сухих корках, сызмальства пахал на хозяев, образование четыре класса, политически темный, мало знающий большую жизнь, но косточка у меня была рабочая, сердце чистое, душа пролетарская. Я знал, что нужно искать правду, но где она, правда, своим молодым умом постичь не мог. Понадобилась встреча с настоящим революционером, пламенным большевиком, чтобы я вышел на путь, с которого уже никогда не сходил и не сойду до самого конца жизни».

Расчувствовавшись, Филипп Панкратович утер слезу. Стал читать дальше. Последовало описание тяжелой жизни петроградского простого люда, потом подробный и, честно говоря, не очень правдоподобный рассказ о том, как юный пролетарий писал наивные, «продиктованные рабочим сердцем» листовки «Долой самодержавие» и по ночам расклеивал их на домах.

— «...И вот однажды мажу клеем стену, вдруг кто-то сзади хват за плечо. Беда, думаю, городской! Оглянулся — мужчина в картузе. Улыбается, говорит: «Хороший ты парень, но молодой еще, глупый. В одиночку самодержавие не свергнешь. Сообща нужно. Знаешь про

партию большевиков?» Так я услышал это великое слово впервые. Вдруг гляжу — из-за угла высовывается кто-то, в шляпе, воротник поднят. Говорю: «Кто это там подглядывает?» Он повернулся, говорит: «Молодец, глаз у тебя зоркий. Это за мной шпики следят. Ну, бывай. Может свидимся». И побежал.

Тут свисток, крики, выбегают шпики, полицейские. Беда, думаю. Их много, догонят. И как крикну «Долой царя!» Они — ко мне. Я наутек. Ноги молодые, быстрые. Все подворотни знаю. Попробуй, догони Фильку Бляхина!»

Чтец засмеялся, довольный написанным.

— Это и был ваш отец, товарищ Рогачов. Про то как я его второй раз повстречал, сами почитаете. Он меня с того случая запомнил — как я его от ареста спас. Потому и доверял. Много лет потом был я самым близким ему помощником, во всех делах. Пока товарища Рогачова не истребила ежовская банда. И я сам тогда чуть не сгинул, тут про это тоже написано. Берите, берите. Вы писатель, для меня ваша оценка очень важна.

— А фотографий отца у вас не осталось? — спросил Марат, беря папку.

— Что вы! — Бляхин махнул рукой. — Если бы в те времена кто нашел фото врага народа, это верный пятнашник, а то и стенка. Пришлось все уничтожить.

Он потом еще долго рассказывал, уже без рукописи, но больше про себя и свои заслуги перед партией. В конце концов Марат сказал, что ему пора. Не терпелось прочесть воспоминания, чтобы как можно больше узнать об отце.

Сын Бляхина тоже засобирался, он был на автомобиле, предложил подвезти.

В машине, таком же «москвиче», как у Антонины, но экспортной комплектации, с хромированными «клыками» и нарядным салоном бежевой кожи, сказал:

— Большая к вам просьба. Пристройте это великое сочинение куда-нибудь по вашей писательской линии. Хоть в самый задрипанный журнал. Для фатера это очень важно — увидеть свою фамилию в печати. — Снисходительно улыбнулся. — Очень хочется порадовать старика. А за мной не заржавеет.

Марат ответил что-то вежливое, типа попробую, хотя по качеству текста было видно, что никто эту корявую писанину даже рассматривать не станет.

Но Серафим Филиппович вдруг сказал:

— Вы ведь интересуетесь делом Сиднея Рейли. Пробовали попасть в наш архив, но получили отказ. Могу помочь. Я же говорю: за мной не заржавеет.

В *наш* архив?

Марат посмотрел на соседа новыми глазами. Ах вот что это за европеец. И пообещал, что лично отнесет рукопись в редакцию своего издательства, с письменной рекомендацией.

— Вот и отлично, — улыбнулся младший Бляхин. — Завтра с кем надо поговорю, потом позвоню вам и объясню, когда и куда... Не трудитесь, ваш номер телефона мне дадут.

Мемуары у старика, как и следовало ожидать, были безнадежны. Написаны корявым канцеляритом, с длинными цитатами из Ленина и постановлений ЦК, много нелепостей, сразу очевидных для человека, знающего историю. Самое досадное, что про Панкрата Рогачова ничего живого: этакий картонный большевик, говорящий одними лозунгами. Например, перед арестом якобы сказал верному помощнику: «Ты верь, Филипп, партия разберется и станет только крепче. Верь в партию, Бляхин».

Свое обещание Марат выполнил — рукопись в отдел документальной прозы отнес и сделал приписку «по-моему, интересно как свидетельство очевидца событий», но там такой графоманией после юбилея Октября были забиты все шкафы.

Зато попал в закрытый архив, ознакомился с делом Рейли и даже вынес оттуда тайный трофей, с которого начался роман, составлявший сейчас главный смысл Маратова существования.

Очень вероятно, что еще один старик из прошлого, звонивший вчера Антон Маркович, тоже ничего интересного не расскажет, но если у него действительно сохранились фотографии... От мысли о том, что размытый образ отца наконец обретет очертания, перехватывало дыхание. Тогда из детского воспоминания, из легенды Панкрат Рогачов станет живым человеком. И может быть, собственная память вытянет оттуда, из тумана, еще какие-то детали.

Рассказывая Агате об отце, Марат не стал ничего говорить о предстоящем визите — из суеверия. Вдруг Клобуков не найдет фотографий — он ведь сказал «поищу». Или найдет, а они групповые, где лица толком не разглядишь.

Для академика Клобуков — если, конечно, это был не полный тезка светила из Тониной книжечки — жил скромнато, в непрезентабельном шестиэтажном доме с уродливым прилепленным снаружи стеклянным лифтом. Район, правда, славный — Хамовники, недалеко от музея Льва Толстого.

Открыла невысокая, полноватая женщина, в руке у нее был стакан, от которого резко пахло чем-то медицинским.

— Вы Рогачов? Проходите, пожалуйста. — Улыбка была славная, но немного тревожная. — Антон вас очень ждет. Так разволновался, что ему стало нехорошо. Это с ним бывает после инфаркта.

— Тогда я лучше в другой раз...

— Что вы! Антон расстроится. Сейчас я дам капель, и ему станет лучше. — Позвала: — Марик, проводи гостя в папин кабинет!

Ушла. Вместо нее появился мальчик — очень серьезный, в очках.

— Привет, Марик. Я Марат Панкратович.

— Не зовите меня «Мариком», — сказал мальчик. — Тысячу раз маму просил. Я Марк. Вы писатель, я знаю. Про современное пишете.

— Не только. У меня есть и про гражданскую войну, про двадцатые годы.

— Это всё равно современное. Я читаю только исторические романы. Про девятнадцатый век или раньше. Пойдемте. Мама сказала, чтобы я вас занял разговором.

Улыбнувшись, Марат проследовал за суровым отроком в маленькую комнату, все стены которой были в книжных полках. Сел в старое кожаное кресло, очень удобное.

— Почему только исторические?

— Потому что не надо переживать, кто умрет, а кто выживет.

— И что же, ты не переживаешь, убьют Д'Артаньяна или нет? Не волнуешься за судьбу Петруши Гринева?

— Какой смысл? Те люди всё равно умерли. Давным-давно. Я и кино смотрю только историческое. Меня недавно мама чуть не насильно повела на «Девять дней одного года», говорила очень

хороший фильм. А там про физика, который облучился. Я ушел с середины, не стал ждать, когда ему совсем плохо станет.

— Гляди, — сказал Марат. — Трудно тебе будет жить на свете при таком нежном к себе отношении. Ты ведь существуешь в романе, все персонажи которого рано или поздно умрут.

Он не умел разговаривать с детьми — наверно оттого, что не воспитывал дочь. А может из-за своего недетского детства. С воспитанниками интерната никто не сюсюкал.

— Вот и я ему то же говорю.

Марат не слышал, как вошла жена Клобукова. Обернулся, хотел подняться с кресла, но она замахала: сидите, сидите.

— Надо беречь не себя, а тех, кого любишь. Тем и сбережешься. Но в двенадцать лет это понять еще трудно.

— Началось, — поморщился мальчик. — Ладно, я пошел обдумывать эту глубокую идею. Моя светская миссия выполнена.

— Он ужасно смешной сейчас, но смеяться ни в коем случае нельзя, от этого они замыкаются, — сказала жена Клобукова, когда они остались вдвоем. — Антон еще пять минут полежит и выйдет. Очень просил вас не отпускать. Ой, извините, я не представилась. Юстина Аврельевна.

Протянула руку. Очень, просто поразительно красивую. Марат будто увидел хозяйку по-иному. У нее и лицо было, если внимательно посмотреть, удивительное. Беглый взгляд ничего интересного не заметит, надолго не задержится. Но если остановится, то оторвется нескоро.

Лучше всего, конечно, был мягкий свет карих глаз. Но и лоб с раздумчивой морщиной, и чуть вытянутый овал лица, и контур неярких губ были очень, очень хороши.

— Вы тоже врач? — спросил Марат.

По обилию медицинских книг было ясно, что это тот самый Клобуков, анестезиолог.

— Нет, я филолог. Античница. Работаю редактором в издательстве, а в последнее время занялась переводом. Мне доверили новое переложение «Энеиды», с научными комментариями, для «Литпамятников». Ужасно волнуюсь. Не из-за комментариев, с ними-то всё просто. Боюсь, справлюсь ли с вергилиевским гекзаметром.

Ведь все будут сравнивать с классическими переводами, а я совсем не Фет и не Брюсов.

Вот какая должна быть спутница жизни, думал Марат, с симпатией глядя на даму с антикварным именем. Не акула, которая хоть и на твоей стороне, но все равно хищная рыбина с острыми зубами. И не вечный экзаменатор вроде Агаты Штерн, рядом с которой постоянно чувствуешь, что тебя испытывают на прочность и в любой момент могут с пренебрежением отвернуться. Милая, интеллигентная — и при этом какая-то очень надежная. О муже заботится, сын в двенадцать лет уже самостоятельно мыслит, дом уютный и ухоженный. Еще вот и с латыни переводит.

— Если хотите, я могу посмотреть ваш перевод, — сказал он. — Я ведь много лет проработал редактором, пропустил через себя тысячи рукописей. Присылали и стихи.

Смутилась — тоже очень славно, даже покраснела.

— Ну что вы! Буду я мучить такого известного писателя своими литературными экзерсисами!

— Давайте, давайте, — велел он. — Много времени это не отнимет, у меня профессиональный взгляд. И всю рукопись не нужно, дайте страниц десять. Может быть, посоветую что-нибудь полезное.

Ему понравилось, что Юстина Аврельевна не заставила себя упрашивать, а обрадованно вскочила, горячо поблагодарила и вышла из комнаты чуть ли не бегом, совершенно не заботясь о чинности. Простота поведения у интеллектуально сложного человека всегда обаятельна.

Вернулась с папкой.

— Вот. Огромное спасибо. И без вежливости, пожалуйста. Мне очень важно не подвести издательство — и Вергилия. Антону Марковичу уже лучше. Говорит, что через минуту-другую будет в норме.

— Может быть, все-таки не нужно его утомлять? Я могу зайти в другой раз.

— Если Антон говорит, что через минуту-другую будет в норме, значит будет. Он ведь медик.

— Да, я знаю. Знаменитый анестезиолог, академик.

— Член-корреспондент. И практической анестезиологией больше не занимается. После инфаркта не может участвовать в операциях, там

же всё время на ногах, и напряжение. Теперь Антон сосредоточился на научно-исследовательской работе.

Из коридора слышались медленные шаги. Марат поднялся.

Клобуков оказался совсем старик. Седенький, сутулый, хрупкий, в очках с толстыми стеклами. По возрасту он годился Юстине Аврельевне в отцы — как минимум. Ей вряд ли больше сорока, ему, пожалуй, под восемьдесят.

— Господи, похож! — воскликнул академик. Голос у него дрогнул. — Я нашел ту фотографию, но она совсем никудышная, лица толком не видно. А смотрю на вас — и вижу Рогачова!

Пожал руку, слабо. Жена бережно усадила его на диван.

— Надо же, я понятия не имел, что у Панкрата Евтихьевича появилась семья, родился сын. Он мне всегда казался таким... безбытным. И потом, мы совсем перестали видеться после Гражданской.

Клобуков всё рассматривал Марата, покачивал головой.

— Ваш отец был, наверное, самым сильным человеком из всех, кого я встречал в жизни. Прямо стальной. Это и притягивало, и отталкивало. Пугало. Я-то всегда был тюфяк, мямля. В конце концов решил, что буду держаться от Панкрата Рогачова подальше...

— Почему? — быстро спросил Марат. Он уже понял, что этот разговор получится совсем не таким, как с Бляхиным. И стало страшновато. Вдруг узнаешь об отце что-то такое, чего лучше было бы не знать?

— Долгая история. Давайте по порядку, с начала. Фотография сделана в день, когда я увидел Панкрата Евтихьевича впервые. Снимал я, новой камерой, которую мне только что подарили, поэтому качество плохое, да ваш отец еще и дернулся — лицо размытое. Вот он, в верхнем ряду, слева.

Марат жадно схватил желтоватую карточку и расстроился. Человек в пиджаке и свитере полу-отвернулся, черты расплылись, и угадывался лишь контур волевого, будто каменного лица.

— Сидят, в центре, мои родители. К отцу пришли его бывшие студенты, отметить двадцатую годовщину некоего памятного события. В 1897 году, во время политических заморозков, на Санкт-Петербургский университет, рассадник вольнодумства, обрушились репрессии. Тогда под этим словом, разумеется, подразумевалось нечто

гораздо менее кровожадное, чем впоследствии. Отец (он был профессор) потерял место и был сослан в Сибирь. Кого-то из учащихся исключили и отдали в солдаты. Справа от вашего отца адвокат Знаменский, впоследствии видный деятель Временного правительства. Потом Петр Кириллович Бердышев — он в Гражданскую оказался у Врангеля. Вот этот, с бородкой — чудесный человек, Иннокентий Иванович Бах...

Клобуков почему-то вздохнул, а Марат встрепенулся и приблизил снимок к лицу. Он, точно он! Сильно моложе, но никаких сомнений! Как поразительно всё сегодня сошлось — в жизни так не бывает, только в литературе. Или в жизни литератора.

— Я знаю этого человека! И только что, пару часов назад, вспоминал его! На Донском кладбище.

— Вы знали Иннокентия Ивановича?! — Антон Маркович, кажется, был потрясен. — Как? Откуда? Прошу вас! Это для меня очень важно!

Немного удивившись столь бурной реакции, Марат стал рассказывать.

— В пятьдесят пятом это было. Кажется, в конце октября или начале ноября. Я работал в журнале «Искра». Позвонили с коммутатора. «Марат Панкратович, просят соединить по личному делу». Шамкающий голос спрашивает: «Извините, если ошибаюсь, но вы случайно не сын Панкрата Евтихьевича Рогачова?». Отец тогда еще не был реабилитирован, его имя оставалось под запретом... Да в общем было давно забыто. Я, конечно, кинулся на проходную. Там ждал тощий, нескладный старик, очень подвижный, прижимал пальцем к переносице очки, они всё сползали. «У меня такая радость, — говорит вместо приветствия. — Один хороший человек подарил свои очки, они мне почти впору, и я снова всё вижу. Ужасно соскучился по книгам. Читаю с утра до вечера, всё подряд. Журналы — от корки до корки. Как гоголевский Петрушка, получаю удовольствие от складывания букв». Я слушаю его стрекотно, не возьму в толк, к чему всё это.

— Да-да, это Бах. Всегда был такой, — кивнул жадно слушавший Антон Маркович. — В конце октября пятьдесят пятого? Боже мой, боже мой. Прошу прощения, что перебил. Продолжайте, пожалуйста!

— «Прочитал, — говорит, — номер журнала «Искра». Там напечатана всякая чепуха, но мне это неважно». Испугался, что обидел меня, стал извиняться. Я его успокаиваю: мол да, увы, журнал у нас не очень, но при чем тут мой отец? «Там на обороте обложки имена сотрудников редакции. Я и это прочел. Вдруг вижу «Заведующий отделом художественной прозы Марат Панкратович Рогачов». Ой, думаю, неужели сын? Вот и позвонил, на всякий случай». Я решил, что он встретил отца в тюрьме, но оказалось нет. Они когда-то, еще студентами, были в одной компании. Насколько я понимаю, в той же, что на вашей фотокарточке.

— Да, да, — подтвердил Клобуков. — Только Бах был гуманитарий, а Рогачов учился на инженера. Что вам Иннокентий Иванович рассказал про себя? Понимаете, он побывал тогда, в октябре, и здесь, в этой квартире. Мне показалось, что он меня... что он меня простил. Я был очень перед ним виноват. И я так обрадовался. Но после того, первого визита Бах ни разу больше не появился. Просто бесследно исчез, и всё. Словно передумал меня прощать. Это ужасно меня мучило.

— Я объясню, почему он больше не появился. — Марат немного помолчал. — ...Мы вышли из редакции в сквер. Я не хотел, чтобы кто-нибудь из коллег, проходя мимо, услышал, что я говорю с кем-то о Панкрате Рогачове. Мы сели на скамейку. Иннокентий Иванович стал вспоминать моего отца. Каким он был сильным, отважным, ни на кого не похожим. Как летом ходил с бурлаками, как дрался с полицией. Рассказчик из старика был довольно невнятный. Начнет — и сбивается. То киснет со смеху, то вдруг прослезится. Перескакивает с одного на другое. Я подумал, что нужно будет еще не раз встретиться с этим человеком, вытянуть из него как можно больше. Спрашиваю, где вы живете? Он говорит: «Пока нигде. Хочу сходить в Донской монастырь, там сторожем мой старинный знакомец, очень хороший человек. Может быть, на время приютит. Уж очень место славное, такое покойное, самое мое любимое в Москве». «А семьи у вас нет? — спрашиваю. — Жены, детей?». «Нет и не могло быть». Посмотрел на меня, глазами похлопал. «Как странно, что вы про жену. Была в моей жизни одна женщина, только одна, про которую я такое думал. Очень давно. И вдруг сегодня, когда я задремал в электричке, она мне приснилась. Впервые! Это было такое счастье! Представляете —

смотрит на меня, ласково. «Ну вот, говорит, милый...» Наяву никогда меня так не называла, только по имени-отчеству. «Ну вот, говорит, милый, всё трудное позади, теперь будет только радость».

Марат закрыл глаза, увидел перед собой старое-престарое лицо, мечтательную улыбку. Услышал дребезжащий голос.

— Сидит он передо мной, трет грудь, сам улыбается и морщится, улыбается и морщится. Я спрашиваю: «Вам нехорошо?» А он бормочет, всё тише и тише: «Теперь будет только радость... Радость...» Опустил голову на грудь и затих. Я подумал — уснул, с дряхлыми старичками бывает. А он умер...

Клобуков вскрикнул, Юстина Аврельевна ахнула.

— Огромное это на меня произвело впечатление. Не только потому, что человек умер у меня на глазах, а потому что... Возникло ощущение, будто я прикоснулся к краешку какой-то огромной, очень красивой и важной истории, но о чем она, никогда уже не узнаю. Ну и связь с отцом, конечно. Только-только наметилась — и обрыв. Вот почему Бах к вам больше не пришел. Так что зря вы мучились. В кармане у него был паспорт, так я узнал фамилию. Сказал в милиции и потом в ЗАГСе, что беру похороны на себя. Нашел его знакомого, сторожа на Донском, тот помог с участком. Я всё оплатил. Теперь иногда по воскресеньям навещаю могилу... Вот, собственно, весь рассказ. Теперь ваша очередь, Антон Маркович. Про отца. Всё, что знаете. Всё, что помните.

— Сейчас... Дайте прийти в себя. — У Клобукова на глазах выступили слезы. — Вы даже себе не представляете, как много это для меня значит. Иннокентий Иванович Бах... вернее не он, а моя вина перед ним много лет была главным мучением моей жизни. Сначала я терзался тем, что погубил его. Потом он вернулся и оказалось, что он не держит на меня зла, и с души упал тяжкий груз, а он снова исчез, и теперь уже навсегда, и я не знал, что думать, то есть знал, догадывался... Он был очень старый, больной, беспомощный, он нуждался в помощи. А я ничем не помог ему. Я забыл о нем. Потому что в ту самую ночь, когда Иннокентий Иванович появился в доме, произошло ужасное несчастье. Оно заслонило всё остальное...

— Антон, не нужно про это, пожалуйста, — с тревогой наклонилась к нему жена. — Тебе опять станет нехорошо.

— Ничего, Тиночка, я должен объяснить. Не беспокойся, капли купируют аритмию.

Марат видел, что разговор повернул в какую-то иную сторону, не имевшую отношения к отцу, но терпеливо ждал, пока старик выговорится.

— Той ночью умерла моя дочь Ада. У нее были проблемы психического развития, она аномально много спала, поздно вставала. Но в то утро вообще не вышла из своей комнаты. Наконец вхожу — а она уже холодная. На лице застывшая улыбка. И на груди лежит черепаха. Тоже мертвая.

Затряс головой, отгоняя воспоминание.

— Какая черепаха?

— У нее была черепаха, с раннего детства. Самое близкое существо... Ада скончалась от внезапной остановки сердца. Черепаха... не знаю... что-то почувствовала Наверное. А может быть, наоборот: Ада поняла, что черепаха умерла, и... Между ними существовала какая-то непостижимая связь. Ну и вокруг меня словно черный занавес задвинулся. Если бы не Тина, я бы вероятно...

Юстина Аврельевна взяла его за руку, погладила.

— Невероятная штука жизнь. — Антон Маркович вытер платком глаза, близоруко сощурился. — Осенью пятьдесят пятого я был уверен, что моя жизнь кончена, что я всё потерял. Сначала жену — я говорю о своей первой жене. Потом сына, его убили на войне. Теперь дочь. А год спустя, осенью пятьдесят шестого, я был счастливейшим человеком на свете. Мы сидели с Тиной здесь в кабинете, каждый со своей рукописью, а в кроватке спал маленький Марк... Ну всё, про себя больше не буду. Вам это неинтересно, вы пришли послушать про отца. С чего бы начать? Да вот хоть с фотографии. Это был еще один совершенно незабываемый для меня день...

Сэйдзицу

Роман



Э.П. БЕРЗИН (1894–1938)

Э. П. Берзин (1894–1938)

Эдуардс узнал о случившемся почти в то же время, через четверть часа после встречи с Рейли около Пржевальского и каменного верблюда.

Шел по Невскому, недоуменно поглядывая на расставленные повсюду патрули, и вдруг увидел быстро марширующую ротную колонну: у бойцов на винтовках примкнуты штыки, впереди хмурый Артурс Лацис — тот самый человек, которого Берзин накануне убедил присоединиться к заговору. Второй фронтовой товарищ, Алдерманс, не понадобился, для дела оказалось вполне достаточно Лациса. Он теперь

служил прямо в охране Смольного и очень не любил большевиков, долго уговаривать его не пришлось.

— Озолиньш, веди! — приказал Лацис взводному, заметив Эдуардса. Подошел. Лицо напряженное. Тихо, быстро заговорил.

— Ничего не понимаю. Речь ведь шла про шестое сентября. У вас что-то изменилось? В Смольном чрезвычайное совещание, приказано утроить караулы. Там будут все — само собой, кроме Урицкого, но я не готов, я еще не успел поговорить с ребятами...

Окаменев, Берзин выслушал новость про покушения. Это могло означать только одно: британец водил его за нос. Очевидно, не поверил, счел чекистским агентом. Делал вид, что готовит акцию шестого сентября, а сам тем временем разрабатывал двойной удар — в Москве и в Петрограде. Что делать? Что делать?

— Что делать? — спросил и Артурс. — Урицкий убит. Ленин, говорят, умирает. Но Троцкий вернется с фронта и возглавит правительство в Москве, а у нас тут остался Зиновьев. Если уж было убивать кого-то одного, так следовало Зиновьева, а не Урицкого. В чем ваш план, объясни. Как мне действовать?

В критической ситуации Эдуардс мгновенно мобилизовался, было у него такое драгоценное свойство. Мозг сам собой, без понуждения, сбрасывал первоначальное оцепенение и начинал работать с удвоенной скоростью.

— Всё пропало, — сказал он Лацису. — Операция провалена. Пусть помощник ведет роту без тебя. Захвати самое необходимое и исчезни. В Финляндию, в Эстляндию — неважно. Сюда больше не возвращайся. Встретимся в свободной Латвии.

— А ты?

— Обо мне не беспокойся. Давай, удачи тебе. Не теряй времени.

Коротко пожал товарищу руку, пошел прочь, додумывая на ходу.

Бежать нельзя. Потому что Ильзе, маленькие племянники. Петерс знает про них, и адрес знает. После того, что случилось, пощады не будет никому, ни женщинам, ни детям. Карающий меч революции — так это у них называется.

Хотел к сестре — предупредить и взять вещи, но решил не терять времени. Побежал рысцей в сторону Николаевского вокзала. Военных, которые не ходили, а бегали, в этот день на Невском было немало. Прохожие даже не оборачивались.

В кармане у Берзина лежал мандат за подписью самого Дзержинского, выданный на случай чрезвычайных обстоятельств. «Приказываю всем представителям Советской власти и командирам Красной Армии оказывать подателю сего тов. Э. П. Берзину всяческое содействие. Лиц, оказавших неповиновение, тов. Берзин уполномочен расстреливать на месте».

В оцепленное здание вокзала пустили просто по командирскому удостоверению. Главному начальнику Берзин сунул в нос грозную бумагу. Обычные поезда в Москву не ходили, но по распоряжению Смольного под парами стоял локомотив — на случай, если кому-то из ответственных товарищей срочно понадобится ехать в столицу. На этом «спецсоставе», единственным пассажиром единственного вагона, без остановок, на предельной скорости, Эдуардс за восемь часов домчал до Москвы. Еще через полчаса был на Лубянке. Там, хоть и ночь, горели все окна, по лестницам не ходили, а носились люди с перекошенными лицами, с воспаленными глазами. Здесь вторые сутки никто не спал.

У зампреда ВЧК шло совещание, но Петерс немедленно его прервал.

Выкручиваться не имело смысла. Петерс не дурак. Поймал бы на несостыковках и сразу же отправил бы в расстрельный подвал.

Эдуардс рассказал правду. Всю.

Петерс слушал молча. Широко расставленные глаза сначала налились бешенством, потом в них, вторым слоем, проступила тревога, под конец же появился и третий слой — любопытство.

— Почему вы вернулись, Берзин? — спросил Петерс. — На что вы рассчитываете?

— На то, что вы не захотите лишиться своего поста, — хладнокровно ответил Эдуардс. В дороге он продумал разговор до подробностей. — Председатель — ладно, заместитель председателя ВЧК — давший британскому шпиону Рейли и латышскому контрреволюционеру Берзину обвести себя вокруг пальца, в нынешних нервных обстоятельствах одной отставкой не отделается. Времена такие, что чикаться никто не станет. Поэтому предлагаю никого в лишние детали не посвящать. Я — ваш верный помощник, беззаветно преданный Советской власти. Другие латышские участники так называемого заговора — тоже наши люди. Трое московских

сделают, как я им скажу, я в них уверен. Лацис из охраны Смольного спьяну бывает болтлив, но он бесследно исчезнет, я об этом позаботился. Так что истинной подоплеки никто не узнает. Версия такая. ЧК разработала отличную операцию, но по независящим от нас причинам враг изменил свои планы и нанес удар раньше назначенного времени. Однако у вас есть неопровержимые доказательства того, что это иностранный заговор.

— Не похоже, что покушения организовали британцы, — сказал Петерс. — Стрелявшая в Ленина женщина — эсерка. Убийца товарища Урицкого тоже.

Лицо Берзина осталось невозмутимым, но внутреннее напряжение немного спало. С человеком, которого собираются расстрелять, так не разговаривают. Значит, умный Петерс понял, что предложение здоровое.

— Вы хотите сказать, что Рейли тут ни при чем?

— Да. Похоже на совпадение. Судите сами: стал бы глава заговора уезжать в Питер, если в Москве готовилось покушение на товарища Ленина? Неужто Урицкий важнее Ильича?

«Судите сами» — это уж точно был разговор не с изменником, а с соратником. Или с сообщником, неважно.

— Но для дела ведь лучше, чтобы за этими покушениями стояла Антанта? — раздумчиво произнес Эдуардс. — Что нам пользы, если тут всего лишь эсеровщина?

Он нарочно сказал «нам» — и Петерс не одернул, не возразил, а подхватил:

— Эх, если бы петроградские товарищи смогли арестовать самого Рейли, но это вряд ли. Он наверняка попытается скрыться за границей, от Питера до нее рукой подать. Но для процесса по «Заговору послов» нам понадобятся обвиняемые. Локкарта и Гренара мы, конечно, задержим, однако прямых улик против них нет. Единственный свидетель — вы, но показания сотрудника ЧК будут выглядеть неубедительно. Нужно выйти на британскую подпольную сеть и всех арестовать. Как это сделать? Видели вы во время ваших встреч кого-то кроме Рейли?

— Нет. Он всегда приходил один.

— Черт! Мы осторожничали, не вели слежку и в результате ничего о нем не знаем. Ни адресов, ни контактов. КромИ убит. Что-то

наверняка знает Локкарт, но он ведь не скажет... Хм, а что если...

Петерс не договорил, уставившись на лампу. Там на стеклянном колпаке подрагивала черно-серыми, безупречными по цветовой гамме и сдержанному узору крылышками ночная бабочка.

* * *

Мария Игнатьевна Бенкендорф раскладывала пасьянс «Devil's Dozen» и ни о чем не думала, как ни о чем не думает кошка, блаженствующая под лучами солнца на подоконнике. Думать Мария Игнатьевна начинала только тогда, когда этого настоятельно требовала жизнь, а когда не требовала — просто жила.

Разноцветные карты, Арлекины, Коломбины, Пьеро и Бригеллы, ложились на стол красивыми гирляндами. Пасьянс был непростой, поэтому время от времени, нечасто, Мария Игнатьевна брала с края серебряной пепельницы длинную американскую сигарету и затягивалась. У всякого другого сигарета давно погасла бы, а у Марии Игнатьевны ровно, послушно тлела. Ее любили не только люди и животные, но и вещи.

В коридоре раздались шаги.

Мура немножко удивилась, что Роберт вернулся так рано. После того, как какая-то сумасшедшая женщина стреляла в сумасшедшего Ленина, Локкарт с утра до вечера разъезжал по своим таинственным дипломатическим, а может быть, и не дипломатическим делам, которые Муру совершенно не интересовали. В одиночестве она не скучала — не умела скучать. Лакей Доббинс, устав от русского беспорядка, уехал в Англию. Мария Игнатьевна могла бы уговорить и Роберта вернуться в нормальный, разумный мир, взять ее с собой. Сила убеждения у нее была колоссальная. Но Роберта в Лондоне ждала законная супруга, поэтому Мура ничего не предпринимала. Солнце светит, подоконник тепл, наружу, где всё скверно, смотреть необязательно, думать про будущее — тем более.

— Минутку, милый, — сказала она по-английски, не оборачиваясь. — Никак не решу, что делать с бубновой десяткой.

— В десятку нужно стрелять, — произнес незнакомый голос, тоже по-английски, но с резким акцентом.

На пороге стоял мужчина в фуражке с красной звездочкой, в перепоясанном ремнем френче. Широкий лоб, вьющиеся волосы, взгляд насмешливый.

В моменты опасности (а то, что момент опасный, сомнений не было) Мура не пугалась, а внутренне подбиралась — опять-таки по-кошачьи.

— Кто вы? — спросила она. — Как вы вошли?

В непростой ситуации она всегда задавала простые вопросы.

— Я Петерс, заместитель председателя ВЧК. Вошел при помощи ключа. У нас, разумеется, есть копии ключей от всех интересующих нас квартир. Квартира мистера Локкарта безусловно из этой категории.

Он перешел на русский, на котором тоже говорил не вполне чисто.

— Зачем вы пришли? — задала Мария Игнатьевна следующий простой вопрос. — Если вам нужен господин Локкарт, то его нет, и я не знаю, когда он будет.

— А я пришел к вам, гражданка Бенкендорф. — Чекист, не дожидаясь приглашения, сел, закинул ногу на ногу. — Или *за* вами. Это будет зависеть от вас. Смотрите, какая у нас ситуация. Арестовать Локкарта без решения Совнаркома я не могу. Но вас — запросто. На улице ждет автомобиль. Я отвезу вас в Лубянскую внутреннюю тюрьму, и скорее всего вы уже никогда оттуда не выйдете. Протесты мистера Локкарта мы оставим без внимания. Вы не член его семьи, вы обычная советская гражданка.

Жизнь действительно требовала работы мысли. Быстро всё взвесив, Мария Игнатьевна спросила:

— А что нужно сделать, чтобы вы не увезли меня на вашем автомобиле?

— У Локкарта прекрасный вкус, — одобрительно заметил товарищ Петерс. — Мне рассказывали, что вы уникальная особа. Вижу: это правда. Ни слез, ни истерики, даже голос не задрожал. Понимаете, мадам Бенкендорф, я делю людей на два разряда. На тех, кто мне мешает, и тех, кто помогает. Первых я при первой возможности убираю со своей дороги, вторых ценю и поддерживаю.

— Это очень разумно, — признала Мура. — Но разве я вам чем-то мешаю?

— Тот, кто может помочь, но не помогает, попадает в первый разряд.

— И чем же я могла бы вам помочь?

— В перспективе очень многим. И если мы найдем общий язык, я еще не раз обращусь к вам. Но сейчас у меня совершенно конкретное и очень срочное дело. Мне нужно найти лейтенанта Сиднея Рейли и его помощников.

— Я ничего про это не знаю. Роберт не посвящает меня в свои дела. Наши отношения сугубо личные.

Поскольку брови чекиста угрожающе сдвинулись, она прибавила:

— Я видела лейтенанта несколько раз. И Роберт довольно часто о нем говорит. Он очень высокого мнения о Рейли. «На редкость удачная пропорция авантюризма и расчетливости» — вот слова, которые я запомнила. Но где Рейли живет и с кем общается, я понятия не имею. Клянусь вам.

Петерс со вздохом поднялся.

— Очень жаль. Вы ведь понимаете, я могу оставить вас в вашем нынешнем положении, только если вы предоставите мне какие-нибудь сведения, наносящие серьезный ущерб интересам Локкарта и Британии. Иначе вы просто расскажете вашему возлюбленному о моем визите. Ничего с собой не берите, при оформлении и досмотре личные вещи все равно отбирают. Едемте.

— В последние дни Роберт часто отправлял с нарочным какие-то пакеты некоей Елизавете Оттен, — быстро сказала Мура. — Мне кажется, внутри были пачки денег. А один раз я случайно услышала, как он говорит курьеру: «Да-да, это опять туда, в Шереметевский». Номер дома он не назвал...

— Это ничего, — весело воскликнул Петерс. — Номер дома и номер квартиры мы установим. Фамилия редкая. Спасибо вам огромное, Мария Игнатьевна! Считайте, что отныне я вам друг. И даже больше, чем друг: ваш персональный ангел-хранитель. Уберегу от любых невзгод. И, как положено ангелу, время от времени буду вам являться.

В дверях он обернулся.

— Не хочется омрачать новую дружбу угрозами, но, если вы таинственную корреспондентку выдумали, я вам эту бубновую десятку на лоб прицеплю и лично продырявлю.

Мария Игнатьевна не испугалась, потому что сказала правду. Глупо было бы врать.

После того, как чекист ушел, она еще немножко подумала. В сущности, ничего плохого не произошло. Даже наоборот. Жизнь стала защищенной. Раньше не было ангела-хранителя, а теперь появился.

Мура взяла сигарету, которая терпеливо дымила в продолжение всего недлинного разговора, с наслаждением втянула щекотный дым и вернулась к пасьянсу.

* * *

Утром Ксения Аркадьевна пошла к подпольному зеленщику за спаржей, но вернулась очень скоро, бледная и дрожащая. Молча положила на стол газету.

Три дня Сидней провел у Грамматиковых, не выходя на улицу. В городе повсюду проходили беспорядочные, истерические облавы. Вдруг оцепят с двух сторон часть улицы и забирают всех мужчин непролетарского вида. Тюрьмы были переполнены. О судьбе арестованных ходили страшные слухи. Но по сведениям Александра Николаевича сегодня в конце дня должно было восстановиться железнодорожное сообщение с Москвой. Рейли собирался пробиться на первый же поезд.

— Поездка в Москву отменяется, — флегматично сказал Грамматиков, прочитавший газету первым. — Наслаждайся, Сидор, а я пока сделаю кое-какие телефонные звонки.

Поднялся и с необычной стремительностью, топая слоновьими ножищами, отправился в кабинет, к аппарату.

Газета «Известия» была вся посвящена раскрытому в Москве заговору. Передовица называлась «Грязные слуги грязного дела».

«...Низость и беззастенчивость, обнаруженная в этом деле г. Локкартом и его агентами, прикрывшимися дипломатической неприкосновенностью, издавна составляет отличительную черту внешней политики Британии, этого международного хищника и разбойника, грабящего все части света», — быстро читал Рейли и нервно кривился.

Потом шла подборка материалов «Заговор союзных империалистов против Советской России»: «Ликвидирован заговор, руководимый англо-французскими дипломатами во главе с

начальником британской миссии Локкартом, направленный на захват Совета Народных Комиссаров и провозглашение военной диктатуры в Москве». Почти сразу же, во втором абзаце, поминался «лейтенант английской службы Рейли», роль которого, сообщалось в статье, будет подробно описана на третьей странице.

Перелистнул прямо на третью. Читал — не верил глазам.

Большевики раскопали всё. Вплоть до точной суммы переданных денег — миллион двести тысяч. Получить эти сведения ЧК могла только от Берзина. Значит, латыш арестован и дал показания либо решил переметнуться на другую сторону.

Непосредственным главарем заговора был назван Рейли, который, говорилось далее, собирался в момент ареста лично убить товарищей Ленина и Троцкого. Лейтенант объявлялся в розыск, публиковались его приметы. Слава богу, в советской прессе из-за низкого типографского качества не печатали фотографий.

Немедленно бежать, думал Сидней, уже прикидывая, какую границу большевикам труднее перекрыть. И вдруг, в самом конце, прочитал, что московская ЧК произвела обыск на одной из конспиративных квартир, которые использовал скрывающийся Рейли (Шереметевский переулок дом 3), причем арестована не названная по имени «артистка студии Художественного театра». Другие адреса и сообщники устанавливаются. Никто не уйдет от возмездия.

Лизхен!

Вернувшийся в столовую Грамматиков оторопел — обнаружил друга рыдающим. Зрелище было совершенно невероятным.

— Не всё так страшно, — молвил сконфуженный Александр Николаевич. — То есть, конечно, дела плохи и даже очень плохи. Среди петроградцев, которых наобум забрали чекисты, есть члены организации Орлова. Предусмотрительный Владимир Григорьевич пустился в бега. Это значит, что подписанное им удостоверение использовать не нужно. Но я завтра же добуду тебе другое. И есть канал, по которому ты сможешь пересечь финскую границу. Придется чавкать по болотам, но маршрут надежный. Так что не надо отчаиваться.

— Я еду в Москву. Сегодня же, — пророкотал Рейли, утирая глаза ладонью.

— Что?!

— Они взяли Лизу. И несомненно доберутся до Оленьки, это вопрос времени. Я должен их спасти.

— Ты сошел с ума, — констатировал Грамматиков. — Никого ты не спасешь, только себя погубишь. Твоя Лиза уже на Лубянке. Тебя повсюду разыскивают. Это просто нервная реакция. Я налью коньяку. Тебе нужно успокоиться.

Но Сидней был уже спокоен. Глаза высохли, голос больше не дрожал.

— Видишь ли, Саша, лучше быть расстрелянным, чем застрелиться самому. А я обязательно пушу себе пулю в лоб, если брошу в беде женщину, которую люблю... то есть, женщин, которых люблю, — немного испортил он в конце красивую фразу.

Александр Николаевич поневоле рассмеялся.

— Ты идиот, Сидор. Единственный в своем роде. Я не позволю столь раритетному зверю исчезнуть с лица планеты.

Но что мог поделать Грамматиков?

Вечером Рейли стоял на платформе в густой толпе отъезжающих и смотрел, как матросы усиленного караула проверяют документы. Попасть к вагонам, не пройдя кордон, было невозможно.

Матросов было четверо, к каждому тянулась длинная очередь. Понаблюдав минут десять, Сидней пристроился в крайнюю слева — выбрал краснофлотца, у которого на бушлате гордо посверкивала золотая цепочка от часов. Значит, пролетарий нестоек перед буржуазными соблазнами.

— Чё это? — сказал матрос, разворачивая удостоверение.

Там лежало несколько сотенных купюр.

— Как «чё»? Пропуск. Не видно что ли?

Рука в кармане сжимала «браунинг», предохранитель был спущен, дуло нацелено матросу в живот. Рейли уже прикинул, что после выстрела надо будет спрыгнуть на рельсы, нырнуть под вагон. Никто не поймет, что случилось, начнется толкотня, паника — шансы скрыться ненулевые.

«Решай сам, жить тебе или нет», — думал Рейли, спокойно глядя в помаргивающие глаза матроса. Тот быстрым движением прибрал сотенные.

— В порядке. Проходи. Только это... — Понизил голос. — В Москве на приезде снова шмонать будут. Почище, чем тут. Так что ты гляди.

Значит, надо сойти раньше, на предпоследней остановке, размышлял Сидней, идя мимо шлафвагенов. Как опытный пассажир эпохи военного коммунизма, он знал, что самое лучшее место не в купе первого или второго класса, куда набьется людей, как селедок в бочку, а в общем вагоне, под скамьей. Мало кто про это знает. Ложишься на пол, под голову мешок, накрываешься тужуркой и спишь себе под стук колес. Даже уютно.

На рассвете сошел в Клину. Умников вроде него было не так мало, человек двадцать. Чекисты, слава богу, пока знают полицейскую науку плохо, иначе устроили бы здесь, на подмосковной станции, засаду. Всех, кто сошел, можно брать без колебаний — у каждого есть причины пробираться в столицу кривым путем.

Человеческая предприимчивость использует любые открывающиеся возможности, даже столь уродливые как объявленное после 30 августа чрезвычайное положение. На площади ждали частные повозки. Проезд до Москвы — сто рублей царскими, триста керенками или тысяча «советскими». Сидней взял рессорную коляску, запряженную парой крепких лошадок, за двойную плату и пообещал прибавить за скорость.

Доехали даже быстрее, чем нужно. Сидней вышел у Петровского парка и до вечера просидел там на скамейке. Ждал, когда стемнеет. Бороду и усы, указанные в числе примет «лейтенанта Рейли», он сбрил еще у Грамматикова, но куда денешь «нос кавказского типа с выраженными крыльями», «трапециевидный подбородок с ямочкой» и в особенности «хищное выражение глаз»?

* * *

У англичан есть два полезных слова, которые определяют главное человеческое качество: *loser* и *achiever*. Что примечательно, первое без труда переводится на русский — «неудачник». Для второго слова, означающего «тот, кто добивается успеха», точного соответствия нет. Это оттого, объяснял себе Рейли, что русские пессимистичны и любят

печальный финал больше, чем хэппи-энд. В свое время Сидней установил закономерность, по которой всегда можно отличить ачивера от лузера. Если перед человеком стоят две задачи, трудная и легкая, лузер сначала берется за трудную, чтобы, одолев главное препятствие, потом уверенно справиться со вторым. Это большая ошибка. С трудной проблемой можно и не совладать, тогда ты остаешься ни с чем. Ты — лузер. Правильный метод, которым пользуются ачиверы, начать с более достижимой цели, вскарабкаться на небольшой холм и уже оттуда, победителем, подступаться к крутому склону. Даже если сорвешься, всё равно останешься не с нулем, тебе есть что записать в актив.

Никогда, даже при самых жестоких фиаско (их, увы, хватало) Рейли не проигрывал с нулевым счетом. Всегда было чем утешиться.

Так же и теперь он начал с задачи относительно несложной — со спасения Оленьки.

Темными улицами, обходя перекрестки, на которых стояли дозоры (в Москве, как и в Петрограде, был введен комендантский час), Сидней дошел до Малой Бронной.

Услышав голос любимого, Оленька радостно вскрикнула, обняла, не хотела выпускать. От нее пахло домом, нежностью, тихим счастьем.

Потом началась мука.

Он говорил — как можно доходчивей и выразительней, — а она не понимала. Всё переспрашивала: «Как англичанин? Как офицер? В каком смысле заговор?» Мотала головой, словно хотела проснуться. В глазах недоумение, смятение, ужас. Приходилось по несколько раз повторять одно и то же.

Заплакала — горько, жалобно, как маленькая девочка, и всё не могла остановиться. Это разрывало ему сердце. Он гладил Оленьку по голове, ждал, когда бедняжка задаст вопрос.

Наконец она пролепетала:

— Что же мы будем делать?

— Я исчезну. А тебе нужно сделать вот что. Где мой коричневый портфель?

Она принесла. Внутри были оставшиеся деньги, много. Сидней вынул половину, рассовал по карманам.

— Остальное отнеси в ЧК.

— Что?!

— Прямо утром. Скажешь, что твой жених — Сидней Рейли, которого все разыскивают. Ты заподозрила это только сейчас, сопоставив приметы. Заглянула в оставленный женихом портфель, а там пачки денег и пистолет.

Он сунул свой «браунинг» туда же. Ходить с пистолетом по городу, где тебя могут в любой момент остановить и обыскать, глупо.

— Тогда ты окончательно уверилась, что по наивности связалась со шпионом, и как честная гражданка пошла доложить «куда следует». Тебе будут задавать много вопросов. Отвечай правду. Ты ведь действительно ничего не знала.

— А если мне не поверят?

— Тому, кто добровольно принес триста тысяч, обязательно поверят. Еще похвалят. Квартиру перевернут вверх дном, но ничего не найдут. У тебя всё будет хорошо.

— Без тебя мне никогда не будет хорошо...

Она опять разрыдалась, прижалась, всё повторяла: не бросай меня, не бросай...

Терзать ее и себя было невыносимо. Он не остался ночевать, ушел.

Первая задача — технически легкая, но нравственно тяжелая — была исполнена, однако Сидней остался без пристанища. Где-то ведь надо жить?

Он дошел по безлюдному ночному городу до Замоскворечья. Через Устьинский мост перейти на другой берег не смог, там стоял караул. На Краснохолмском мосту никого не было, но там горели фонари. Не рискнул. Сделал крюк до дальнего Новоспасского, где не было ни освещения, ни дозоров. В Татарскую слободу попал только перед рассветом, валясь с ног от усталости.

Нужно было понять, на месте ли Хилл.

Окна темны, но это понятно — ночь. Затаившись позади забора, долго вглядывался. Тьма понемногу рассеивалась. Что это там на двери? Печать или навесной замок? Если печать, то чекисты здесь уже побывали. Наконец увидел: замок. Значит, всё спокойно, но Хилла и его помощницы дома нет.

Выбил стекло форточки, просунул руку, открыл раму, влез. В спальне повалился на кровать, не раздеваясь, немедленно уснул.

Четыре часа спустя так же мгновенно пробудился, сразу встал, принялся осматриваться.

В доме был идеальный порядок, но в прихожей на полу валялся оброненный носовой платок. Значит, собирались организованно, но уходили в спешке. Вещи Хилла в шкафу, бритвенные принадлежности на месте, но это не означает, что капитан сюда вернется.

Одежды у Джорджа было много, на все случаи жизни. Сидней выбрал солдатскую гимнастерку, тертую кожаную куртку, матерчатый картуз. Обнаружил очки в роговой оправе, с простыми стеклами — обрадовался. Вроде мелочь, а внешность меняет кардинально. Посмотрел на себя в зеркало, остался доволен: мелкий совслуж, не на чем задержаться взгляду.

Оставаться здесь было нельзя. Хилл ушел неспроста — видимо, перестал считать эту конспиративную квартиру надежной.

На всякий случай Рейли оставил на столе записку. «Каждый вечер в 9 у Байрона». Чужие не поймут, Джордж догадается. Однажды они говорили о Пушкине, и Хилл сказал, что это русский Байрон — в том смысле, что иностранцам очарование пушкинского слога так же непонятно, как неангличанам магнетизм байроновских стихов. Джордж был любитель поэзии, Рейли над этим подшучивал. Он никогда не понимал, зачем обиняками и витиевато писать о том, о чем можно сказать без околичностей. В гимназии когда-то получил «кол» за сочинение, в котором доказывал, что вместо стихотворения «Бесы» можно было бы коротко написать: «Поднялась метель», никакого другого смысла в этом произведении нет. Сидней и художественной литературы не читал, хотя однажды, совсем молодым человеком, был влюблен в писательницу. Этель тоже его любила — может, как раз из-за того, что он не читал литературы. Общие знакомые рассказывали, будто она потом даже написала про него роман со странным названием «Овод», но эту книгу Сидней тоже не читал. Когда она вышла, он уже любил другую женщину.

* * *

Всякая трудная проблема становится менее трудной, если представить ее в виде лестницы. Не нужно сразу пытаться запрыгнуть

на самый верх. Делишь большую задачу на некоторое количество небольших и поднимаешься со ступеньки на ступеньку, с этажа на этаж.

На первый взгляд ситуация неразрешимая.

Лизхен арестована за участие в ужасном заговоре, который переполошил весь советский муравейник. Ее наверняка держат в самой главной чекистской тюрьме, в подвальном этаже Лубянки. Побег оттуда не устроишь. Ходатайствовать за арестованную тоже никто не станет. Большевики сейчас расстреливают без разбору даже случайных людей, тем более не помилуют участницу заговора.

Но что, собственно, у чекистов против нее есть? Она всего лишь принимала какие-то пакеты для передачи своему возлюбленному. Лизхен не дура и, конечно, говорит на допросах, что не догадывалась о двойной жизни «Кости». Плачет, божится, исполняет роль невинной жертвы коварного соблазнителя — у нее наверняка получается талантливо, она ведь актриса. И всё же подозрения у следователей остаются, а этого по нынешним временам более чем достаточно, чтобы, выражаясь по-совдеповски, «поставить к стенке».

Представляя себе, как озорную, порывистую, страстную девушку волокут на расстрел, Сидней терял самообладание. Он бы пошел в ЧК и сдался, только бы Лизхен освободили. Но это лишь окончательно ее погубит. Женщина, настолько важная для злейшего врага советской власти, не может быть невиновна.

Значит, надо не сдаваться, а строить лестницу.

Первая ступенька — обеспечить коммуникацию.

Трехэтажное здание на Большой Лубянке 11, где раньше находилось страховое общество, а теперь располагалось страшное учреждение, становилось тесным для быстро расширяющейся ВЧК. Некоторое время назад из-за нехватки помещений столовую для сотрудников перенесли в дом на противоположной стороне улицы. Пускали туда по удостоверениям, кормили по спецталонам.

Талонов у Рейли не было, а вот удостоверение петроградской ЧК имелось. Вряд ли дежурный знает, что оно подписано беглым врагом народа. Тут Москва, про товарища Орловского никто и не слышал.

Завтракать и обедать Сидней теперь ходил сюда, как это делал бы питерский чекист, приехавший в командировку. Испытывал острое,

очень приятное чувство. Советская полицейская машина тарахтела на всю мощностъ, искала повсюду злоужасного лейтенанта Рейли, а он преспокойно расположился в самом их логове. Хо Линь-Шунь говорил: «Умный комар прячется на голове у лягушки, которая хочет его сожрать».

Умный комар тихонько садился в углу, жевал купленную на толкучке снеть, посматривал вокруг. Скоро научился отличать сотрудииков аппарата от служащих тюрьмы. Первые были одеты в основном в штатское. «Тюремные» все в гимнастерках, на ремне — одинаковые брезентовые кобуры.

Дальше пригодилась японская физиогномистика. Она называлась «нинсо», когда-то Хо преподавал молодому коллеге ее основы. Делишь лицо объекта на сектора, каждый содержит в себе важную информацию. Всякая складка, морщинка, ямка и выпуклость что-то тебе расскажут. Постигнуть эту мудреную науку всерьез, тогда, в Порт-Артуре, времени не хватило, но суть Рейли уловил и впоследствии многое довычислил сам. Пригодились наблюдательность, интерес к людям и жизненный опыт. Давеча на Николаевском вокзале нинсо помогло правильно определить жадного на бакшиш матроса. Бог даст, не подведет и сейчас.

При втором посещении столовой Сидней выделил одутловатого, плешастого блондина лет тридцати пяти. На щеках прорисована мелкая ухватистость к жизни, на лбу складка практической сметки, нижняя губа обозначает пристрастие к материальным удовольствиям, при этом линия подбородка намекает на то, что человек себе на уме.

Понаблюдал за ним и на следующий день. Завтракать блондин не пришел, явился к обеду. Ел казенную похлебку, но принес с собой бутерброд с копченой колбасой — по теперешним временам роскошь. Сел отдельно. Вероятно, чтоб не завидовали.

Вечером Рейли постоял в подворотне, дождался, когда объект выйдет со службы. Проводил до дома: трамваем до Таганки, потом переулками. Тюремщик жительствовавал в длинном одноэтажном бревенчатом доме, занимая в нем комнату с отдельным входом — тоже роскошно. Похоже, жил один. Через окно с тюлевыми занавесками было видно ковер на стене, пузатый буфет, на столе сверкал начищенный самовар. Домашняя обстановка подтверждала

физиогномический диагноз: не фанатик и не аскет. Поэтому тянуть Сидней не стал.

Постучал. В протянутой руке, веером, толстые пачки «катенек» — это первое, что увидел открывший дверь хозяин. Уставился на деньги, на посетителя, опять на деньги.

— Пятьдесят тысяч. Царскими, — сказал Рейли. — За пустяк. Никакого риска.

— Что? — спросил, хлопая глазами, блондин.

— Только передадите записку, принесете ответ — и получите.

— Что? Какую записку?

— Моей невесте. Она арестована. Находится у вас.

Дальше, конечно, последовали растерянные вопросы. Как вы раздобыли адрес, понимаете ли вы, что это преступление, кто вы вообще такой и прочее.

Но держать незваного гостя на пороге хозяин не стал, дал войти. Деньги Рейли по-прежнему держал перед собой, едва хватало пятерни — ведь пять плотных пачек, по сто банкнот в каждой. Отвечал терпеливо, чувствительно. Он обычный человек; его невеста арестована по недоразумению; подумаешь преступление — передать записку; про вас говорят, что вы человек добрый и не откажете, если вас как следует попросить. Тут в глазах тюремщика зажглись тревожные огоньки. Испугался, стал приставать: кто говорит?

— Кто надо, — прибавил в голос суровости Рейли. — Вы что, мне отказываете?

Белобрысый замигал. Рыло у него явно было в пуху, место-то хлебное. Наука нинсо не подвела.

— А ваша невеста точно у нас? Фамилия какая?

Самый опасный момент позади, подумал Сидней. Мог и кинуться к кобуре, за «наганом».

— Оттен. Елизавета Эмильевна Оттен. Завтра встретимся с вами около столовой на Лубянке. Вы ведь в половине второго обедаете?

Вздрогнул. Это хорошо, пусть побаивается.

— Вот записка. Принесете ответ — получите деньги.

Надзиратель развернул листок, попробовал прочесть.

— У вас тут по-немецки...

— Что ж удивительного, моя невеста немка. Мы с вами договорились? Благородное дело сделаете, Кузьма Иванович.

Это Рейли скосил глаза на грамоту, висевшую на стене за стеклом: «Тов. Лавочкину Кузьме Ивановичу, старшему надзирателю Специзолятора ВЧК, за честное и усердное выполнение служебного долга перед рабоче-крестьянским отечеством».

Теперь Сидней занялся следующей ступенькой.

Квартира в Шереметевском, разумеется, была опечатана, но для опытного человека отделить от кожаной обивки бумажную полоску со штампом — трудность невеликая. Внутри Рейли пробыл не более минуты. После обыска диван был распорот, но тетрадку ведь могли и не заметить. Спрятать ее поглубже, между пружин. Те, кто не нашел ее, получают нагоняй за небрежность. Чекистское начальство не удивится — знает, как криворуки и неумелы его ищейки.

Теперь оставалось только решить вопрос со следующим ночлегом.

Безопасных явок и контактов в Москве не осталось, но выручала русская интеллигентность — вот слово, которого нет в английском. Вчера поздней ночью Рейли походил по подъездам университетского квартала, выбрал дверь с табличкой «Приват-доцент Е. П. Любимцев». Позвонил.

— Кто там? — спросил испуганный голос. В эти сентябрьские дни все ужасно боялись поздних звонков.

— Ради бога, не волнуйтесь, это не ЧК. Откройте, пожалуйста, очень вас прошу, — мягко-премягко сказал Сидней, грассируя на букве «р».

Открыл господин в бархатной куртке, с бородкой, в пенсне.

— Мне, право, ужасно неловко вас беспокоить, но я в совершенно безвыходной ситуации. — Рейли смущенно замялся. — Живу неподалеку, в Камергерском. Какие-то люди стали ломиться в дверь, наверняка чекисты. Я — офицер, это сейчас сами знаете... То есть, я собственно офицер военного времени, а по профессии я востоковед, буддолог... Ах, простите, я не представился: Николай Николаевич Буксгевден... Куда деваться, понятия не имею. Мне бы только ночь провести. Я вас не обременю... — И поспешно: — Если вы откажете, я тотчас уйду! Для вас это огромный риск, и неудобно, я же понимаю...

Ну и как один русский интеллигент откажет другому? Ему Короленко с Чеховым не простят.

Точно таким же манером Сидней устроился и нынче, правда не с первой попытки. Сначала попал на очень милую даму, но она,

оглянувшись назад, прошептала, что квартира «уплотнена», в нее вселили «товарищей». Зато дала адрес своей сестры, с запиской.

Превосходная оказалась женщина, пианистка, только очень уж тощая, просто кожа да кости, не то впору бы и влюбиться. Поговорили о буддизме, о будущем несчастной России, от обсуждения поэмы «Двенадцать» гость уклонился. Рейли прекрасно выпался на стульях, на прощанье хозяйка его перекрестила и так мило покраснела, что захотелось переночевать у нее еще раз и, может быть, уже не на стульях. В конце концов и в худобе есть своя прелесть.

К столовой Рейли пришел за сорок минут до назначенного времени, но встал в подворотне наискосок. Если засада, чекисты обязательно как-то себя обнаружат.

Но ничего подозрительного не было. Точно в час тридцать появился Лавочкин, стал озираться.

— Передали? — спросил Сидней, приблизившись.

Ужасно боялся услышать в ответ: «Такой заключенной у нас нет». Или совсем страшное: «Вывели в расход».

— Пока нет. Оттен с раннего утра наверху, допрашивают. Теперь я выйду в восемь, после смены. Только не здесь меня ждите, не дай бог кто из наших приметит. Вон там давайте, на углу.

Еще несколько часов были проведены в мучительной неизвестности. Рейли рисовал себе картины одна кошмарней другой. До сих пор чекисты на допросах вроде бы пыток не применяли, но после покушения на Ленина они взбеленились, теперь всё возможно. Если они посмели тронуть Лизхен хоть пальцем, достану на черном рынке ящик гранат и закидаю окна гнусного чекистского вертепа, пообещал он себе. Штук десять успею кинуть, прежде чем застрелят...

Однако в восемь появился Лавочкин и передал бумажку, на котором знакомым почерком было написано два слова: «Люблю Багира». Так Сидней называл ее в минуты страсти. Киплинга он не читал, но знал, что Багира — это черная пантера.

Ну вот и всё. Задача, казавшаяся невыполнимой, исполнена.

В записке, которую надзиратель передал в камеру, говорилось: «Вспомни на очередном допросе, как ты видела, что я прячу что-то в Везувии. Ответ подпиши именем, которое я тебе дал».

«Везувием» на их интимном языке именовался диван, ложе любви. Вчера вечером Рейли спрятал там тетрадку с записками о своей

московской деятельности — якобы подготовку будущего отчета перед начальством. Приготовил фальшивку, еще когда ехал в поезде. Там подробно записаны все встречи с «Б.», скрупулезно перечислены переданные суммы, а заодно отмечены ночевки у двух московских любовниц, про которых сказано, что обе дуры, ни о чем не догадываются и используются вслепую. Чекисты, конечно, прочтут этот пассаж Лизхен и Оленьке, чтобы настроить их против него. Обе страшно обидятся, на суде будут клеймить изменщика — и выйдут сухими из воды. А к тому же легче перенесут расставание. Лучше уж обида, чем разбитое сердце.

День получился удачный. В девять, как вчера и позавчера, уже безо всякой надежды, для порядка, Рейли подошел к пушкинскому памятнику — и увидел у фонаря Хилла. Капитан был в засаленной кепке и косоворотке, дымил самокруткой. Заросшая рыжей бороденкой физиономия просияла. Поскольку Сидней не остановился, а прошел мимо, Джордж пристроился сзади, нагнал уже на середине бульвара.

— Увидел вашу записку — не поверил глазам. Был уверен, что вы давно ушли за границу. Локкарт арестован, слышали? Гренар прячется в норвежском посольстве. Какого черта вас принесло в Москву? Вас разыскивают, как Джека Потрошителя. Нужно было не геройствовать, а уносить ноги.

— Вам тоже.

— А при чем тут я? Большевики — ваша сфера. Моя забота — немцы. Война продолжается, я воюю. И вы здорово осложнили мою работу, старина. Пришлось эвакуировать Эвелин. Она не хотела уезжать, но я не имел права подвергать ее такому риску. Отвез к нашим в Вологду и уже скучаю. Знаете, — доверительно понизил голос Джордж. — У меня ощущение, что между нею и мной начало возникать нечто вроде особенной симпатии, если вы понимаете, что я имею в виду.

Рейли лишь приподнял брови. Он был уверен, что капитан и его секретарша давние любовники. Господи, жить под одной крышей с молодой привлекательной женщиной, делить с ней невзгоды, опасности, приключения — и быть таким идиотом. Одно слово — англичанин.

— Мои дела в Москве теперь закончены, — сказал Сидней, выдержав тактичную паузу. — Надо только придумать, как выбраться

из России. Прежними каналами пользоваться нельзя. Документы у меня скомпрометированные, новые добыть негде.

— Возьмите мои, — легко предложил капитан. — У меня отличные. Вот. — Достал из потрепанного бумажника. — Георг Берман, уроженец Ревеля. Можете вполне законным образом вернуться в свою родную Эстонию. Ночью в Петроград поедет мой агент, служащий германского посольства. Половину моего бюджета съедает, жадная скотина. Я ведь не любимчик Локкарта, как вы. Мне столько денег на оперативные расходы не выдавали. Право, езжайте, это отличная оказия. Если вы сопровождаете сотрудника немецкой миссии, вас не тронет никакой патруль.

— А как же вы?

— Меня не разыскивает вся ЧК. В любом случае пора поменять легенду. Да не беспокойтесь вы за меня. И за Локкарта. Большевики его на кого-нибудь обменяют. Он еще мемуары напишет, наплетет с три короба.

Засмеялся и чтобы избавиться от выслушивания благодарностей, перевел разговор на погоду. Одно слово — англичанин, опять подумал Рейли и поддержал метеорологическую тему. С сентябрем чертовски повезло: тепло, солнечно и никаких дождей.

На перекрестке у Никитских ворот распрощались.

— Ну, счастливо.

— И вам, старина.

Были бы русскими — обнялись бы, а так только пожали друг другу руки.

На даче



Улеглись, как обычно, очень поздно, в четвертом часу, поделившись на две «команды». Те, для кого духота хуже комаров, — на открытой терраске, остальные внутри. Дача была спартанская, с одной-единственной комнатой и крошечной кухонькой.

Марат с детства не выносил писклявых кровососов и предпочел бы уж лучше попотеть в закрытом помещении, но присоединился к «комариной команде», потому что Агата выбрала свежий воздух.

Спали прямо на дощатом полу, постелив матрасы: слева, у перил, Марат, потом Агата, потом Коняев и Зеликман. Ну то есть Марат-то не спал. Как только остальные затихли, он приподнялся на локте и стал смотреть на Агату. Сначала ее лица было не видно в предрассветной тьме, потом оно начало постепенно, медленно проступать сквозь мглу, делаясь всё явственней и наконец зазолотилось первым утренним

светом. Зрелище было совершенно захватывающее. Он отгонял от волшебного меняющегося лица комаров и представлял себе, что они живут вдвоем, лежат в постели, скоро она откроет глаза, увидит его, улыбнется и подставит щеку для поцелуя. Какой тут сон.

Эти ночи рядом со спящей Агатой были, наверное, главным магнитом, тянувшим его сюда, в Братово. Всё остальное, конечно, здесь тоже было невероятно интересно, а вчера, когда после общей беседы все отправились на пруд купаться под луной, они остались вдвоем и очень хорошо поговорили, и тем не менее просто, не отрывая глаз, не скрываясь, смотреть на Агату, осторожно наклоняться, вдыхать запах ее волос было ни с чем не сравнимым наслаждением.

Марат ездил сюда третью неделю подряд и каждый раз перед выходными боялся, что семинар отменится.

Участники съезжались вечером в пятницу, потому что почти все ходили на работу. Возвращались в Москву в воскресенье. Жене Марат сказал, что собирает материал для книги.

— Что-то с тобой происходит, Рогачов, только не пойму что, — пытливо поглядела на него Антонина. — Баба у тебя не завелась, это я бы сразу унюхала, но ходишь ты в последнее время какой-то сом намбулой. Может, правда, что-нибудь гениальное рожаешь? Ладно, не буду Софьей Андреевной. Буду Анной Григорьевной. Чувствуй себя привольно, Достоевский. Играй в свою рулетку, если тебе это надо для вдохновения.

К «настоящим живым людям» он поехал, потому что хотел увидеть, кого это Агата считает более интересными, чем блестящих завсегдатаев Гривасовских «воскресников». Марату казалось, что в СССР никого интереснее быть не может.

Поразительно, но всегда уверенная в себе девица, кажется, нервничала.

— Понимаешь, — сказала она (они уже перешли на «ты», как-то очень естественно и просто), — каждый может привести с собой человека, которому доверяет, но... С их точки зрения ты «советский писатель».

Последние два слова были произнесены с легкой гримаской.

— В смысле?

— Ты печатаешься, про тебя пишут хвалебные рецензии, ты член-перечлен, еще и этот говносериял про чекистов... Не сделали бы наши тебе козью морду. У нас там со светскостью не очень. Я знаешь, что придумала. Ты ведь занимаешься историей российского революционного движения?

— Ну да.

— Давай я приведу тебя как докладчика. Прочтешь лекцию. Так будет лучше. Во-первых, не возникнет вопросов, почему я тебя притащила. Во-вторых, пусть они послушают, как ты говоришь. Ты хорошо рассказываешь.

Марат был уверен, что его собираются просто отвести к кому-то в гости, и удивился.

— Какую еще лекцию? Это разве не на квартире?

— На даче. Мы называемся «Обществоведческий семинар», сокращенно «О.С.». Ничего подозрительного. Может, люди штудируют сочинения Маркса и Энгельса. Классно придумано? Моя идея.

Она засмеялась, гордая собой.

У «оэсовцев» (они шуточно называли себя «семинаристами») была в ходу конспирация, в общем-то, очень наивная. В телефонных разговорах полагалось заменять некоторые слова: например, вместо «КГБ» говорили «профком», вместо «самиздат» — «самогонка» («принесу две бутылки самогоночки»), вместо «тамиздат» — «тортик», и так далее. Если назначали время встречи, надо было всегда прибавлять два часа. Разумеется, никаких имен — только прозвища, которые периодически менялись. В электричке полагалось несколько раз пересаживаться из вагона в вагон, по дороге от станции оглядываться и, если сзади шел кто-нибудь подозрительный, на дачу не заходить, вести вероятного «хвоста» мимо.

Участники «Семинара» воображали себя чуть ли не подпольщиками, хотя — Марат понял при первом же посещении — это была обычная интеллигентская говорильня, просто не с оттенком фронды, как у Гриваса, где считали достаточным «истину царям с улыбкой говорить», а совершенно свободная, безо всяких тормозов.

Бедная Россия, думал Марат, всё в ней повторяется одна и та же сказка про белого бычка.

Лекция, которую он прочел во время первого своего приезда, называлась «Николаевская Россия как жандарм Европы». Параллели с

современностью были очевидны. Сверхдержава, претендующая на мировое лидерство; половина Европы покорна воле русского правителя; тотальная цензура и казенщина; всесилие тайной полиции; триада «самодержавие-православие-народность», ныне трансформировавшаяся в «руководящую и направляющую силу советского общества», марксистскую идеологию и риторическое возвеличивание «человека труда».

Слушали с интересом. Первоначальный холодок, который Марат ощутил в момент знакомства (Агата оказалась права), понемногу таял. Потом задавали дельные вопросы, интересно высказывались, спорили. А он думал: «Кружок Петрашевского. Снова приехали туда, откуда давным-давно уехали. У попа была собака».

Едва история чуть-чуть ослабит удавку, немедленно начинают собираться интеллигенты, ломают голову, как бы им осчастливить «простой люд», а «простой люд» видал в гробу их интеллигентское счастье. На следующем этапе начнется хождение в народ, потом будут народовольцы, потом «верхи не могут, низы не хотят»... Национальный гимн России: «А мы просо сеяли, сеяли, а мы просо вытопчем, вытопчем».

Но с другой стороны, а как русской интеллигенции без этого?

Ведь она зародилась в тот миг, когда душа одного коллежского советника страданиями человечества уязвлена стала. Без этого уязвления ничего бы не было — ни русской литературы, ни русской культуры, ни русской мысли. Одна только маршировка под барабан да посвист кнута над вжатыми в плечи головами. И качество личности в этой стране определяется в первую очередь тем, уязвлена твоя душа страданиями других людей или нет. А если да, то до какой степени: чем больше уязвлена, тем большего ты стоишь.

По этому параметру качество братовских «семинаристов» было безусловно выше, чем у гривасовских гедонистов — как те же петрашевцы вызывают больше уважения, нежели говоруны николаевских либеральных салонов. Парадокс, однако, в том, что от либеральных салонов общественной пользы куда больше, чем от бесстрашных борцов. Те же Гривас, Алюминий, Белочка, Возрожденский с их конформизмом, осторожностью, готовностью «играть по правилам», проделывают гигантски важную работу. Они изменяют общественную атмосферу: оживляют мертвое,

очеловечивают скотское, согревают ледяное. Одна песня Алюминия, переписанная на миллион магнитофонов, значит для страны неизмеримо больше, чем самые бесстрашные манифесты, выпущенные в подполье. Точно так же сто лет назад совершенно нереволюционные романы Толстого поворачивали вековую махину российской косности к свету в тысячу раз мощнее, чем задиристые листовки ниспровергателей.

Вот на прошлой неделе, когда Марат приехал на дачу во второй раз, хозяин дачи Коста делал доклад о подготовке альманаха «Хроника сопротивления». Там будут печататься сообщения об акциях протеста против коммунистической диктатуры, о гэбэшных репрессиях, о мучениках и предателях движения. Пусть свободный мир, а главное потомки знают, что в 1960-е годы в стране жили не только безвольные, безропотные овцы, чей удел ярмо с гремушками да бич. Прямо так и сказал «удел», словно какой-нибудь Чаадаев. Но сопротивления-то никакого нет. И тираж издания предполагался сорок экземпляров, причем половина будет переправлена за границу. Оставшихся двадцати вполне хватало на весь круг резистантов. Правда, обсудили, не разбрасывать ли «Хронику» в метро или на вокзалах, но решили, что так только наведешь на свой след «профком».

Сегодня выступал гость из Питера (слово «Ленинград» здесь не употребляли), где существовала своя организация, автономная. Называлась она еще безобидней, чем «О.С.» — «Шахматный клуб».

Кличка докладчика была Казуист. Судя по всему, он был в этой среде человек известный. Возможно, юрист. Во всяком случае с легкостью сыпал номерами статей уголовного и гражданского кодексов, цитировал Конституцию, указы и «подзаконные акты». Лекция была на тему, которая всех здесь очень занимала: как правильно вести себя при задержании и на допросах.

Слушали Казуиста очень внимательно, некоторые записывали. Жена Косты, Тамара, застыла в дверях, непрерывно куря — а обычно, немного послушав, уходила на кухню. Она никогда не садилась к столу, не участвовала в дискуссиях, лишь взглянет на того, кто в данную минуту говорит, и снова смотрит на мужа. Тамара почти всегда на него смотрела, с одним и тем же напряженным выражением тонкого, нервного лица, будто с Костой могло в любой миг что-то

случиться. Худые, какие-то трагические пальцы подрагивали, из-за сигаретного дыма казалось, что они тлеют и вот-вот загорятся.

Марат по своему писательскому обыкновению пытался угадать, что происходит в душе у этой молчаливой горбоносой женщины, как она относится к небезопасным сборищам.

Он знал от Агаты, что детство обоих, и Тамары, и Константина, было еще тяжелее, чем его собственное. Марату относительно повезло с интернатом, куда его сдал дядя. Коста же был сын наркома, заклеянного на всю страну в тридцать седьмом, на самом громком из больших процессов, и расстрелянного по требованию трудовых коллективов всей советской страны. Мальчик попал в детприемник для несовершеннолетних преступников, а оттуда в печально известную КДК — Кировоградскую детскую колонию, ее обычно называли «Кирдык». Там же, в секторе для девочек, выросла Тамара. Ее отец был грузинский совслужащий, занимавший не особенно высокую должность, но он чем-то лично прогневил не то Берию, не то самого Сталина, поэтому с семьей расправились по полной программе: жену расстреляли, маленькую дочку отправили не в детдом, а в «Кирдык». Там, через щель в заборе, разделявшем две зоны, для мальчиков и для девочек, Коста с Тамарой и общались. «Ромео в бушлате и стриженная под ноль Джульетта. «Ты хочешь уходить? Но день нескоро: то соловей — не жаворонок был», — весело рассказывал про это Коста, а Тамара не улыбалась, смотрела на мужа через табачный дым. Марат подумал, что она глядит на мир, словно сквозь щель забора, и видит только своего Косту, потому что знает — вот-вот запоет жаворонок.

Лекция Казуиста (было видно, что он читает ее не в первый и не во второй раз) была остроумная и почти художественная, делилась на главы. Вступительная называлась «Дзюдо с Голиафом»: наш противник, конечно, великан, но он неповоротлив, следует его же силу использовать против него. Советская бюрократическая машина сама выковала оружие, которым с нею можно сражаться. Это оружие — их собственная конституция, их уголовно-процессуальный кодекс, их пристрастие всё документировать и протоколировать.

— Мы с вами не воры в законе, исповедующие «отрицалово», мы правозащитники. Это значит, что мы защищаем право, а оно защищает нас, — говорил докладчик, посмеиваясь. — Не давайте сбить себя с

этой позиции, постоянно тыкайте их носом. «Минуточку, гражданин следователь, зачем же вы нарушаете статью 125 Основного закона СССР? Требую занести это в протокол». Эти две статьи, 125-ую и 126-ую, вызубрите наизусть, до запятой: про гарантию свобод «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя», а также о праве граждан СССР объединяться в общественные организации в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс».

Он продиктовал список всех статей, законов и подзаконных актов, которые нужно знать. Потом углубился в юридические тонкости: как вести себя при задержании, когда отказываться и когда не отказываться от дачи показаний, в чем процессуальная разница между допросом свидетеля и обвиняемого.

Марат наблюдал за этой сценой, словно разглядывал в Третьяковке полотно Маковского «Вечеринка»: уютный свет лампы, сизый дым, накрытый для чаепития стол, светлые лица революционных демократов. Можно было бы отнестись ко всему этому иронически — те же щи, но пожиже, однако ведь всё будет: и аресты, и допросы, и тюрьма, и сума. Как с петрашевцами, которых за еще более невинные посиделки отправили кого в каземат, кого на каторгу, кого в сумасшедший дом.

Временами накатывала паника. Что я-то здесь делаю, зачем оно мне? Чтобы потом писать «Записки из мертвого дома»? Не надо мне сюда таскаться! Но смотрел на Агату, и паника отступала.

Сегодня народу было меньше обычного, всего восемь человек: Казуист, Коста с Тамарой, Марат, Агата, Зеликман, Коняев и Шубин.

Более или менее сошелся Марат пока только с последним. Когда ехали на дачу в первый раз, по дороге Агата расспрашивала про новый роман. Увлеченно рассказывая про Сиднея Рейли, Марат обмолвился, что книга получается совершенно непроходимая, такую в СССР никогда и ни за что не напечатают. Казалось, Агата пропустила это мимо ушей, но на даче, знакомя его с «семинаристами», сказала про бородатого очкарика с запорожской люлькой во рту:

— Вот кто тебе пригодится, чтобы напечататься. Вы побеседуйте, я пойду на кухню Тамаре помогу.

Оба — и Марат, и Шубин (так звали нового знакомого) — очень удивились. Марат — потому что курильщик трубки оказался всего лишь библиотекарем, Шубин — потому что известный писатель нуждается в помощи, чтобы напечататься.

Выяснилось, что Шубин, работая в Ленинке и не имея в СССР ни единой публикации, на самом деле прозаик и много публикуется, но его имя никому неизвестно, потому что печатается он в эмигрантских журналах — разумеется, под псевдонимом.

— Дело Терца-Аржака живет и побеждает, — подмигнул Шубин, попыхивая своим ядреным табаком. — Это я тут голь перекатная, 85 рэ в месяц, а по разным вражеским редакциям у меня накопились груды золота. Пара тыщ долларов уж точно. Не видать мне их никогда как своих ушей, а все равно приятно. И славы тоже не видать — вот уж не дай бог. В «профкоме» пронюхают — поеду за Синявским и Даниэлем.

Марат смотрел на собеседника с почтением. Печататься за границей — это, конечно, был совсем другой уровень признания. Гамбургский счет. В гривасовской компании таких было всего два-три человека, и сам Гривас в число этих небожителей не входил.

— Как бы мне почитать ваши произведения? Принесите в следующий раз что-нибудь, а? Очень прошу.

Шубин изобразил негодование:

— Мои произведения имеются в любом по-настоящему культурном доме. Вот мы сейчас проверим. Эй, Коста! Есть у тебя тут Толстой и Пушкин?

— В Москве, здесь места мало, — ответил с другого конца комнаты хозяин.

— А моё что-нибудь есть?

— Всё есть. Не в квартире же я буду твою антисоветчину держать.

Марату дали номер нью-йоркского «Нового журнала», о котором прежде он только слышал, а в руках держал впервые.

— Вот, на 28-й странице. Раздел «С Той Стороны». Три рассказа. Попробуйте угадать, который из них мой.

Сразу после доклада о жандарме Европы и обсуждения Марат пересел в угол, под лампу, жадно погрузился в чтение.

Все три рассказа были напечатаны под нарочито очевидными псевдонимами: Иксов, Игреков, Зетова; в сносках сообщалось, что

редакция по понятным причинам не дает биографических справок об авторах.

Рассказы были такие. Первый — про Новочеркасский расстрел 1962 года. Написан от лица мальчишки, который с жадным любопытством наблюдает за «бузой», сидя на дереве, и падает, сраженный пулей, когда солдаты дают предупредительный залп в воздух. Второй — про девушку-колхозницу, пытающуюся узнать правду о раскулаченных деде и бабке. Третий — про то, как студенты обнаруживают в своей среде предполагаемого стукача и подвергают его остракизму, а парень ни в чем не виноват и, чтоб доказать это, пытается покончить с собой.

Материал во всех трех произведениях был очень сильный, качество письма — так себе.

Когда Марат отложил журнал, подошел Шубин:

— Ну, который рассказ мой?

— Все три написаны одной рукой, — ответил Марат, хотя можно было бы и проявить деликатность. — «Иксов», «Игреков» и «Зетова» — это всё вы.

Шубин был поражен:

— Кто вам сказал? Агата? Но она не в курсе. Я вообще никому из наших не говорил... Это мой способ защиты. В «тамиздате» я всё печатаю под разными псевдонимами. Чтоб дезориентировать гэбуху.

— Тогда вам следует лучше продумать стилистические особенности каждого из ваших двойников. Если будет расследование, тексты отдадут опытным экспертам-филологам, они просчитают частотность словоупотребления, проанализируют морфологию, строение фразы и придут к тому же выводу. У вас все три автора одинаково используют инверсию, любят опускать местоимение-подлежащее — не «Он поехал туда-то», а просто «Поехал туда-то, сделал тот-то», и в диалогах у разных персонажей встречаются похожие речевые обороты.

Очень расстроенный, Шубин схватил журнал, принялся перелистывать.

— Если хотите, я могу вам помочь при подготовке следующей рукописи, я ведь профессиональный редактор, — предложил Марат. — Не подумайте, не для правки — каждый автор пишет по-своему. Исключительно для конспирации.

Предложил не от душевной широты, а потому что Агата права: если он решится отправить роман «Сэйдзицу» за рубеж, дружба с Шубиным пригодится.

Другой член «семинара», Зеликман, был физик — как он сам про себя говорил, «ядерщик-расстрига». Раньше работал в лаборатории у академика Штерна, отца Агаты. Во время Карибского кризиса находился в Арзамасе-16, куда срочно отрядили всех сотрудников работать в круглосуточном режиме, и, по его выражению, испытал «арзамасский ужас»: понял, что участвует в преступном деле — создает оружие, которым политически ненормальное государство СССР может уничтожить жизнь на планете. Будучи человеком математического ума, Зеликман пришел к выводу, что будет логично сначала привести в норму государство, а потом уже заниматься рискованными научными изысканиями, которые к тому же скорее всего утратят смысл после нормализации мировой политики.

Это Зеликман ввел Агату в круг «семинаристов», он знал ее чуть ли не с детства. «Алик жуткий зануда, но я его люблю, он очень хороший», — сказала Агата. Когда женщина кого-то любит в романтическом смысле, она не скажет про своего избранника «очень хороший», поэтому Марат сразу проникся к рыжему зайке симпатией.

А вот с Коняевым, агентом «Госстраха», отношения сразу не задались. Он единственный из всех не оттаял во время лекции, потом задавал колючие вопросы, пытался блеснуть начитанностью по части народовольцев и бакунистов, но фактами владел неважно, пару раз напутал в хронологии событий, а когда Марат его поправил, еще больше разозлился. Он и потом всё посматривал волком, искры между ними так и сыпались. По своей привычке Марат попробовал «переселиться в образ», увидеть себя глазами Коняева, чтобы разобраться в причине этой неприязни. И разобрался как дважды два. Достаточно было понаблюдать, как бледный брюнет, покусывая тонкую нижнюю губу, поглядывает на Агату. Тоже в нее влюблен. И когда она привезла на дачу другого мужчину, к тому же известного писателя, Коняев запаниковал.

Это был человек нервный, но хотевший казаться сдержанным; внешне холодный, но внутренне страстный. У него была своя теория сопротивления. Коняев считал, что революция сама собой не произойдет, потому что главное страдание русского народа — не из-за

отсутствия свобод, а из-за отсутствия рубля на опохмелку. В страховые агенты он пошел для того, чтобы встречаться с большим количеством людей и лучше знать состояние умов. «Умов как таковых не обнаружено, — говорил Коняев, презрительно кривя рот. — Обнаружена популяция приматов, которым еще развиваться и развиваться до прямохождения. Наша с вами миссия — ускорить этот эволюционный процесс».

Увлекаясь, он сыпал именами теоретиков европейского левого движения, которое движется в том же направлении. Единственный способ расшевелить, разбудить «приматов» — гальванизация, воздействие электрическим током, то есть сильными ударами по психике, которые создадут у массы ощущение тревоги, недовольства действительностью, заставят людей «включить мозги».

— Нужно искусственно генерировать сейсмические толчки, — говорил, например, сегодня Коняев после лекции Казуиста, то и дело бросая взгляды на Агату, слушающую его очень внимательно. — Во Франции и в Германии люди, которые не боятся революционно мыслить, ставят вопрос ребром: готовы ли мы заплатить за превращение стада в народ безжалостную цену? Готовы ли мы к прямому действию? Готовы ли мы поджечь дом, чтобы его обитатели выбежали на улицу и начали действовать? Тем более, что их дом — клоповник и свинарник, которого не жалко. Если мы кинемся в огонь первыми, не боясь сгореть — да и сгорим, черт с нами — это даст нам моральное право быть жесткими, даже жестокими.

Надо будет сказать Агате, что всё это уже было и ни к чему хорошему не привело, думал Марат, тоже посматривая на соседку. Рассказать про петербургские поджоги 1863 года — тогдашние Коняевы тоже надеялись «расшевелить обывателей». Прочитировать «Катехизис революционера». Вот еще новый Нечаев выискался.

Но когда все ушли на пруд и они с Агатой оказались вдвоем, Марат, конечно, сначала спросил про роман — не терпелось узнать, понравилось или нет. Неделю назад он дал прочитать ей часть про восемнадцатый год, при том что остальные части пока находились в работе. Такое с ним происходило впервые — чтобы он показывал кому-то недописанное произведение. Но внутренний голос, который был умнее и чутче Марата, тот самый голос, который диктовал ему

текст в самые плодотворные минуты, шепнул: «Если ты чем-то и можешь ей понравиться, то только своим умением рассказывать истории. Это лучшее, единственно интересное что в тебе есть». Очень волнуясь, Марат вручил Агате папку, в ней сотня машинописных страниц. С того дня они не виделись, сегодня в Братово добирались порознь. Честно говоря, он еле высидел лекцию и дискуссию, еле дождался возможности поговорить.

— Ну, как тебе роман? Получается или нет? — нетерпеливо спросил он, едва за шумной компанией закрылась калитка.

— А что с ним было потом, с Сиднеем Рейли? Расскажи. Не буду же я ждать, пока ты дальше напишешь.

Это был самый лучший ответ из всех возможных. Марат вздохнул с облегчением.

— Сядем в беседке? Там обдувает.

Сели. В темноте загорелись два огонька. Агата курила свои ароматные американские сигареты, Марат смолил «Беломор».

— Там будет еще две части. Про девятнадцатый год и про двадцать пятый. Осенью восемнадцатого Рейли с невероятными приключениями, через оккупированную немцами территорию, выбрался из Советской России, сделал доклад высокому начальству и почти сразу же был откомандирован обратно. Лондон никак не мог определиться, как быть с «русской проблемой». Германия наконец побеждена, теперь главной головной болью становится красная Москва. Понятно, что иметь дело с большевистским правительством невозможно, но как от него избавиться, на кого опереться? Разобраться в хаосе российских событий было очень трудно. Рапорт, представленный Сиднеем Рейли, продемонстрировал, что этот офицер с его знаниями, пониманием ситуации, энергией, связями является ценнейшим ресурсом. Рейли, по-прежнему всего лишь лейтенант, едет на юг России, чтобы быть ушами и глазами Форин-оффиса.

Джордж Хилл, тоже вернувшийся домой после победы и мечтающий о мирной жизни, получает вызов в министерство. Бедному капитану объявляют, что Рейли требует его в помощники, отправляться в путь нужно сегодня же. Рейли говорит приятелю: «Спорим на пятьдесят фунтов, что ты опоздаешь на поезд?». Джорджу ужасно не хочется возвращаться в Россию, но он человек долга. В последнюю минуту он успевает-таки на вокзал и получает от смеющегося Рейли

деньги за проигранное пари. Сидней-то счастлив. Ему хочется делать историю.

Покрутившись в Севастополе, Екатеринодаре, Ростове, завоевав доверие генерала Деникина, Рейли очень скоро понимает, что судьба гражданской войны решится не на Дону и не на Кубани, а в Одессе.

— Почему в Одессе? — спросила Агата.

Рассказывать любимой женщине о любимом деле — лучшее занятие на свете, подумал Марат. Он волновался — боялся, что она заскучает. Это будет ужасно. Но Агата не сводила с него глаз, и вопрос задала хорошо, заинтересованно.

— Потому что в феврале-марте девятнадцатого года в Одессе высадились войска Антанты. В основном французские — довольно значительные силы. А с бывшего турецкого фронта по Черному морю могли прибыть целые дивизии закаленных в боях солдат. Если бы они соединились с Деникиным, плохо организованная Красная Армия рассыпалась бы под таким ударом, и большевикам пришел бы конец. Итак, всё зависело от решения французского командования. Но французы, как и англичане, никак не могли понять, ввязываться ли им в чужую войну и, если ввязываться, на кого ставить? Может быть, на Петлюру, который, в отличие от Деникина, не собирается восстанавливать «единую-неделимую»? Независимая Украина стала бы отличным буфером, который обезопасил бы Европу от непредсказуемой России, да и обойдется такое решение намного дешевле, чем поход на Москву. Или следует ориентироваться на другую новую страну — Польшу? А может быть, самим вырастить русского диктатора, который будет целиком зависеть от Парижа? Такой человек в Одессе имелся, весьма перспективный. Молодой генерал Гришин-Алмазов, который только что с очень небольшими силами, героически, сумел взять Одессу под свой контроль, выбив оттуда и петлюровцев, и красных. А город был огромный, богатый, третий по величине в России после Питера и Москвы. Из-за наплыва беженцев с севера там скопилось восемьсот тысяч человек, вся бывшая Россия в миниатюре. Знаменитые писатели, артисты, миллионеры, светские красавицы, оборотистые дельцы! Кафе и рестораны переполнены, в опере поют Собинов и Липковская, снимаются фильмы с Верой Холодной, в местных газетах печатаются Бунин и Аверченко. Фантастически интересная фактура!

Марат захлебнулся — слишком быстро говорил. Заставил себя убавить темп. Нельзя было вываливать на слушательницу слишком много информации — утонет.

— Для писателя во всей одесской эпопее самое увлекательное — невероятное обилие поразительно интересных людей. А есть железная формула художественной наррации: количество персонажей первого и второго плана ограничено заданным объемом, иначе получается сумбур и каша, как в «Докторе Живаго». У Толстого в «Войне и мире» — это сто авторских листов — пятнадцать основных действующих лиц. Остальные персонажи эпизодические. Это считается классической пропорцией для неспешной прозы девятнадцатого века: один к семи. Открытия, сделанные современными авторами, позволили скомпрессовать этот коэффициент до трех листов на героя. У меня разработана собственная технология, которая позволяет сократить его еще больше, до полутора листов. Но я могу, не нарушая общей композиции, выделить под вторую часть (там почти автономное произведение, повесть внутри романа) только семь, ну восемь листов! Это пять героев. Очень трудно выбрать, на ком сфокусироваться. Глаза разбегаются. Хочется превратиться и в этого, и в этого, и в этого. Учти, что два обязательных героя у меня уже было: сам Рейли плюс совершенно поразительный Орлов-Орловский, которого в первой части я едва наметил. Неугомонный Владимир Григорьевич выныривает в Одессе и становится ключевой фигурой — начальником контрразведки у Гришина-Алмазова.

— Правда?! Расскажи про него.

— А сам Гришин-Алмазов! — Марат возбужденно рассмеялся. — Сейчас он почти забыт, но тогда, в восемнадцатом и девятнадцатом, многие говорили: явился русский Бонапарт. Господи, какая судьба! Обычный армейский офицер, после развала империи оказавшийся в глуши, в Новониколаевске, он в обстановке всеобщей разрухи и апокалипсиса, когда вся Россия орет «Спасайся кто может!», практически в одиночку создает боевую организацию, разворачивает ее в целую армию, шестьдесят тысяч штыков, подчиняет всю Сибирь, становится военным министром нового правительства. Опасаясь «брюмера», другие члены правительства объединяются против Алмазова, выдавливают его в отставку. Он вдвоем с адъютантом, верхом, с приключениями, отправляется на противоположный конец

страны. Оказывается в Одессе. Там анархия. Австрийский губернатор фельдмаршал-лейтенант фон Бельц после капитуляции Центральных держав застрелился. Город во власти налетчиков Мишки Япончика. Наступают банды атамана Григорьева. В рабочих районах действуют большевистские отряды. Но Алмазов возглавляет небольшой отряд добровольцев и всего за сутки, одним только бесстрашием и железной волей, подчиняет себе весь громадный город. Это был очень сдержанный человек с леденящим взглядом, обладавшим гипнотической силой. Когда его офицерскую дружину окружили превосходящие силы петлюровцев и прислали ультиматум: десять минут на сдачу, генерал ответил: «А я даю пять минут на сдачу вам, после чего вы все будете уничтожены». Сказано это было с такой уверенностью, что противник поспешно отступил. Столь же решительно Алмазов расправился с налетчиками, которые устроили на него несколько покушений. Япончик прислал генералу письмо, предлагая мир. Его превосходительство ответил, что с уголовниками в переговоры не вступает. Неудивительно, что французы от Алмазова были в совершеннейшем восторге и сделали его фактическим диктатором Одессы. Формально он подчинялся Деникину, но денег, людей, ресурсов у Алмазова было больше, чем у главнокомандующего, между ними все время сверкали молнии. Главное же Алмазов находился в непосредственной близости от французского штаба, который держал в своих руках судьбу России. Потому-то Рейли в Одессу и отправился: чтобы примирить Алмазова с Деникиным и убедить французов поддержать Белую армию. Если бы миссия удалась, мы сегодня жили бы в другой стране.

— Он был такой человек-машина, этот Алмазов? — спросила Агата. — Живой робот?

— Только в бою и в критические моменты. В частной жизни был страстен, жаден до жизни, влюбчив. Имел слабость к певицам. Очевидно, был из тех мужчин, кто любит не глазами, а ушами. К нему, например, была равнодушна первая красавица эпохи, Вера Холодная, но Алмазов предпочел безмолвной звезде поющую — колоратурное сопрано Лидию Липковскую, известную во всей Европе и Америке. Жена Алмазова кстати говоря тоже была певица. Я пытаюсь нарисовать причудливый мир причудливого человека, который по-настоящему живет только в мире музыки. Какой робот, что

ты! — Марат засмеялся. — Тэффи очень смешно и с большой симпатией рассказывает про одесского диктатора в своих воспоминаниях. Любимое словечко у него было «подчеркиваю». «Сегодня очень холодно. Подчеркиваю: очень». «Сердечно рад вас видеть. Подчеркиваю: вас». С дамами был изысканно вежлив. С мужчинами — по-разному.

— Хотела бы я с ним познакомиться, — вздохнула Агата. — Не sounds cool.

Марат улыбнулся, очень довольный.

— Погоди, я тебе еще не рассказал про другого своего героя, Жоржа Лафара. В первую очередь ты захотела бы познакомиться с ним.

— А это кто? Французский интервент?

— Не французский и не интервент. Совсем наоборот. Чекист.

— Фу, — поморщилась она.

— Ничего не «фу». Представь себе парня твоего возраста, кудри до плеч, белозубая улыбка, нахальный взгляд. Потомок французских аристократов, чуть ли не маркизов. Стихотворец с бантом на шее, который в свободное от борьбы с контрреволюцией время декламировал свои вирши в знаменитом «Кафе поэтов». И кстати говоря он был не большевик, а анархист, рыцарь мировой революции. Бесшабашная смелость, быстрый ум и трезвый расчет — нечастое сочетание. Если внутренний ключ к Алмазову — пение сирен, то Лафар — это надрывная поэзия Серебряного века, вся выросшая из пушкинского «упоение в бою и бездны мрачной на краю». На раннем этапе ВЧК там попадались подобные деятели. Потом их, конечно, всех смело аравийским ураганом и дуновением чумы, Лафар всё равно бы не выжил.

— Эх, ладно, знакомь с этим, — отчаянно махнула рукой Агата. — Чекист так чекист. У всех свои недостатки.

— Такое ощущение, что в феврале 1919 года только два человека понимали колоссальное значение Одессы: лейтенант Рейли и вождь большевиков. Несмотря на то, что у Ленина миллион разных проблем, обрушившихся со всех сторон, он приказывает Дзержинскому и Петерсу считать одесское направление главным. Туда один за другим отправляются лучшие агенты — в первую очередь владеющие французским языком. Одним поручено вести пропаганду среди солдат

и матросов Антанты, другие собирают информацию, третьи налаживают связь с местным подпольем и переориентируют его на агитационную работу. У Лафара особое задание, практически невыполнимое. Он должен найти доступ к самой верхушке французского командования, определить, кто там ключевая фигура, и попробовать подкупить этого человека.

— Ничего себе!

— Фантастический план, да? Республика нищая, денег в казне нет, но Лафару выдают мешочек с конфискованными у буржуазии бриллиантами. Кроме них у Жоржа ничего нет, только пароль, дающий доступ к секретному агенту, звезде кинематографа Петру Инсарову, такому конфетному красавцу — тоже безумно интересный был тип. Инсаров вводит Лафара в художественно-артистический бомонд Одессы. Там запросто бывают и Гришин-Алмазов, и высшие чины французского экспедиционного корпуса. Довольно быстро Лафар выясняет, что ему нужен полковник Анри Фредамбер. По должности это всего лишь начальник штаба, но командующий генерал Д'Ансельм в российских делах разбираться не желает и все политические решения доверяет своему помощнику. Отчеты в Париж составляет тоже Фредамбер. Он и есть последний из моих героев. С ним ты, пожалуй, знакомиться не захотела бы — так себе личность. Любитель хорошей жизни, хороших денег и хорошеньких женщин. Невысокого полета птица, внезапно ощутившая себя очень важной персоной. Все вокруг него вьются, о чем-то просят, сногшибательные красавицы, о которых он прежде не смел и мечтать, сами ложатся к нему в постель. В литературном смысле мои главные герои создают такую пятиконечную звезду. Три луча — Рейли, Алмазов, Лафар — сияют ввысь и вширь, два, Орлов с Фредамбером, вниз.

— Про Рейли и Лафара тебе, наверное, писать интереснее, чем про Орлова и Фредамбера?

— Мне про всех интересно. Даже про третьестепенных персонажей. У меня в голове такой тумблер. Нет, скорее это похоже на ручку настройки в радиоприемнике. Я ее кручу, слышу треск, нахожу точную волну и слышу голос или там музыку... Вообще-то Фредамбер тоже прелюбопытный субъект. Его фамилия латиницей пишется «Freudenberg», и в городе, разумеется, сразу распространились слухи, что он одесский еврей, только скрывает. На самом деле полковник был

эльзасского происхождения, из семьи потомственных военных. Когда я настроился на его волну, я услышал поскрипывание рулеточного колеса, звон золота, ощутил волнуемый аромат азарта. Мой Фредамбер играет с судьбой, ставит на zero и жадно придвигает к себе разноцветные фишки. Он чуть не погиб на мировой войне, и с тех пор ему кажется, что жизнь — это такой случайно сорванный банк и всё в ней не вполне настоящее. Может быть, он вообще убит там, под Верденом, и никакой реальности не существует.

— А ты за кого? — спросила Агата. — Я не пойму. Ты про каждого рассказываешь, как будто ты на его стороне.

Марат удивился. Он никогда об этом не задумывался.

— Я? Ни за кого. За всех. Против всех. Я как природа. За кого она? Я просто пытаюсь описать, как всё было. Как всё *могло* быть, потому что никто ведь точно не знает, что каждый думал и чувствовал, даже если факты в общем известны. Хотя они не очень-то известны. Много спорно, недостоверно, в разных источниках освещено по-разному. У меня два ярких оппонента ведут борьбу даже не за победу, а за завтрашний — то есть за наш с тобой сегодняшний день. Поэтому всё очень важно. Для меня, для моих читателей. Рейли пытается навести мост между французами и Деникиным, Лафар пытается этот мост взорвать. Через некоторое время Сидней начинает угадывать, что у него есть невидимый, но очень опасный враг. С помощью Орлова открывает охоту и в конце концов разоблачает Лафара. Потому что англичанин старше, опытней, методичнее. В конце концов дело сделано. Рейли отбывает из Одессы обратно в Англию. Лафар схвачен и казнен...

Агата ахнула.

— Расстреляли?

— Есть две версии. Точно известно, что его ночью вывезли на середину бухты и обратно не привезли. То ли застрелили, то ли, согласно одному свидетельству, спросили последнее желание, и Лафар ответил: «Пуля — это так скучно, лучше утопите меня». И его связанного кинули в воду. В общем, вроде бы такая классическая «собачья смерть», а на самом деле нет. Лафар победил, Рейли проиграл. Потому что вскоре после этого Фредамбер убедил французское командование эвакуироваться из Одессы. Интервенция не

состоялась. Деникин был предоставлен собственной судьбе. Большевики выстояли.

— Лафар подкупил полковника?

— Похоже, что да. В последнем донесении Лафара про Фредамбера упоминается некая «Сумма», с большой буквы. Ну а кроме того сразу после Одессы полковник вышел в отставку и открыл в Константинополе собственный банк, непонятно на какие средства. Вот так выглядело решающее сражение Гражданской войны. Оно было почти бескровным.

— Фига себе, — неромантично молвила Агата. — Да, Сове твой роман не понравится. А что было дальше? Ну, с ними со всеми?

— Как положено лучам звезды. Три верхние ярко досияли и погасли. Два нижних тускнели еще долго, до глубокой старости. Гришин-Алмазов, не ужившись с Деникиным, отправился к Колчаку. Переправлялся через Каспийское море, корабль был перехвачен красными. Молодой генерал выстрелил себе в висок и упал в воду. Как и Лафар, нашел свою гибель среди волн.

— А Рейли?

— Интересно, что по официальным данным заклятый враг Советской власти Сидней Рейли тоже погиб в воде — был застрелен при попытке перейти реку на финской границе.

— А на самом деле?

— На самом деле там более хитрая история. Но это будет уже третья часть романа, про двадцать пятый год. После Гражданской войны, когда западные державы смирились с существованием большевистского государства, Рейли не сложил оружия. В его записках сказано: «Человек, преисполненный решимости, способен перевернуть небо и землю». Вот он и пытался. В конце концов чекисты заманили его на советскую территорию и арестовали — тайно, чтобы не вызвать дипломатического конфликта. Напечатали в газетах, что убит, увезли на Лубянку и взяли в обработку.

— Пытали?

— В обычном смысле нет — наоборот, обращались очень галантерейно, как со звездой и всемирной знаменитостью. Следователи вели с ним интеллектуальные разговоры, по ночам вывозили погулять в парке. А потом однажды, безо всякого перехода, объявили, что он сейчас будет расстрелян, и почти сутки продержали в

ожидании казни, несколько раз ее откладывая. Пытка, но психологическая. Рейли всё время надеялся, что переиграет их. Написал Дзержинскому, что согласен сотрудничать. Стал давать показания, но сплошную дезинформацию. Тогда в Кремле поняли, что перевербовать Рейли не удастся, и лично Сталин отдал приказ...

Рассказать финал Марат не успел — в калитку со смехом и шумом вошли купальщики. Всем хотелось выпить, началась кутерьма, допоздна просидели за столом, а потом улеглись. Ночь Марат провел, отгоняя от Агаты комаров. Думал, что ей, конечно, больше подошел бы какой-нибудь самурай из тысячи девятьсот девятнадцатого года, неважно красный или белый, но времена, слава богу, теперь другие, самураи все повывелись, а слушала она его просто очень хорошо. И смотрела как-то по-особенному, совсем иначе. Может быть, она тоже, как Гришин-Алмазов, любит ушами?

На минутку положил усталую голову на локоть и сам не заметил как уснул.

В субботу собрались на завтрак, он же обед, за полночь. На стол поставили кто что привез, а поскольку все безбытные, неприхотливые, продуктов по хитрым местам не «достающие», преобладал всякий подножный корм: сушки, плавленые сырки, простецкая колбаса, какие-то карамельки. Хозяйка сварила картошки, посыпала ее укропом. Когда Марат, немного смущаясь, вынул шпроты, коробку зефира в шоколаде, бутылку «Токая» (всё из совписовского заказа), это вызвало всеобщее оживление, а Коста воскликнул: «Ого, шикаем!» Вино до ужина убрали, пить днем было не в заводе. Тут и по вечерам алкоголем не особенно увлекались, разговоры пьянили сильнее водки.

Пообсуждали вчерашнюю лекцию, порасспрашивали Казуиста о питерских делах, послушали его советы касательно издания «Хроники сопротивления». Специалист посоветовал на титульной странице печатать цитату из Конституции и поменять уголовно наказуемое слово «сопротивление» на что-то нейтральное типа «общественной жизни». У Агаты был с собой миниатюрный киноаппарат — один выездной коллега привез отцу из ФРГ, — и она снимала всех по очереди, якобы брала интервью. «Что вы думаете о генеральном секретаре ЦК КПСС товарище Брежнев?» «Собираетесь ли вы голосовать за кандидатов нерушимого блока коммунистов и

беспартийных?». Марата спросила: «Уважаемый писатель, что вы как инженер человеческих душ думаете о социалистическом реализме?». Поскольку камера звука не записывала, он высказался по полной программе. Агата хохотала.

Было весело и свободно. Наверное вот это ощущение полной свободы — помимо близости Агаты — привлекало Марата больше всего. Не политические разговоры, не лекции, не сами «семинаристы», а какая-то абсолютная раскрепощенность. Будто нет никакой Совы, и все живут в нормальной стране, и ничего не боятся, потому что бояться нечего — только того, что твоя любовь останется безответной.

Перед самым вечером из Москвы приехала Сима Цуканова, дочь покойного классика детской литературы. Здесь все звали ее «Цусима» — она немного косила и была ужасно неуклюжа, ходячая катастрофа: вечно всё опрокидывала, проливала, спотыкалась на ровном месте. Эту сорокалетнюю нескладеху в сильных очках Марат видел во время первого посещения «семинара», на прошлой неделе она отсутствовала.

Оказалось, Цусима ездила по Транссибу в Хабаровск. Отвезла личные вещи отца для только что открывшейся библиотеки, названной в его честь, и участвовала в торжественной церемонии.

Цусима пришла не одна, привела на дачу нового человека — угловатого, не по-столичному одетого парня лет двадцати восьми. Он был в кирзовых сапогах, в застиранной блеклой рубашке, за плечами рюкзак. Знакомясь со всеми, жал руку, говорил «Рыжий». Фамилия или прозвище — непонятно. Волосы у него действительно были рыжеватые.

Марат немного поморщился от ненужно крепкого рукопожатия, назвал только свое имя.

Агата сказала, сердито выдернув кисть:

— Вы что, пальцы мне хотите сломать? «Рыжий» — это у вас фамилия такая?

— Будем так считать, — спокойно ответил парень. — Извините, если помял. Это по дурацкой сибирской привычке. У нас уж жмут так жмут. Иначе вроде как невежливо, без души.

В новой компании гость несколько не тушевался, но и включаться в беседу не спешил. Сел к столу, пригубил чай, принялся всех по очереди разглядывать. На него тоже смотрели, и чем дальше, тем заинтересованней.

Цусима рассказывала, как они познакомились.

— Ехала я обратно из Хабаровска, смотрела в окно на печальную родину. Хороша только природа — реки, леса, горы. Всё, в чем поучаствовали люди, особенно советское государство, серое, убогое, кривое-косое. Наверно, так было и раньше, но ландшафт спасали церкви, монастыри, они будто аккумулировали всю нерастрченную красоту души этого народа, — говорила Цусима, картавя на букве «р»: kwasoty этого навода.

Чрезмерная литературность языка царапала ухо. Марат в своих текстах любую красоту и гладкость из прямой речи выметал, оставлял только для персонажей фальшивых. Но Цусима была искренняя, хорошая тетка, это чувствовалось. Просто, кажется, не слишком умная и не в ладах со вкусом — стилистический медведь на ухо наступил.

— Стоим в Свердловске. Тоскливый кафкианский город, моросит дождик, и кажется, что здесь вообще никогда не бывает синего неба — только тучи, сырость, пропитые сизые рожи на платформе, бабы в ситцевых платках, облупленная штукатурка. Вдруг слышу — свистки. Бежит по платформе человек, рыжий. За ним двое в фуражках. Догнали, схватили за руки. Он развернулся — хрясь одному кулаком, хрясь другому. Вырвался, прыгнул вниз, на рельсы. Там поезд отходит, уже трогается. Так парень — прямо под колеса, и пропал. Служивые пометались, покричали, но под поехавший вагон не полезли. Я подумала: вор, но все равно — какая же удасть! Потом смотрю — милиционеры встали около столба, руками машут. На столбе что-то наклеено — лист бумаги. Один хочет сорвать, другой не дает, что-то доказывает. Люди хотят поглядеть, что́ на листке — эти их отгоняют, и так яростно, будто там бомба, вот-вот взорвется. Мне стало интересно. Спустилась на перрон, спрашиваю проводницу, в чем дело. Она говорит: «Какой-то вражина антисоветскую листовку наклеил. В Барнауле на прошлой неделе, девчонки говорили, то же самое было». Ох, думаю, ничего бы не пожалела, только бы прочитать, что в той листовке. Но это, конечно, было невозможно. Около столба уже целое синее войско собралось, кольцом встали. Поезд отправился. Вышла я в тамбур покурить — а там он! Стоит спокойно так, сигаретку смолит.

Все посмотрели на Рыжего. Он объяснил:

— У меня СКП, служебный ключ проводника. Влезаешь с глухой стороны, когда не видят, и нормально. Я таким манером, бесплатным плацкартом, всю страну объездил.

Но Цусиме хотелось рассказывать самой.

— У меня мягкое двухместное купе, еду одна. Сунула проводнице десятку, она разрешила. Поехали вдвоем. И что вы думаете? На каждой станции он выходил и расклеивал листовки! У меня из окна смотреть — и то сердце замирало, а ему хоть бы что, только посмеивается.

— А что у вас за листовки? — спросил Марат.

— Я всегда одно и то же пишу. Вот.

Рыжий вынул из кармана сложенную бумажку. На ней крупными печатными буквами было написано:

— «Люди русские, не надоело вам сносить кумовскую власть? Пашете за копейки, в магазине мяса-масла не купишь, правды нигде не найдешь, а выборы такие, что весь мир над нами смеется. Женщины, о своих детях подумайте. Мужики, не впадлу вам жить подментованными шестерками? Для того наши деды царя скинули, чтоб заместо него Брежнев сидел? Переписывайте эту листовку и вешайте ее всюду, где люди увидят. Мы народ, нас много. Если мы поднимемся, от коммуны мокрое место останется».

«Семинаристы» передавали прокламацию друг другу, переглядывались.

Казуист со знанием дела сказал:

— Пропаганда, призыв к насильственному свержению власти, клевета на советскую власть, очернение партии. По совокупности десятка, как минимум.

— Доходчиво написано, — сдержанно заметил Коняев. — По крайней мере это не ля-ля, а попытка действовать.

Шубин был взволнован.

— Это то, о чем мы вчера говорили! Неужели задвигалось, зашевелилось?

Вчера заспорили, когда начнется возмущение в народной массе. Коняев был уверен, что само по себе, без активных раздражителей, никогда. Казуист считал, что люди зашевелиются, когда бездарная и неэффективная социалистическая экономика больше не сможет обеспечивать население минимальной потребительской корзиной.

Получалось, что оба неправы. Стихийный агитатор явно был человеком из самой народной гущи — не радищевского, а пугачевского замеса.

— А чего это вы только к русским обращаетесь? — хмуро спросил Зеликман. — Это для вас принципиально — кто русский, кто нерусский?

— Это первое, что я ему сказала! — воскликнула Цусима. — Но никакого национализма тут нет. Объясните им, Миша.

Стало быть, у Рыжего все же было имя.

— А как писать? «Люди советские»? — пожал плечами человек из народной гущи. — Меня от этого слова блевать тянет. Страна у нас Россия. В ней, конечно, много кто живет. Я всюду поездил. С якутами жил, с бурятами, на сейнере с эстонцами плавал, по Кавказу тоже ходил, интересно. Все хотят сами по себе жить, им России не надо. Она только русским дорога. От них, в смысле от нас зависит, как оно тут будет.

Неглуп и, кажется, непрост, подумал Марат. Какой однако типаж! В юности, на Урале, он несколько раз встречал похожих людей — не принимающих установленные правила и живущих по собственному разуму, но все они были «фартовые». Стихийная жажда свободы, заложенная в русский характер, казалось, целиком ушла в уголовную субкультуру.

— А в тюрьме вы сидели? — спросил он.

Рыжий вопросу не удивился.

— По малолетке, сдуру. Но, считаю, это мне повезло.

— Почему повезло?

— В армию потом не взяли. Я бы в армии недолго побыл. Не люблю, когда мной командуют.

— Но разве в тюрьме вами не командовали?

— Так я и не вылезал из ШИЗО. Но в лагере у тебя оружия нет, а у солдата есть.

Спокойно ответил, без рисовки.

Однако Зеликман всё смотрел на него исподлобья.

— Из листовки непонятно, каких политических взглядов вы придерживаетесь.

— Простых. Я Россию люблю. Хочу, чтоб у нас всё по-нормальному было. Не хуже, чем у других. Мы когда около Норвегии

плавали, на берег не выходили, но я посмотрел. Чисто живут, красиво.

Но физика было не сбить.

— А как насчет евреев?

— В смысле?

— Как вы относитесь к евреям?

Рыжий удивился.

— Как человек относится к России, так и я к нему. Если любит — свой. Если не любит — чужой.

Зеликман, кажется, успокоился. Резюмировал:

— Платформа туманная, но не злокачественная.

— Мы об этом все время разговаривали, спорили, — вмешалась Цусима. Она, кажется, нервничала, что гость «семинаристам» не понравится. — Миша очень много читает. У него своеобразный, критичный склад ума. Ни одна из существующих моделей общественного устройства его не удовлетворяет.

— Потому что все для себя придумывают, и правильно делают, — сказал Рыжий. — Американцам хорошо одно: штаты, демократия, адвокаты. А у нас Россия, нам надо по-другому, по-своему.

— Как «по-своему»? — спросила Агата, до этого момента молча наблюдавшая за новым человеком.

— Не знаю пока. Потому и езжу. Смотрю, думаю.

— Я Мише говорю: «Давайте я тоже буду писать листовки, только свои», — снова встряла Цусима. — Он согласился, но вешать мне не дал. «Вы, говорит, в случае чего убежать не сможете. Буду клеить через одну — мою, потом вашу, потом снова мою». Так и доехали на нашем агитпоезде. Половину станций призывали «подняться против коммуняка», половину — бороться за свои гражданские права. Бедный «профком», наверно, совсем запутался.

Она засмеялась.

Рыжий оглядел стол.

— У вас тут чего, не наливают? У меня есть.

Вынул из рюкзака «белую головку», ловко сдернул крышечку.

— За знакомство.

Выпил с ним только Коста — немного пригубил, чтобы не обижать. Парень сразу опрокинул вторую. Он не опьянел, но сделался разговорчив. Смущаться, видимо, он не умел и быстро освоился в компании, которая никак не могла быть ему близкой. Скоро в речи

Рыжего стал помелькивать и матерок. В гривасовской среде это было в порядке вещей, даже считалось своеобразной лихостью, дамы запросто могли завернуть что-нибудь эпатажное, лишь бы было к месту. Рыжий же просто так разговаривал. У «семинаристов» это было не принято. Цусима морщилась, Тамара скоро ушла на кухню, да и мужчин похабные слова коробили. Не одергивают из-за интеллигентского комплекса перед «настоящим человеком из народа», подумал Марат. Своему давно сказали бы: «Полегче, старик, не в казарме».

Пока Рыжий рассказывал про интересное — как он мыл золото на реке Бодайбо, его слушали. Но потом, придя от водки в приподнятое состояние духа, потомок Пугачева стал сыпать анекдотами, и тут все начали разбредаться. Марат продержался дольше других из-за Агаты. Она анекдотам не смеялась, но и не уходила. Наверно ждала, не заговорит ли Рыжий про что-нибудь дельное.

Тут на край стола с дерева капнула пометом ворона, Рыжий немедленно рассказал бородатый, глупый анекдот «хорошо, что коровы не летают», и у Марата терпение кончилось.

Он отдрейфовал в дом, около Рыжего остались только верная Цусима и Агата — последняя, надеялся Марат, ненадолго.

Внутри обсуждали «Богоносца» — такую кличку дал гостю язвительный Казуист. Он говорил вполголоса, что подобных самородков без образования, но с огромным самомнением и тягой к авантюризму очень опасно вводить в свой круг. Они непредсказуемы, подвержены резким сменам настроения. Сегодня он лютый враг «коммуняк», а на следствии его охмурит какой-нибудь иезуит-гебешник, и пролетарий всех сдаст с потрохами. Такое неоднократно бывало. Казуист советовал поговорить с Серафимой, чтобы она как-нибудь поделикатнее отвадила народного агитатора.

— Не уверен, что он опасен, но на «Семинаре» ему точно делать нечего, — сказал Коста. — Я этот тип людей знаю. Они могут или находиться в центре внимания, или замыкаются в себе.

— У чувака в голове каша. Пусть сначала ее доварит, а там посмотрим, — согласился Коняев.

Зеликман покривился:

— Русский национализм всегда попахивает. Рано или поздно заканчивается тем, что русские самые лучшие, а всё зло от евреев.

Заступился за Рыжего только Шубин, но у него имелся свой интерес. Он хотел залучить «Богоносца» к себе в гости на пару дней и как следует порасспрашивать про хождение в народ — отличный будет материал для прозы.

Марат же просто поглядывал в окно, ждал, когда Агате наскучит слушать жеребятину. Он ведь не дорассказал ей про Сиднея Рейли. А еще нужно будет обязательно заинтересовать ее Василием Шульгиным. Во второй части романа он только мелькает, но в третьей станет одним из основных персонажей. Появилась идея, от которой учащенно заколотилось сердце. Если Агата увлечется судьбой Шульгина (а ею нельзя не увлечься), надо будет упомянуть о прошлогодней встрече. Во время работы над сценарием Марат ездил к живому осколку истории во Владимир с портативным репортерским магнитофоном. В свои восемьдесят девять лет старик очень быстро уставал, через полчаса начал заговариваться, но все равно запись получилась уникальная. Агата обязательно захочет послушать. В среду Антонина улетит с делегацией в Будапешт, ее пять дней не будет.

Они впервые окажутся наедине — не на улице, среди чужих глаз, а дома. И момент будет такой, какой надо. Не просто мужчина, а писатель, рассказчик, мастер — это все равно что волшебник. Если между ними не пробежит ток, значит, это в принципе невозможно. Но ток пробежит, обязательно пробежит, сказал себе Марат, вспомнив, с каким выражением лица она слушала про Одессу.

Агата наконец встала и направилась к даче. Он как бы случайно вышел навстречу, на крыльцо.

— Насладилась? Ну у тебя и терпение.

— Он, конечно, в основном несет чушь, но есть в нем что-то... — Она не сразу подобрала слово. — ...Что-то настоящее. Чего нет ни у кого, с кем я вожусь.

Марат был уязвлен.

— Не надо путать примитивное с настоящим. Это обычная засада, в которую попадают интеллигенты. Ты ведь не записная духовка вроде Цусимы. Да, тебе повезло, тебя с детства окружают люди развитые и сложные. Поэтому ты их недостаточно ценишь. Выросла бы ты, как я, в бараках да общагах, относилась бы к своему кругу иначе. Если человек сложен, это не значит, что он ненастоящий. Да та же Цусима. Ведь при всей восторженности душа у нее — червонное золото.

— Золото, золото. И все они золотые. — Агата кивнула на комнату, откуда доносились голоса. — Но, понимаешь, они все состоят из слов. Это замечательные слова, и всё же это только слова. Сложность хороша в литературе, а в жизни нужно быть простым. Вот о чем я думала, когда на него смотрела.

— Что же ты тогда ушла? Слушала бы искрометные шутки и дальше.

— Он спросил, нет ли гитары. Возьму у Тамары.

Петь Тамара не пела, во всяком случае при гостях, но иногда брала старую семиструнную гитару и негромко перебирала струны, словно аккомпанируя разговорам.

У Рыжего оказался неожиданно мягкий, с легкой хрипотцой голос и довольно неожиданный репертуар, в котором блатные песенки чередовались со старинными романсами. При этом концерт всё не заканчивался и не заканчивался. Уже давно стемнело, а гитара брэнчала и брэнчала, сипловатый баритон пел то «Начальничек, ключик-чайничек, отпусти на волю», то «На заре ты ее не буди». В доме спорили о том, является ли уголовная среда потенциально революционным элементом. Марат от этой дискуссии, которая скоро отметит столетний юбилей, клевал носом — сказывалась прошедшая почти бессонная ночь. Так и сомлел, в углу на диване.

Проснулся глубокой ночью, понадобилось в уборную. Было тихо, отовсюду доносилось сонное дыхание.

Светила яркая луна, делила мир на черное и белое. Стараясь не скрипеть, вышел на террасу, попробовал высмотреть, где легла Агата, но терраса вся находилась в черной зоне, не разглядишь.

На обратном пути от дощатой будки вдруг услышал за кустами смородины странные звуки. Что-то там шуршало, вздыхало, шевелилось.

Удивленный, подошел, раздвинул ветки.

Увидел запрокинутое к небу, серебряное лицо Агаты. Она стояла, прижавшись спиной к забору. Мужчина обнимал ее, целовал в шею, Агата постанывала. Ее руки задрали ему сзади рубашку, гладили голую спину.

Марат ахнул, довольно громко. Мужчина, кажется, не услышал, во всяком случае не обернулся. Агата же открыла глаза. Они мерцали и

переливались. Больше всего Марата потрясло то, что Агата не смутилась, а улыбнулась ему хмельной, счастливой улыбкой.

Он попятился, пошел куда-то вслепую, трясущейся рукой вытянул из пачки папиросу, уронил ее и не заметил.

Сел за домом, на поленнице, ерошил волосы, бормотал: «Кретин, какой кретин».

Понял, что утром не сможет смотреть ей в глаза, не сможет вести обычные разговоры — ничего не сможет.

В сером сумраке написал записку: «Ушел на первую электричку. Нужно в Москву». Положил на стол.

По дороге на станцию, чтобы не думать, бормотал стихи.

Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Ахматову:

Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь — уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Возрожденского:

И день лабает скерцо
У солнечной реки.
А что разбилось сердце,
Так это пустяки.

Докатился даже до есенинского «Добрый вечер, мисс».
Хорошо хоть не разрыдался.

**Дело подследственного «№ 73»
(Особое делопроизводство, код ССЧ;
контр. инст. КРО ОГПУ)**



**Помощнику начальника КРО ОГПУ тов. Стырне
Рапорт**

Довожу до Вашего сведения, что согласно полученному от Вас распоряжению со двора ОГПУ выехали совместно с № 73 т. Дукис, Сыроежкин, Ибрагим и я ровно в 8 часов вечера 5/XI-25 г., направились в Богородск (что находится за Сокольниками). Дорогой с № 73 очень оживленно разговаривали.

На место приехали в 8.00–8.15. Как было условлено, чтобы шофер, когда подъехали к месту, продемонстрировал поломку машины, что им и было сделано. Когда машина остановилась, я спросил шофера, что случилось. Он ответил, что-то засорилось и стоим минут 5–10. Тогда я № 73 предложил прогуляться. Вышедши из машины, я шел по правую, а Ибрагим по левую сторону № 73, а т. Сыроежкин шел с правой стороны, шагах в 10 от нас.

Отойдя шагов 30–40 от машины, Ибрагим, отстав немного от нас, произвел выстрел в № 73, каковой, глубоко вздохнув, повалился, не

издав крика; ввиду того, что пульс еще бился, т. Сыроежкин произвел еще выстрел в грудь. Подождав немного, минут 10–15, когда окончательно перестал биться пульс, внесли его в машину и поехали прямо в санчасть, где уже ждали т. Кушнер и фотограф.

Подъехав к санчасти, мы вчетвером — я, Дукис, Ибрагим и санитар — внесли № 73 в указанное т. Кушнером помещение (санитару сказали, что этого человека задавило трамваем, да и лица не было видно, т. к. голова была в мешке) и положили на прозекторский стол, затем приступили к съемке. Сняли — в шинели по пояс, затем голого по пояс так, чтобы были видны раны, и голого во весь рост. После чего положили его в мешок и снесли в морг при санчасти, где положили в гроб и разошлись по домам. Всю операцию кончили в 11 час. вечера 5/XI-25 г.

№ 73 был взят из морга санчасти ОГПУ тов. Дукисом в 8 1/2 вечера 9/XI-25 г. и перевезен в приготовленную яму-могилу во дворе прогулок внутр. тюрьмы ОГПУ, положен был так, как он был, в мешке, так что закапывавшие его 3 красноармейца лица не видели, вся эта операция кончилась в 10–10 1/2 вечера 9/XI-25 г.

Уполномоченный 4 отдела КРО ОГПУ Федулеев».

О твердости и мягкости



Антонина, кажется, только встала. Вышла в маленькую прихожую в халате, с чашкой кофе. Было начало девятого.

Хмыкнула.

— Хм. Лицо трагическое, взгляд потухший. Федор Михайлович спустил всё на рулетке и вернулся к Анне Григорьевне зализывать раны. Я так понимаю, Рогачов, твоя романтическая эскапада закончилась. Оцени мою душевную чуткость, я тебе не то что сцен не устраивала — даже вопросов не задавала. Я у тебя золото. А ведь ты больно ранил мои чувства. Тем, что целых три недели не домогался моего гибкого от йоги тела.

По ухмылке было непохоже, что ее чувства так уж ранены. Проницательность жены Марата не удивила, и отпираться он не стал. Лишь устало махнул рукой да вздохнул.

— Мы в хандре и миноре. У нас кризис эго и пониженная самооценка, — весело продолжила Антонина. — Я знаю надежное средство, поднимающее и самооценку, и кое-что другое.

Она поставила чашку на галошницу, развязала и распахнула халат. Под ним ничего не было.

— Снимите эти ваши, как их, очки.

Антонина изобразила голливудскую секс-бомбу: медленно провела рукой по животу, закусила губу, похлопала ресницами.

Черт знает что, подумал Марат, не в силах оторвать взгляд от ладони, спустившейся к самому низу. Но очки снял и шагнул вперед.

Потом он лежал на диване, смотрел, как она расчесывает спутавшиеся волосы.

Усмехнулась, глядя на него в зеркало:

— Ну всё? Возвращаемся к нормальной жизни?

Он кивнул. Действительно, хорошая жена — та, что понимает тебя без слов, принимает таким, какой ты есть, без осуждения, живет твоими интересами, оберегает и помогает. А любовь тут ни при чем. Любовь в браке вообще ни при чем. Вот о чем следовало бы написать роман. Лев Толстой попробовал, но не справился. Слишком уж хотел быть «не хорошеньким, а хорошим». Но универсально хороших людей не существует. Хорош тот, кто хорош персонально для тебя.

— Тогда позволь тебе напомнить, что операция «Девочка ищет отца» из-за твоего фортеля под угрозой, — продолжила Антонина. От игривости не осталось и следа, теперь она была серьезна. — Ты пропустил два воскресенья. Машка стала говорить про тебя гадости. На самом деле она боится, что ты утратил к ней интерес. Вот и щетинится. Раз ты вернулся в чувство, сегодня обязательно идем в Лаврушинский.

«Девочка ищет отца» — это был какой-то фильм, Марат его не видел.

Когда они с Антониной воссоединились, сразу же возник вопрос: как быть с дочерью? То есть ясно, что после переезда в новую просторную квартиру они будут жить втроем, но ведь отец для Маши незнакомый, совершенно чужой человек.

Антонина стала разрабатывать стратегический план, как Марату установить «здоровые отношения» с дочкой, у которой к тому же еще

и переходный возраст.

Рассуждала вслух.

— Ситуация, конечно, непростая. До недавнего времени у нас про тебя вообще не говорили. Машка в раннем детстве про папу спрашивала, ей что-то врал, потом перестала спрашивать. Нету и нету. Но после «Чистых рук» ты стал у нас в семействе популярной личностью. Папхен без конца вспоминает, как вывел тебя в люди, мамхен сокрушается, что я тогда поторопилась. У Маруси, конечно, ушки на макушке. Что-то такое она про тебя все-таки знает. Я тут обнаружила у нее под подушкой номер «Юности». Там на твоей фотографии карандашом рога пририсованы.

— Да? — упавшим голосом спросил Марат.

— Не пугайся. Это всего лишь значит, что она тобой заинтересовалась. Пытается понять, что ты за фрукт и почему тебя все эти годы не было. Меня не спрашивает, дедушку с бабушкой тоже. У нее сейчас такой период, когда всё в себе. Но теперь я с ней поговорю.

— Как?

— Скажу, что ты не такой, как обычные отцы. Ты гениальный писатель, вроде Фадеева.

— Почему Фадеева, а не Льва Толстого? — обиделся он.

— Потому что они в школе сейчас проходят «Молодую гвардию». Ты помалкивай, Рогачов. Не мешай ходу мысли. Скажу, что с гениями очень трудно. Потому что они живут не для своей семьи, а для всего человечества. Поэтому мы с твоим папой и разошлись. Я не хотела отвлекать его от творчества. Кстати это в общем и целом правда.

— Ты только добьешься того, что Маша будет меня бояться!

— И очень хорошо. Любить — как дочки любят пап — она тебя все равно уже не полюбит. Для этого нужно было читать ей сказки, сидеть рядом, когда она болела корью, успокаивать, если ночью приснился кошмар.

Он виновато заморгал.

— Не переживай. Как сказал Калигула: «Пусть не любят, лишь бы боялись» — это как раз про подростков. Здоровые отношения с ребенком, это когда он не хамит, а относится к родителю с почтением. В этом направлении мы и двинемся. Учти: никаких нежностей, никакого сюсю, главное — никаких покаяний. Будь Тарасом Бульбой: «Поворотись-ка сынку. Экой ты смешной какой!» — вот правильный

аппроуч. Ты как бы проверяешь, достойна ли Машка быть дочерью великого человека. Этой линии и держись. Тогда она будет привставать на цыпочки, бояться, что разочарует тебя. Время от времени давай понять, что она ух какая интересная — но скупю, по чуть-чуть. Так кстати можно завоевать любую женщину — правила в принципе те же самые. Дальше. Самое важное — первое впечатление. Надо показать товар лицом. Она должна увидеть тебя в правильном антураже... — Антонина потерла подбородок. Она сейчас была похожа на Нонну Гаприндашвили, обдумывающую гамбит. — У тебя не запланировано какой-нибудь встречи с читателями или зрителями?

— Нет... Пригласили на открытие мемориальной доски Романа Пилляра, это главный герой серии про борьбу с савинковцами. В следующую субботу. Я не собирался идти...

— Пойдешь как миленький. И заткнешь за пояс других ораторов. А я приведу Машку. Знакомиться с великим отцом.

Заткнуть за пояс других ораторов было легко. После скучных, по бумажке, выступлений секретаря райкома и представителя городского Совета ветеранов Марат выглядел просто Демосфеном. Взволнованность придавала его короткой речи неказенность, даже страстность. Небольшая толпа — пенсионеры, пионеры, милиционеры — зашевелилась и потом долго аплодировала.

Волновался Марат не из-за комиссара госбезопасности Пилляра (1894–1937), который был та еще сколопендра, а из-за долговязой девочки, смотревшей на оратора исподлобья и в финале не захлопавшей.

Антонина подвела ее, когда Марат закончил давать интервью московской программе телевидения.

— Вот, знакомься, — торжественно сказала Антонина. — Как условились. Ты говорил, что твоей работе мешают маленькие дети и что ты начнешь общаться с дочерью, когда ей исполнится двенадцать. Время пришло. Смотри, какая у нас красавица выросла.

Марат испугался, что краснеет. Версия показалась ему совершенно бредовой.

— Интересно, — сказала Маша, глядя не на него, а на мать. — Мне двенадцать еще в декабре исполнилось. Чего это ты столько времени ждала?

Вопроса о том, почему папа не желал ее видеть до двенадцати лет, у девочки, кажется, не возникло.

— Твой отец очень занятой человек, — укоризненно покачала головой Антонина. — Ты представляешь, что такое писать книгу? Попроси папу, он тебе может быть расскажет. Вот что, вы побудьте вдвоем, как следует познакомьтесь, а я пойду.

Так у них с Маратом было условлено. По плану он должен был повести Машу в ресторан ЦДЛ. Там торжественный интерьер, и вообще это ее первый поход в ресторан. «Будем выстраивать в сознании ребенка правильный ассоциативный ряд, — сказала Антонина. — С папой в ее жизнь входит всякое новое, интересное, взрослое. Послушай Василису Премудрую, Рогачов. Так будет лучше».

Отец с дочерью сели в Дубовом зале, и оба тоже были дубовые. Он еще больше, чем она.

Первую живую реплику подала Маша.

— У тебя другая семья, да? Поэтому ты с нами не живешь? Мама про это ничего не сказала, но я же не дура. А братья или сестры у меня есть?

Он стал говорить, что другой семьи у него нет и никогда не было, просто писатели бывают разные. Есть такие, кто может существовать только в одиночестве, иначе ничего хорошего не напишет. Но этот период закончился, и теперь они смогут жить вместе. «Если увидим, что нам этого хочется, — быстро прибавил он. — Но у нас с тобой еще будет время получше узнать друг друга». Такую инструкцию он получил от Антонины: сказать не «если ты захочешь», а «если *мы* захотим», чтобы девочка не расслаблялась.

— Ясно, — кивнула Маша, хотя что именно ей ясно, осталось непонятно. — А вина мне можно? В ресторане же полагается пить вино. Если детям не приносят, я могу отпить из твоего бокала.

У Марата потеплело в груди. Он еле сдержался, чтобы не погладить дочку по худенькой руке — Антонина это не одобрила бы.

После знакомства начались встречи — пока только по воскресеньям. С подростком — как с диким зверьком, его нужно приваживать постепенно, учила жена, каждый раз на шагок ближе, иначе спугнешь.

Раз в неделю Тоня стала приводить мужа к родителям на воскресный обед. Потом Марата с Машей оставляли вдвоем.

Ненадолго, минут на пятнадцать. «Ты очень занятой человек, пусть ей не хватает общения с тобой», — говорила Тоня.

Манипулировать собственной дочерью Марату было неприятно, даже стыдно, но Тонина стратегия, кажется, работала. С каждым разом Маша вела себя всё приязненней и расстраивалась, когда отец уходил. Поэтому Василису Премудрую следовало слушаться.

Тесть сказал, поднимая рюмочку с рябиновой:

— Ну, за хорошие времена.

Он был сегодня в приподнятом настроении. Впервые за десять лет Афанасий Митрофанович получил заказ — от Театра Советской Армии. Бывший драматург номер один (ну, или номер два, потому что был еще Всеволод Вишневский), конечно, не бедствовал, во многих провинциальных театрах продолжали идти его пьесы, но в столицах драмы о бескомпромиссных коммунистах, коварных вредителях и буржуазных перерожденцах давным-давно исчезли из репертуара. Лауреат трех сталинских премий называл себя «последним из могикан», скорбел из-за безыдейной пошлости, воцарившейся на советской сцене, а выпив, мечтал о том, как потомки заново откроют для себя «эпику Афанасия Чумака».

И вот он подписал контракт на драму в трех действиях о советских специалистах, помогающих вьетнамскому народу в героической борьбе против американских агрессоров. Аванс был солидный, две тысячи, а еще предстояла творческая командировка в Ханой. За границу Афанасия Митрофановича давно не посылали (санаторий в Карловых Варах за собственные деньги не в счет), и он был окрылен. За столом говорил без умолку, что было очень кстати. Маша дулась, глаз на отца не поднимала. После обеда нужно было ей что-то врать, Марат из-за этого страдал. И вдруг засомневался, хорошо ли он делает, что идет на поводу у Антонины? Что это будут за отношения с дочерью, если с самого начала строить их на сплошном интересничаньи и вранье?

— Климат меняется, ветер наконец задул в другую сторону, — вещал тесть. — Мы страна северная, русская тройка по снегу ровней летит, чем по слякоти. Как эта их «оттепель» накатила, все дороги развезло, только грязь из-под колес полетела, всех заляпала. А ныне здоровым морозцем прихватило, и ух! сызнава помчим. Крестьянин,

торжествуя, на дровнях обновляет путь! Будут, косясь, постораниваться другие народы и государства! Русь, птица-тройка!

Прежде, во времена «первого захода» (так Антонина теперь называла их прошлый супружеский период) Афанасий Митрофанович лихо опрокидывал рюмку за рюмкой и только багровел, но после семидесяти стал быстро пьянеть, у него уже и язык немного заплетался.

— Вслух его имя еще не прз... произносится, не было пока такого распоряжения, но помяните мое слово. — Потряс пальцем. — Скоро он вернется и в литературу, и в кино, и на телеэкран. Там, наверху, наконец поняли: Сталина из истории не вычеркнешь. Нет Сталина, нет и державы. Дайте срок, Чумак еще пьесу напишет о том, как перерожденцы-кукурузники пытались очернить память великого вождя, да партия разобралась, не позволила. Партия, она всегда в конце концов разбирается! Так что ты, Марат, кончай двусмысленность разводиться, и нашим, и вашим. Теперь по-другому надо будет писать. Крепко, звонко, державно. — Положил руку Марату на запястье. — Дам тебе хороший совет, после спасибо скажешь. Вот Тонька говорит, ты будешь сценарий киноэпопеи про Гражданскую писать. Это дело большое. Не только литературное, но и политическое. Вставь-ка ты туда Сталина в Царицыне. На ура пройдет, вот увидишь. Материалы у меня все есть, еще с тех пор, как я пьесу «Стальная стойкость» писал. Эх, какая была премьера в Малом в октябре тридцать восьмого, на двадцатую годовщину разгрома красновских банд! В ложе Иосиф Виссарионович, Ворошилов, Буденный!

Бог знает в который раз тесть пустился в рассказ об одном из главных триумфов своей жизни. Алевтина Степановна кивала, иногда подсказывала слово, если захмелевший муж сбивался — она знала рассказ наизусть и слушала его с удовольствием. У Тони слегка раздувались ноздри, она подавляла зевету. Маша возила ложкой по пустой тарелке.

— Ой, — сказала Антонина. — А подарок-то для Машки! Извини, пап, мы сейчас.

Увела Марата в прихожую.

— Какой подарок? — спросил он.

— Ты же был в командировке, в Ленинграде. Но о дочери помнил. Привез ей духи, взрослые. Она давно мечтала. На, держи. — Сунула

сверточек в блестящей бумаге. — Положишь на скатерть, но не разворачивай и не вручай. Машка вся изведется, сразу перестанет делать тебе козью морду. Любопытство и страсть к подаркам — две главные женские слабости. Дарю тебе эту военную тайну, пользуйся. Можешь и на мне попробовать, я не против. Будет и еще одна выгода. Машка немедленно начнет ныть: «Деда, ты это уже сто раз рассказывал», и тебе не придется слушать, как Сталин назвал папхена советским Шекспиром.

Так всё и вышло. Тесть не закончил свою нудятину, дочка сменила гнев на милость, а получив хрустальный флакон, ахнула и чмокнула Марата в щеку — впервые.

Нет, Антонину надо было слушаться. Она Машу знала лучше. Вообще *всё* знала лучше. Золотая жена. Просто золотая.

Как обычно, он ушел, когда дочка, совсем оттаяв, начала увлеченно рассказывать про свои успехи в драмкружке. Слушал бы и слушал, но заглянула Антонина: «Ты не забыл про совещание? В следующее воскресенье договорите».

— А среди недели у тебя времени не будет? — спросила Маша. Это был огромный, просто великий сдвиг. Тонина тактика опять сработала!

— Я очень постараюсь, — сказал Марат. Хотел ее поцеловать, но знал: жена не одобрит.

— Иди-иди, опоздаешь, — поторопила его Антонина.

Никакого совещания у Марата не было, с кем ему совещаться? Но дело имелось — такое, которое давно следовало исполнить, а то неудобно.

Перед тем, как идти к тестю на обед, он позвонил Клобуковым. Трубку взяла Юстина Аврельевна — удачно.

— Ради бога простите, что я так надолго пропал, — сказал Марат, назвавшись. — Это с моей стороны чудовищное свинство. Рукопись я давно посмотрел и готов к разговору, просто мне нужно было съездить в Ленинград, и я задержался там дольше, чем собирался.

Внутренне покривился: вранье становится моей второй натурой.

— Вы были в Ленинграде? А по Садовой, мимо Юсуповского сада, случайно не проходили или, может быть, проезжали? — спросила жена академика неожиданное.

— По Садовой? Нет. А... а почему вы спрашиваете?

— Я там выросла, на углу Садовой и Екатерингофского. Не была в Ленинграде с сорок первого года. Но часто вижу дом во сне. Иногда ужасно хочется съездить.

Она милая, подумал Марат. Разговаривает, будто мы давние друзья.

— Ну так съездили бы. Дорога недалняя.

— Нет, — вздохнула Клобукова. — Я чувствую, знаю, что делать этого не нужно. — И сменила тему. — Вы не извиняйтесь, спешки ведь никакой нет. У меня есть копия, так что работе это не помешало. И я невероятно благодарна, что вы нашли время ознакомиться с переводом. Когда мы можем встретиться?

Он пообещал, что заедет сегодня же, во второй половине дня.

Прямо из Лаврушинского и поехал, рукопись была с собой.

Юстина Аврельевна оказалась дома одна. Муж, несмотря на выходной, был в институте. Про сына она с улыбкой сказала: «Марик по воскресеньям всегда ходит в Исторический музей. Он у нас педант: движется от экспоната к экспонату, про каждый всё обстоятельно записывает. Пока дошел то ли до пятнадцатого, то ли до шестнадцатого века».

Сели за письменный стол, Марат достал папку. Разговор предстоял непростой.

Перевод, к сожалению, был неважный. Для академического слишком витиеватый, для поэтического суховатый. Нужно было объяснить это как-нибудь поделикатней, помягче, чтобы не обидеть хорошую женщину.

Но Клобукова всё поняла по первым же фразам. Очень расстроилась.

— Моя «Энеида» никуда не годится. Так я и знала! Это из-за того, что меня все время кидает из крайности в крайность. Хочется ничего не упустить и в то же время передать прелесть стиха. Но слова ложатся, как камни. А должны быть, как пузырьки в шампанском. У меня нет никакого поэтического дара, так ведь? Вы не щадите меня, пожалуйста, Марат Панкратович. Говорите правду.

— Поэтического дара нет, — признал он, потому что невозможно кривить душой, когда на тебя смотрят таким ясным, доверчивым взглядом. В Юстине Аврельевне было что-то, исключавшее всякую

возможность лжи. Глядя ей в глаза, как сейчас, он, например, не смог бы наврать про поездку в Ленинград.

— Спасибо. Я очень ценю честность. И чем труднее она дается, тем больше. Вы не представляете, как вы мне помогли. Я так мучаюсь, что уродую нечто прекрасное. Ужасное чувство. Решено. Откажусь от работы и верну издательству аванс.

Плечи у нее опустились, голова поникла, но голос не дрожал.

— Не нужно этого делать, — быстро сказал Марат. — Я ведь пришел не просто раскритиковать вашу работу. У меня есть предложение. Вы не поэт, вы античица. Так сделайте не поэтический, а академический, научный перевод. В прозе, с множеством комментариев. Пусть те, кто хочет насладиться Вергилиевской строфой, читают Брюсова, а вашей версией будут пользоваться студенты. На Западе недавно вышел английский перевод «Евгения Онегина» — без рифм и размера, но очень точный и подробный, плюс тысяча страниц историко-культурных комментариев. Фактически это целая энциклопедия. Между прочим, работу выполнил поэт и прозаик, такой Владимир Набоков, из эмигрантов. Я читал один его роман в спецхране — очень мастеровито написано, а тут он оставил в стороне всякую художественность и превратился в ученого. Мне кажется, вам следовало бы пойти тем же путем.

— Какая... какая превосходная идея! Это превратит работу из мучения в наслаждение! И в ней действительно появится смысл!

Ее лицо просветлело и сразу стало моложе. Сколько ей, интересно, лет, подумал Марат. При старом муже женщины обычно выглядят намного старше своего возраста. И почему-то показалось, что Клобукову можно об этом спросить — попросту, как он спросил бы мужчину. Она не удивится, не станет жеманничать.

— Юстина Аврельевна, а можно я спрошу, сколько вам лет?

Нет, все-таки удивилась. Но не тому, чему удивилась бы обычная женщина.

— Почему же нельзя? Мне в прошлом месяце, первого июля, исполнилось сорок. И зовите меня просто «Юстиной», пожалуйста. А еще лучше «Тинкой».

Ответ его совершенно поразил.

— Ничего себе! Мы с вами родились день в день! Я тоже появился на свет первого июля двадцать восьмого года.

Они в изумлении воззрились друга на друга. Марат вдруг увидел не женщину, а девочку, свою ровесницу. Юстина — нет, Тина — приподняла брови:

— Так вы тоже Cancer, Рак! Значит, у нас должно быть много общего.

Он улыбнулся.

— Я в знаки зодиака не верю. Это всё глупости.

— Ну давайте проверим. Мужчина-рак наделен творческим даром, у него развита интуиция, он целеустремлен, склонен к возвышенному образу мыслей, но из-за того, что всё время устремляет взор вверх, бывает черств и неуклюж в личных отношениях. Он эмоционален, но не умеет проявлять свои чувства. Трудно сближается с людьми. Очень раним, склонен к сомнениям.

— Вообще-то это мой портрет, — несколько сконфуженно признал Марат.

— Ну вот видите. Связь между звездами и личностью выявил еще Птолемей. Ах, как бы я хотела перевести «Тетрабиблос»!

— А что это, извините за невежество?

— Вы не знаете Птолемея трактат «Тетрабиблос»? — поразила Тина так, словно он признался в чем-то совершенно невероятном — скажем, никогда не слышал о вращении Земли вокруг Солнца. — Это одна из самых главных книг человеческой цивилизации. Сейчас я поставлю чайник и расскажу про нее.

Прелесть что за дама, подумал Марат. Кому по-настоящему повезло с женой, так это академику.

Клобуков вернулся как раз к чаю. Обрадовался гостю.

— Надо же, а я как раз сегодня думал о вашем отце. К нам в институт для обмена опытом приехал коллега-анестезиолог из Праги, доктор Квапил. Рассказывает очень интересно про то, что происходит у них в Чехословакии. Он у себя в клинике возглавил «гражданский комитет» — это такие общественные организации, которые у них создаются в коллективах для обсуждения текущих событий. Мы решили собраться сегодня, в воскресенье, чтобы послушать чехословацкого коллегу. Почти все наши пришли, и многие из других отделов. Невероятно увлекательные вещи он говорит! Целая страна вдруг как будто проснулась. Всем стало не всё равно. Люди хотят, чтобы жизнь вокруг стала лучше. И верят, что это возможно.

Франтишек сказал, что они там будто по небу летают. Все ходят счастливые. Полный город счастливых людей.

— А почему вы стали думать об отце?

— Потому что он был такой же. Когда начинал говорить о будущем. В обычной обстановке Панкрат Евтихьевич был человек суровый, даже жесткий, иногда жестокий. Но заговорит о социалистическом будущем, о том, как Россия наконец перестанет быть страной несчастных людей, и голос звенит, глаза светятся. Очень хотелось ему верить. Что кровь, грязь, муки — всё не напрасно. Что оно того стоит. Мы, конечно, сейчас знаем, к чему это привело. Лично я уверен, что на крови и грязи можно построить только еще худшее несчастье. Но ведь Панкрат искренне верил. Он был совсем другого качества человек, ваш отец. Не такой, как те, что потом взяли верх. Но я сегодня слушал доктора Квапила и думал: у чехов всё получится, не то что у нас. Потому что они идут не от идей, а от людей. Панкрат сказал однажды: «Намесим из грязи глину, обожжем в огне, вылепим кирпичи и построим Новый Мир». В этом и была его — их роковая ошибка. Они, большевики, лучшие из большевиков, были твердые. А человек — он мягкий. И обращаться с ним нужно тоже мягко. Люди все живые, все разные, всем больно.

Марат стал думать о твердости и мягкости. Может быть в этом суть? Я мягкий, а жизнь всё время сталкивает меня с людьми твердыми?

Когда Тина вышла долить в чайник воды, он сказал:

— Как же вам повезло с женой, Антон Маркович. Вот я вечно связываюсь с твердыми, как сталь, женщинами, о которых можно только пораниться.

Даже странно, как хорошо и естественно он себя чувствовал с этими, в сущности, малознакомыми людьми — что с женой, что с мужем.

Клобуков улыбнулся.

— Тина — один из самых твердых людей, каких я встречал. А я, поверьте, немало их повидал в наш твердый век, в нашей твердой стране. Просто настоящая твердость снаружи всегда кажется мягкой. Видите этот портрет?

На стене между полками висела большая фотография за стеклом, какая-то дама девятнадцатого века с немолодым, но очень приятным

лицом.

— Это моя героиня. Самый лучший человек всей русской истории. Великая княгиня Елена Павловна.

— Которая чем-то там посодействовала освобождению крестьян? — не сразу вспомнил Марат.

— Видите, даже вы, хорошо знающий отечественную историю, имеете о Елене Павловне довольно смутное представление. В советские времена ее начисто забыли. Взяли и вычеркнули из народной памяти. Просто потому что она принадлежала к царской семье — была замужем за братом Николая Первого. Вот вам пример очень мягкой и доброй, но в то же время абсолютно стальной женщины, которая бралась за небывалые дела и все их благополучно осуществила. Да, она была закулисным двигателем крестьянской реформы, но это лишь одно из свершений Елены Павловны. Она создала Красный Крест, основала консерваторию, поставила в России дело благотворительности на систематическую основу, усовершенствовала женское образование и всю жизнь из собственных средств поддерживала талантливых людей. Ни с кем не конфликтуя и не ссорясь, всем нравясь и пользуясь всеобщим уважением. Даже ее супруг-солдафон Михаил, даже спесивый царь Николай относились к Елене Павловне бережно и почтительно.

— Выражением лица она похожа на Юстину Аврельевну, — заметил Марат, как следует присмотревшись.

— Очень мягкое лицо с очень твердым взглядом, да? Потому я портрет и повесил. А еще я вам вот что скажу. Удел мягких людей — таких, как мы с вами — влюбляться в людей твердых. Это закон жизни.

Тут было над чем задуматься.

Марат с удовольствием посидел бы у Клобуковых подольше, но в свое время усвоил одно железное правило: никогда не навязывай себя тем, кто тебе нравится. Пусть тебя будет меньше, чем нужно, а не наоборот. И, может быть, если бы он не отклонялся сразу после того, как допил вторую чашку, Тина не сказала бы расстроено:

— Вы уже уходите? Приходите еще, пожалуйста. Мы будем рады.

По правилам светского приличия следовало бы теперь позвать в гости Клобуковых, но Марат представил себе их рядом с Антониной и просто поблагодарил:

— Спасибо. Обязательно приду.

На Щипке, около подъезда, рядом с красным Тониным «москвичом», стоял еще один, тоже знакомый — цвета «мокрый асфальт», с щегольским бампером. Открылась дверца, вышел подтянутый джентльмен в заграничном плаще с погончиками. Зрительная память у Марата была неважная и Бляхина-младшего он узнал скорее по автомобилю, чем по лицу, довольно непримечательному. Виделись ведь только один раз, и потом еще дважды разговаривали по телефону, когда Серафим Филиппович устраивал пропуск в архив КГБ.

— Здравствуйте, Марат Панкратович. Сижу, поджидаю вас, — сказал Бляхин, пожимая руку. — Был у вас, супруга сказала, что не знает, когда вы вернетесь. Ну я и решил, вдруг повезет. Очень уж дело срочное. И тут как раз вы.

— А что случилось? — удивился Марат. — Пойдемте, познакомлю вас с женой как следует.

— В другой раз.

Вид у полковника был озабоченный. (Звание Марат подглядел в архиве, там в журнале было написано «по рекомендации плк. С. Ф. Бляхина».)

— Скажите, пожалуйста, что с отцовской рукописью? Где она?

Не поняв, в чем тут срочность, Марат стал объяснять, что издательский процесс очень небыстрый, что он лишь «пустил материал по инстанциям», а над остальным невластен. Не говорить же, что эту чушь никто никогда не напечатает.

— А на какой она сейчас инстанции? — продолжил допытываться Бляхин.

Пришлось признаваться:

— На начальной.

— То есть в план не вставлена, в работу не запущена?

— Нет. Я же вам говорю, это...

— Отлично. — Серафим Филиппович улыбнулся. — Тогда большущая к вам просьба. Прямо завтра с утра, не откладывая, заберите ее, пожалуйста, из редакции. И отдайте мне. Очень, очень обяжете.

— Давайте я это сделаю в пятницу. Мне как раз нужно будет...

— Завтра, — повторил Бляхин. — С утра и пораньше. Это очень важно. Вы не думайте, я в долгу не останусь. Слово держать я умею, вы знаете.

Марат нахмурился. Кем его считает этот гебешник? Мальчиком на побегушках? Главное еще «пораньше»!

Полковник вздохнул:

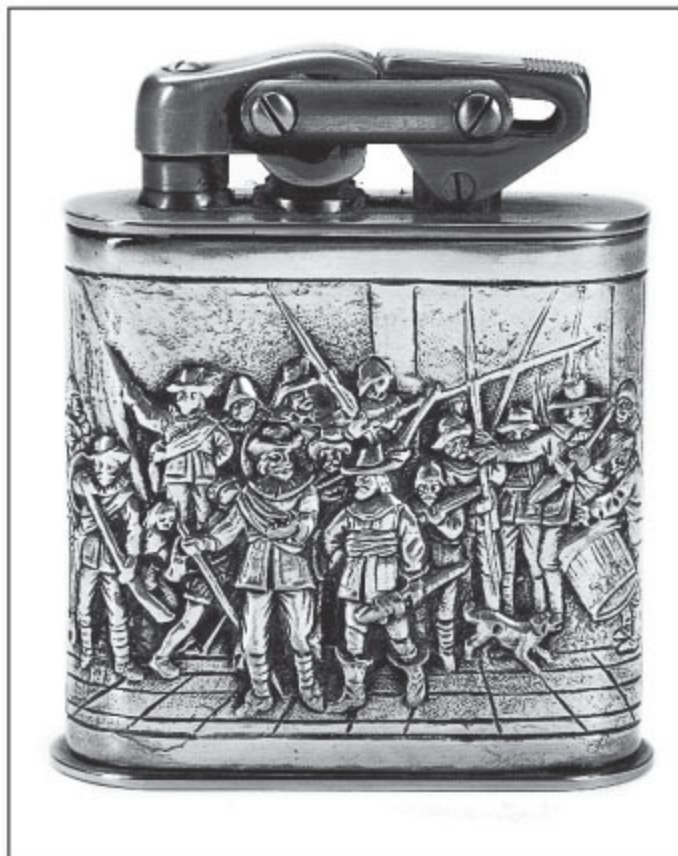
— Ну вот. Вы рассердились. Зря. Я действительно многое могу — по нашей части. Подумайте, чего бы вам очень хотелось.

Вдруг пришло в голову такое, о чем раньше и не мечталось.

— Я бы хотел прочитать следственное дело отца. Оно ведь, наверное, где-то хранится?

— Запрос нехилый, — усмехнулся Серафим Филиппович. — Это двойной допуск нужен, с личной санкцией зампреда. Но я шестикрылый Серафим. Добуду. Заключим контракт. Если завтра до двенадцати вы позвоните и скажете, что рукопись у вас, я немедленно решаю вопрос о допуске, и послезавтра Сезам откроется. Слово чекиста.

По написании сжечь



«18.08 вскр.

По порядку.

Был адски доволен, что, кажется, решил проблему бедного фатера, возмечтавшего о литературной славе. После вчерашнего разговора на корте с Шерстюком (из сусловского аппарата) всё думал, как бы тормознуть эти чертовы мемуары о днях кровавой ежовщины. В идеологическом отделе ЦК принято решение полностью снять тему репрессий с повестки и санкционировать мягкое, но уважительное возвращение Усатого в культмассовый оборот. Никакого постановления спущено не будет, реализация на уровне устных рекомендаций. Что ж, это логично и полностью в русле нынешнего кардинального поворота. Но пока благая весть просачивается сверху вниз, не дай бог успеют напечатать. Вылезет мой Нестор-летописец со своими несвоевременными излияниями в журнале с тиражом миллион

экземпляров. Старый чекист, зовут «Филипп Бляхин». Кто сынок, срисовать нетрудно. Появится у гниды Лобанова против меня еще один патрон в стволе. Дискредитация органов, яблоко от яблони.

Но ничего, писатель сделает. А фатер утешится тем, что скоро сможет достать из коробочки значок «Заслуженный работник НКВД» и гордо носить на лацкане.

Ладно. Про Лобанова.

Его маневр стал окончательно понятен. Через кадры он действовать не станет, там знают, что никакой я не еврей, смена фамилии и отчества разъяснены и проверены еще при царе Горохе. Эта сволочь просто распускает слух, что моя настоящая фамилия «Цигель», а отчество «Абрамович». Расчет на то, что у ЮВ у самого еврейский «хвост» в анкете и, если разнесется, что у него в группе консультантов еще один скрытый семит, шеф меня оттуда выведет, а на мое место возьмет Лобанова. Конечно, ЮВ ко мне относится хорошо, но рука у него не дрогнет. Сентиментальности в нем на нуле. Ну то есть как? В добрую минуту он может помянуть старое, даже слезы на глазах.

Например, позавчера — я не успел записать, времени не было. Когда стало известно, что на Политбюро принято принципиальное решение по ЧССР, ЮВ говорит мне после совещания: «Что, Бляхин, всё повторяется? Помните, как в Будапеште по дворам бегали? Ничего, теперь мы до такого доводить не станем». Попросил остаться. Душевно поговорили, повспоминали.

Подумать только. Когда меня в пятьдесят шестом прокатали с назначением в Бонн и вместо этого откомандировали в Будапешт, сраные форинты зарабатывать, я чуть в депрессию не впал. А это был blessing in disguise^[8], Сима Бляхин вытянул главный лотерейный билет своей жизни. Оказался в правильном месте, в правильное время, а главное — около правильного человека. Ну и, конечно, капитально повезло, что в тот день, 31 октября 1956-го, я сопровождал посла в машине. Наш «зим» окружила толпа, сорвали флажок, начали колотить в стекло, прокололи шину, ЮВ сидит весь белый. А я не растерялся. На войне и не в такие переделки попадал. Говорю: «Главное, Юрий Владимирович, не отставайте». И попер через толпу грудью, как ледокол «Ленин». Его за руку тяну. Прорвались. Потом какими-то

подворотнями пробивались. На Заграби видели столб с повешенным милиционером. В общем, есть что вспомнить.

Тогда я его за собой тянул, потом — он меня. Все знают: я — стопроцентный «человек Андропова». Но если шеф почует, что я его уязвимая точка, колебаться не станет. Чик, и поеду руководить облуправлением в Кокчетав, в лучшем случае советником посольства в Бурунди.

Пока рулил до работы, кумекал, как разобраться с Лобановым. Кажется, придумал. Бодаться с ним не хрена, он зять Мирошенки. Надо поговорить в открытую. Карты на стол. Типа: кончай под меня копать, тебе всё равно не светит, ЮВ в ГК берет только тех, кому лично доверяет. Я тебя уважаю, ты человек серьезный, но я тоже не олененок Бемби. Намекнуть, что я в курсе про его шуры-муры с женой Сташевича. Потом выкатить оферту: он завязывает трепать про мой сионизм, а я ему посодействую с долгосрочкой в хорошую капстрану. Он хоть и гнида, но не дурак. Сообразит, что со мной лучше дружить, а не ссориться. Должно сработать.

Ладно, с личным всё. Теперь про историческое. Никому не расскажешь, даже Ирке, так хоть здесь, чтоб еще раз осмыслить. Поздно уже, третий час, а завтра велено быть к восьми как штык, но после такого разве уснешь?

Итак, как это было.

Приезжаю на Площадь, сразу к ЮВ. Там только что закончился большой курултай. Выходят замы, начальники управлений. Запускают нашу ГК.

ЮВ говорит: «Сегодня была встреча лидеров СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии. Вопрос о военной помощи чехословацким товарищам утвержден. Через 72 часа будет развернута военная операция. Задача Комитета — всестороннее обеспечение по нашей линии. И тут, дорогие товарищи консультанты, нам только начать и кончить. С руками-ногами я уже поговорил. Вы — мой мозг. Распределяем обязанности, думаем, работаем. Завтра с восьми ноль-ноль начинает функционировать Кризисный центр, как в прошлом году, во время израильской агрессии. Берите из дома смену белья, зубные щетки. Вы знаете мое отношение к алкоголю, но допинг руководство вам обеспечит». И смеется. Еще бы — настает его время.

Наше время. Статус Комитета теперь ого-го как рванет. ЮВ железно станет из кандидатов членом, ну и нас всех за собой подтянет.

Мне, понятно, поручена связь с ГДР. Это самый крупный контингент после нашего, 15 тысяч человек, и дрезденское направление в первый день считается главным, оттуда до Праги ближе всего.

Стоп. Идея!

Надо дать в докладе рекомендацию: немецких товарищей к военной фазе операции не привлекать, ограничиться нашими соединениями, расположенными в ГДР. Напишу, что немецкое участие вызовет нежелательные ассоциации с 1938 годом, когда вермахт вторгся в Чехословакию. Ух ты. Сильный ход. Доклады остальных консультантов попадут только к ЮВ, а с моим, поскольку тут большая политика, он выйдет прямо на Политбюро. Не исключено, что возьмет меня с собой, в качестве эксперта. Вот это был бы прорыв. Дух захватывает. Короче, уснешь тут.

Да, отличная была придумка — записывать события дня».

Серафим Бляхин перечитал, взволнованно ероша волосы. Дневник он вел уже полгода. Каждый вечер, если была возможность, записывал самое главное.

Очень полезный ритуал.

Во-первых, структурируешь и фильтруешь.

Во-вторых, осмысляешь и анализируешь.

В-третьих, делаешь работу над ошибками.

В-четвертых, составляешь план дальнейших действий.

Ну а в-пятых, самое приятное, даешь выход эмоциям, потому что некоторыми вещами хрен с кем поделишься, а тут выплеснул на бумагу — и легче.

Идея пришла, когда ходил с женой и детьми в Малый театр. Пьеса Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Там главный герой тоже ведет тайный дневник. Говорит: «Всю желчь, которая будет кипать в душе, я буду сбывать в этот дневник, а на устах останется только мед. Один, в ночной тиши, я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики, я один буду и автором, и читателем».

Классная идея, сразу подумал Серафим. Но с одной поправкой, чтобы не получилось, как в пьесе.

Ритуал каждый раз заканчивался одним и тем же.

Бляхин сунул в рот английскую трубку, щелкнул своей любимой трофейной зажигалкой — серебряной, с барельефом.

Сначала раскурил табак, потом скомкал и поджег мелко исписанную страницу. Стал смотреть, как в пепельнице разгорается маленький костер.

Что теперь будет?



«ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной конституцией государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами».

Читать стало трудно — желтоватый лист колыхался в дрожащих руках.

Марат проснулся в очень тяжелом настроении, подавленный вчерашним походом в архив. Спустился вниз к почтовому ящику, шаркая шлепанцами. Привычка читать за завтраком газету была давняя и в общем довольно бессмысленная. Новости, которые стоило знать, поступали из иных источников — от знакомых, из передач «Голоса Америки» и «Свободы».

Крупный заголовок «Страны Варшавского Договора приходят на помощь братской Чехословакии», прочитанный еще в лифте, моментально вышиб остатки сна.

Они всё-таки сделали это! *Мы* сделали это...

В последние дни было столько споров, дойдет до этого или нет. В воскресенье вечером у Гриваса знающие люди Кощей и Коряга уверенно говорили, что партийные «ястребы», конечно, хотели бы задавить «Пражскую весну» железной рукой, но, слава богу, Брежнев с Косыгиным люди вменяемые и осторожные, они на подобную

авантюру никогда не пойдут. Столько усилий потрачено на нормализацию отношений с Западом, еще толком не достигнуты серьезные успехи, эпоха хрущевского авантюризма, едва не приведшего мир к ядерной войне, ушла в прошлое.

Как же? Почему? Что теперь будет?

Включил телевизор. Шли новости. Выступал журналист-международник Зорин, сурово кривил рот. Давно Марат не слышал такой лексики — пожалуй, со времен борьбы с космополитами.

— В обстановке нагнетания антисоветской истерии в одном хоре с откровенными фашистами и агентами империалистических разведок зазвучали крикливые голоса их подпевал из числа так называемой европейской левой интеллигенции. Сейчас вы вопите белугой, господа, именуящие себя социалистами. А где вы были раньше, когда буржуазные прихвостни шельмовали настоящих марксистов, ошикивали их, сгоняли с трибун?

С отвращением выключил. Кинулся к «спидоле». Сквозь треск и помехи стал слушать «Голос» и не отходил от приемника весь день, до позднего вечера.

Новости были ужасные.

На рассвете здание чехословацкого ЦК было окружено бронетехникой. Советские десантники ворвались, арестовали Дубчека и остальных, увезли в неизвестном направлении. Пражские аэродромы захвачены. От сухопутных границ движутся колонны танков и бронетехники. Все транспортные узлы и коммуникации блокированы. В общей сложности силы вторжения оцениваются в 24 дивизии. Во многих местах звучит стрельба. Как минимум несколько десятков человек, все гражданские, убиты. Солдаты стреляли в толпу на Вацлавской площади, около здания Чешского радио лежат неубранные трупы...

Целый день Марат ничего не ел, только курил папиросу за папиросой. Он был один, жена еще не вернулась из Будапешта. Может быть, оно и к лучшему. Антонину любые события всегда интересовали только с одной стороны: «хорошо ли это для евреев», под каковыми она имела в виду себя. Слушать ее рассуждения о том, какую пользу можно извлечь из новой ситуации, было бы невыносимо.

Потом выступал какой-то комментатор — судя по грассированию, еще из первой эмигрантской волны. Говорил вычурно и литературно,

всё время ссылался на Толкиена, которого Марат не читал. Называл СССР «темной империей» и почему-то «Мордором». «Из-под овечьей маски, которой Брежнев дурил свободный мир, наконец выглянул хищный оскал Саурона». Бог знает, на какую аудиторию был рассчитан этот бред, мало чем отличавшийся от зоринских завываний.

Марат не выдержал, размочил многолетнюю завязку. Достал из серванта бутылку Тониного ягодного ликера. Пил прямо из горлышка, чуть не слипся. Опьянеть не опьянел, а как-то осовел.

Вышел на балкон. Город был черный, воровато помигивающий тусклыми огнями. Темная столица темной империи. В небе сияла Луна. В пору было задрать голову и завывать.

Из-за отвычки пить проснулся очень поздно, с тяжелой головой. Включил радио, чтобы послушать официальные новости, но про Чехословакию сегодня вообще не говорили. Очевидно, поступило распоряжение делать вид, будто ничего особенного не происходит. Первой новостью шли вести с полей. Бригадир комбайнеров с Мелитопольщины сулился засыпать в закрома Родины сколько-то центнеров зерна. Потом рассказали про повышенные соцобязательства хлеборобов Целиноградской области, про круглосуточную работу ремонтников на Челябинском тракторном. Стал крутить «спидолу» — волны, на которых ловились «Голос» и «Свобода», были намертво заглушены, один треск. Кажется, в Чехословакии плохо. Натворили там что-нибудь совсем ужасное, и теперь по своему обыкновению будут делать вид, что ничего не произошло.

Надо съездить в ЦДЛ, решил Марат. Во-первых, кто-нибудь расскажет, что творится. Всегда кто-то знает больше, чем сообщают официальные новости. А во-вторых, нет больше сил вариться в собственном соку.

У метро «Добрынинская» возле газетного стенда толпились люди. Подошел.

Газеты подписывались в печать накануне, очевидно еще до того, как наверху решили не заострять внимание на Чехословакии, поэтому заголовки были сплошь тошнотворные: «Защитим завоевания социализма!», «Советские люди одобряют», «Мудрое решение».

Протиснулся к «Советской культуре». Сплошь коллективные письма с горячей поддержкой партии и правительства — от Союза

художников, Союза композиторов, Союза кинематографистов. Зачем-то стал читать имена подписантов. Расстроился, увидев тех, на кого никогда бы не подумал. Пытались ли их что-то заявить от Союза писателей не было, но это означало лишь, что ему положено выйти в еженедельной «Литературной газете».

Марат ожидал, что люди будут читать тревожные новости молча, но народ нет, не безмолвствовал.

— И правильно, — сказала дама — не тетка и даже не женщина, а именно дама с пышной бабеттой. Может быть, школьная директриса или главбух. — Я была в Чехословакии. Живут ого-го как. С жиру бесятся.

— А почему они должны жить лучше нас? По какому такому праву? — поддержал ее пожилой дядька в светлой сетчатой шляпе. — Как от фашистов освободить, «Ваня, спаси!», а как жизнь вместе мыкать — «Ваня, я уйду к другому»? Так на тебе. Не блядуй!

— Мужчина, давайте без мата, — обернулась к нему главбух-директриса. — Хотя в принципе я с вами согласна.

Безнадежные, безнадежные, мрачно думал Марат, спускаясь по эскалатору. Долетали обрывки разговоров — обычных, о чем угодно, но не о том ужасном, что сейчас творилось с Россией. Что сейчас *творила* Россия. Это было еще хуже, чем диалог около стенда.

В ЦДЛ в ресторане, несмотря на раннее время, все столики были заняты. Многим тоже не сиделось дома. Марат встал у буфетной стойки, высматривая, с кем можно откровенно поговорить.

Скоро заметил, что люди делятся на два разряда — кто говорит громко и кто приглушает голос. В одной «тихой» компании увидел двух знакомых, детского прозаика Ухова и критика Незнамского, оба люди приличные. Третьего не знал, но судя по расстроенному выражению лица не из «ликующих, празднично болтающих, умывающих руки в крови».

Подошел, поздоровался.

Беседа оборвалась на полуслове.

— А, это ты, — с облегчением произнес Ухов, обернувшись. — Садись.

И незнакомому:

— Это Марат Рогачов, при нем можно.

— Очень приятно.

Пожал руку, фамилию произнес неразборчиво.

— Чего уж тут приятного, — тоже тихо сказал Марат. — О чем шепчетесь? Я ничего кроме газет не видел.

— Всех собирают по секциям. Завтра. Явка обязательна, — сообщил неразборчивый, нервно подергивая ноздрями. — Говорят, не просто собрание, а какую-то пакость подписывать заставят. Каждого.

— Я не буду, — отрезал Незнамский. — У меня приятель врач. Даст справку. Гипертонический криз.

— Хорошо тебе, — вздохнул Ухов. — Можно, конечно, телефон не брать.

Новый знакомый наклонился, перешел на полусшепот:

— Говорят, будут составлять списки уклонившихся.

— Да ладно тебе! — Ухов поежился. — Яш, не нагнетай. Списков даже во время Даниэля-Синявского не составляли.

— Сравнил! То был инцидент совписовского масштаба, а тут коренной поворот всей государственной политики. Они обязательно устроят проверку на вшивость, даже не сомневайся. Всем и каждому.

— У меня будет медицинская справка. Гипертония у меня в медкарте записана, всё железобетонно, — сказал Незнамский, словно сам себя успокаивая. — Вы как хотите, а я против совести не пойду.

И стало Марату что-то совсем неважно.

— Ладно, писатели, совесть нации, бывайте, — буркнул он, поднимаясь.

Надо было или срочно выпить чего-то крепкого, или поговорить с кем-нибудь человекообразным.

Из автомата в вестибюле позвонил Гривасу.

Тот вместо ответа на «как дела?» сказал:

— Не депрессуй в одиночку, давай ко мне. Наши все понемногу подгребают.

И сразу сделалось полегче.

Идти было близко, только пересечь площадь.

У Гриваса по крайней мере не шептались, а говорили громко, даже кричали. Первое, что услышал Марат еще на лестничной клетке — матерную тираду.

—! — выдал замысловатую трехэтажную конструкцию нежный женский голос. — Какими же надо быть идиотами... —

Открыла Дада, хозяйка квартиры, коротко кивнула и продолжила, обращаясь к кому-то: — ...Чтобы устроить такую хреномудию! Они же всех угробили! Больше ничего не будет! Ни культурного обмена, ни фестивалей, ничего! Всё советское выметут поганой метлой! Отовсюду! Заходи, Марат, что ты встал?

И пошла вглубь квартиры. Там, кажется, было тесно.

— Черт с ними, с фестивалями. Что ты как вшивый о бане! — сердито ответил кто-то. — Мы напали на беззащитную страну, мы давим ее гусеницами! Нам теперь от этого никогда не отмыться!

Марат прищурился, чтобы рассмотреть, кто говорит. В коридоре было темновато. Сзади в дверь позвонили. Пришел кто-то еще.

— Да открыто же! — крикнула Дада. — Швейцар я вам, что ли? Вернулась обратно.

Сегодня все держались вместе — не как во время «воскресников». Поэтому и толпились в коридоре, не разбредались по комнатам. Человек пятнадцать здесь было, не меньше, все знакомые.

Говорили наперебой.

— стыдно. Господи, как стыдно! — продолжил Гриша Вадимов, прозаик, — это он переживал, что теперь не отмыться.

— Старик, да почему нам должно быть стыдно за генерального секретаря Брежнева и маршала Гречко? — вскинулся Гривас. — Мы с тобой, что ли, вторглись в Чехословакию? Они не в Чехословакию, они в нашу с тобой жизнь ввели танки!

Вадимов не слушал.

— Если бы только это было возможно, уехать бы на край света и никогда сюда не возвращаться... — бормотал он, часто-часто мигая.

— Уедем мы теперь только в восточном направлении, — мрачно молвил Аркан. — Помяните мое слово. Сейчас они станут припоминать, кто что говорил да писал. Теперь начнется...

В прихожей зазвучали взволнованные голоса.

Шла Дада, трясла какими-то листками.

— Это Белка! Она была у Женьки! Он стихи написал. Называется «Танки идут по Праге». Я только первые строчки прочитала — прямо в сердце... Нет, идемте в столовую, там светлее.

Все собрались вокруг стола, но села только Дада. Читала срывающимся голосом, смахивая слезы:

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.
Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.

Стихи были сильные. От двух последних стрóf у Марата перехватило дыхание. Стрфы были такие:

Прежде чем я подохну,
как — мне не важно — прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.
Пусть надо мной — без рыданий
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

Мелькнуло чувство, в такую минуту стыдное — зависть. Хорошо поэту — можно написать нечто историческое за пару часов. В прозе это не получится.

Все молчали.

— Сейчас сяду за машинку и перепечатаю под копирку, — вытирая нос платком, гнусаво сказала Дада. — Это должны прочитать все. В смысле, все наши. Дам по одному экземпляру. Сами потом размножите.

— Женька гений, — сказал Возрожденский глухим голосом, и Марат подумал, что зависть поэта к поэту должна быть в тысячу раз сильнее. — Мы все раздавлены собственными, русскими танками. Но эти стихи... Они по крайней мере спасают нашу честь. Мне не нужно экземпляр, я запомнил наизусть, каждую строчку. Я буду звонить всем и читать их вслух. Не написал сам, хоть репродуктором поработаю.

Гривас его обнял — совершенно непринятая в этом насмешливом кругу пафосность.

— Достоинно, Джек. Вся наша недолгая, шумная буза началась с поэзии в Политехническом, поэзией и закончится. Поэт в России больше, чем поэт.

— Не лапай меня, я не баба, — пробурчал растроганный Джек. — Ладно, ребята. Пойду домой. Сяду на телефон.

Сымпровизировал:

Изрыгает огонь пулемет,
Телефон по захватчикам бьет.
По фуражкам, шинелям, погонам
Я строчу боевым телефоном.
Там, где рты заливают свинцово,
Пулеметом становится слово.

— Постой-постой, — окликнул поэта Кощей.

Адепт коммунизма с человеческим лицом был без своего всегдашнего галстука. Рубашка расстегнута, подбородок — невероятно — синеет щетиной. Вот для кого мир рухнул еще сокрушительней, чем для всех нас, подумалось Марату.

Но голос у Кощей был всегдашний — суховатый, бесстрастный.

— Никому звонить не надо. И ты, Дада, ничего на машинке размножать не будешь. Аркан совершенно прав. Теперь начнется охота на ведьм. И мы с вами — первые кандидаты на поездку в восточном направлении. Нам всем нужно быть предельно осторожными.

— Я не к тому это сказал! — перебил Аркан. — Я имел в виду...

— А я к тому, — не дал ему говорить Кощей. — Помолчите все и послушайте человека, который, в отличие от вас, знает изнутри, как работает система. Когда-нибудь историки напишут, что в августе 1968 года внутренняя борьба внутри советской верхушки закончилась победой «ястребов», что привело к магистральному повороту всей внешней и внутренней политики Советского Союза. На международном уровне произошла резкая эскалация затихшей было «холодной войны». Внутри страны тоже начались заморозки. Комитет Государственной Безопасности получил санкцию на ужесточение

репрессивных действий. Сейчас прокатится волна показательных, демонстративных расправ. Вы хотите помочь КГБ в его работе? Валяйте. Только знайте, что за каждый взбрык расплачиваться будет не только герой-обличитель, но и все его друзья. Потому что для опера выявить «организованную преступную группу» всегда слаще, чем зацапать бунтаря-одиночку. Они уже готовы, можете не сомневаться. Так что в следующий раз мы запросто можем увидеть друг друга на очной ставке.

Стало тихо.

— Ты прав. Но здесь все свои, стукачей нет, — сказал Гривас после длинной паузы. — Между собой мы будем говорить о чем хотим. Забиться под печку и молчать в тряпочку они нас не заставят. Надо только предупредить Женьку, чтобы он сгоряча не начал раздавать стихотворение всем подряд. Я съезжу, привезу его. Разговор не телефонный. А вы думайте, как нам дальше жить.

Кощей покачал головой.

— Мы уже поговорили. Хорошо поговорили. И хватит. Предлагаю на время эти встречи прекратить. В нынешней ситуации они небезопасны.

Марат ушел первым. Не потому что испугался, а потому что стало тоскливо. Дерзкие, талантливые, полные молодой силы люди — лучшие, какие только есть в стране — сникли и сжались. В тряпочку молчать не будут, но под печку-таки забьются. Будут тихонько стрекотать оттуда сверчками. Какая-то нескончаемая пьеса «Дракон». Реплика архивариуса Шарлеманя: «Да, тут уж ничего не поделаешь. Мы сейчас гуляли в лесу и обо всем подробно переговорили. Завтра, как только Дракон уведет ее, я тоже умру».

Потому что Ланцелоты, победители драконов, бывают только в сказках. В стране Россия всегда, из века в век, побеждает Дракон. У него клыки, когти, испепеляющее пламя. И покорное стадо, которое горячо одобрит всё, что он прикажет.

Чехословацкие события заслонили другое потрясение, связанное с отцом.

Вот кто был настоящий Ланцелот — судя по тому, как о Панкрате Рогачове рассказывают те, кто его помнит. Бесстрашный рыцарь, вступивший в схватку с драконом самодержавия и сразивший его. Но

вместо отрубленных голов у российского чудища немедленно выросли другие, более жуткие. Этот новый монстр отца уничтожил, но Марат никогда не сомневался: гибель была доблестной.

Зачем только он пробился через все преграды в этот поганный архив? Жил бы себе в блаженном заблуждении и дальше.

На этот раз Марата отвели в другое помещение, не то, где он знакомился с делом Сиднея Рейли. Правила здесь были строже. Сотрудник ни на минуту не отлучался, всё время наблюдал за посетителем. Переписывать и копировать материалы запрещалось. При этом выдали не всю папку, а только протокол последнего, результирующего допроса.

Марат оцепенело читал:

«Вопрос: Подтверждаете ли вы факт сотрудничества с царской охранкой, которая завербовала вас во время сибирской ссылки?»

Ответ: Да.

Вопрос: Отвечать полно, с подробностями.

Ответ: Я подтверждаю, что был завербован охранкой и сообщал ей сведения о деятельности партии.

Вопрос: Вы участвовали в троцкистском заговоре, составленном с целью убить товарища Сталина накануне XV съезда ВКП(б)?

Ответ: Да, участвовал.

Вопрос: В заговор вас вовлекла активная участница троцкистской секретной группы Бармина?

Ответ: Да.

Вопрос: Не слышу. Громче. Кто вас вовлек в заговор?

Ответ: Бармина.

Вопрос: В каких отношениях вы находились с Барминой?

Ответ: Я был ее любовником.

Вопрос: Свидетель... [фамилия вымарана] показывает, что накануне XVIII съезда ВКП(б) вы говорили, цитирую: «Надо скинуть этого грузина, а не получится, так убить». Было это?

Ответ: Было.

Вопрос: Свидетель... также показывает, что в ноябре 1934 года вы дважды конспиративно встречались с сотрудником британского посольства Дартмондом, впоследствии уличенным в шпионаже. О чем вы с ним говорили?

Ответ: А свидетель... не рассказывал?

Вопрос: Вы отлично знаете, что он при разговоре не присутствовал. Не виляйте, Рогачов. Какое задание вам дал Дартмонд?

Ответ: Не знаю. Не помню... Извините, вспомнил. Дартмонд дал мне задание записаться на прием к товарищу Сталину и незаметно высыпать на пол порошок, испускающий ядовитые испарения».

И так на пятнадцати листах. Отец признавался во всем, в чем его обвиняли. Не возражал, не протестовал, не оправдывался. Так мог себя вести только человек, полностью раздавленный и сломленный. Следователь неоднократно поминал свидетеля, чья фамилия была вымарана фиолетовыми чернилами, лишь в одном месте можно было разобрать первую букву — «Б».

Если бы следствие проводилось в тридцать седьмом, когда вышло печально знаменитое секретное постановление ЦК о допустимости «методов физического воздействия», можно было бы объяснить поведение отца запятанностью. Один бывший арестант той страшной поры рассказывал Марату, что в какой-то момент, после нескольких суток пыточного «конвейера», хотелось только одного: чтобы мука поскорее кончилась, пусть уж лучше расстреляют, и ради этого некоторые подписывали что угодно. Но отца арестовали в тридцать пятом, и к январю тридцать шестого следствие уже закончилось. На последней странице протокола приписка: «Высш. м.н. прив. в исп. 01/02 1936 г.».

Клобуков назвал Панкрата Рогачова «стальным». Рейли не сломался даже после психологической пытки, когда много часов ждал расстрела. А отец рассыпался в прах.

Марат всегда считал себя слабым сыном сильного отца — яблоко откатилось далеко от яблони, а оказывается, нет, недалеко. Самое противное, что в этой мысли было и нечто утешительное, будто с тебя сняли часть вины. Нет в России никаких Ланцелотов и не может быть. Нерусское имя, нерусский способ борьбы со Злом.

«А какой — русский? — спросил Марат у своего отражения в черном стекле вагона. Поезд метро грохотал и лязгал. Колеса стучали: — Ни-ка-кой, ни-ка-кой...»

По дороге завернул в винный, чтобы не давиться сладким Тониным пойлом. Взял бескомпромиссно бутылку белой. Только сел на кухне, приготовился наполнить стакан — скрипнула входная дверь.

Бодрый голос позвал:

— Зая, ау! Ты дома?

Антонина вернулась! На три дня раньше, чем должна была.

Он еле спрятал бутылку. Хорошо не успел выпить — сразу бы унюхала.

Но Антонина и без запаха сразу почуяла неладное. Начала рассказывать, что из-за «чехословацкой фигни» делегации порекомендовали прервать поездку, но на полуслове прищурилась, наклонилась, потянула носом.

— Слава богу показалось. В старые недобрые времена такая физиономия у тебя бывала перед запоем. Ты чего такой кислый? Из-за чехов? Ну и дурак. Я об этом всю дорогу думала. В самолете нарочно села с Шевякиным — ну, ты знаешь, наш зампред, очень вхожий товарищ, по нему можно, как по барометру, погоду прогнозировать. Не буду тебе пересказывать, что я из Олега Сергеевича вытянула. Перехожу сразу к выводам.

Вид у нее был, как у полководца перед сражением. Энергия так и брызгала, ни малейших следов усталости от перелета.

— Сейчас всё изменится. Будет капитальная перетасовка колоды. Например, буревестники, с которыми ты хороводишься, станут героями вчерашнего дня. Туда им и дорога. Мелочь они, накипь.

Антонина скорчила гримасу. Будто и не клянчила перед каждым «воскресником», чтоб муж взял ее с собой к Гривасу.

— А это что означает? — подняла она палец. — Ну-ка, шевельни мозгой.

— Что?

— Что папхен снова выйдет в козыри. Потому что классик Большого Стиля и звезда Великой Эпохи. Это хорошо для евреев? Это для евреев просто отлично. Потому что ты его любимый зять. Короче, Рогачов, раньше ты ходил на Лаврушинский из-за Машки, а теперь будешь ходить к тестю. Интенсивность визитов резко увеличиваем, переводим ваши отношения из разряда светских в разряд интимно-родственных. Прямо завтра будет семейный обед в связи с возвращением блудной дочери из загранкомандировки. Я разорилась, купила папхену в валютке Будапештского аэропорта бритву «Браун», мамхену французские духи. Твоя задача на сей раз не сидеть со

скучающим видом, а заинтересованно расспрашивать маститого драматурга о творческих планах. Ясно?

— Как скажешь, — вяло кивнул Марат. Из него будто вышла вся сила.

Таким же потухшим, безвольным, тихим сидел он на следующий день, в субботу, за столом у тестя с тещей. Расспрашивать Афанасия Митрофановича ни о чем не понадобилось, старик говорил без остановки. Не о Чехословакии. Подобно дочери, он не особенно интересовался большими событиями — лишь тем, как они отражаются на его жизненных обстоятельствах.

События отражались очень хорошо.

— Снова Чумак всем понадобился. Вспомнили! — Он будто на десять лет помолодел, даже морщины на лбу разгладились. — На старости я сызнава живу. Звонят, зовут, предлагают. Прямо хоть разорвись. Но я, наверно, заключу договор с Театром Советской Армии. Директор говорит: хотим сделать вас нашим локомотивом. Каково? — Пропел: — «Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне остановка». — Рассмеялся. — Пьеса про Вьетнам, говорит, остается за вами, командировка тоже, но очень просим в первую очередь сделать масштабное полотно на ближневосточном материале, это сейчас самое актуальное. Двойной аванс, повышенные авторские плюс две поездки: в ОАР и в Сирию.

Антонина присвистнула:

— Ого, это тебе не Ханой. Командировочные в валюте, по первой категории.

— Не в том дело. Какая тема! У меня давно руки чешутся. — Тесть возбужденно сжал кулаки. — Я в прошлом году, сразу после Шестидневной войны, подал заявку на пьесу об израильской угрозе. Сказали: пока не время, может быть превратно истолковано. А теперь время! Потому что среди чехословацкой контры половина — носатой национальности. Среди наших болтунов-пачкунов и того больше. У меня будет пьеса вроде как о строительстве Асуанской плотины. Мирный труд, братская помощь, советские специалисты. Но один из арабских инженеров на самом деле ихний еврей, они «сефарды» называются. Только он, сволочь, скрывает. Работает на «Моссад», готовит диверсию. Люди будут смотреть и мотать на ус: э, да это не

про Асуан, это про наших сефардов. Я-то помню, как они, пролазы, двадцать лет назад хвост поджали, когда «космополитов» гоняли. Потом снова обнаглели, повылазили, как поганки в сырую погоду. Ничего, погода теперь будет какая надо.

Он показал кому-то кулак.

С Маратом что-то происходило. Он смотрел в тарелку, на недоеденный шницель, и часто помаргивал. Тоже вспомнил времена «борьбы с космополитизмом» и «заговора врачей». Как раз в пятьдесят втором, пятьдесят третьем женихался с Антониной, сидел за этим же самым столом, слушал такие же разговоры и внутренне сжимался: вдруг будущий тесть узнает? В том, что мать сидит, он, конечно, признался, такое утаивать было нельзя. Афанасий Митрофанович спросил, нахмурившись: «Отношения поддерживаешь?». Узнав, что Марат пятнадцать лет не имеет от матери никаких вестей, успокоился. Сказал: «Тогда ладно. Партия тебе сталинскую премию дала — значит, претензий не имеет». Но если бы узнал, что мать у Марата еврейка, жениховству сразу настал бы конец.

— Жалко Иосиф Виссарионович рано умер, — сказал Чумак, не замечая, что зять сидит мрачнее тучи. — Еще бы годик, даже полгода, и переселили бы всё это хапужное племя за Байкал. Пусть бы там работать поучились: лес валить, навоз за коровами выгребать. Насколько бы у нас тут воздух чище стал! Ничего, еще переселим. Раз мы на Запад оглядываться перестали, теперь всё возможно. Марат, ты чего нос повесил?

— Да вот думаю, как ваша внучка поедет навоз выгребать, — неожиданно для самого себя ответил Рогачов, поднимая голову и глядя тестю в глаза. — Она ведь на четверть еврейка.

— Правда что ли? — воскликнула Маша, до этой минуты зевавшая.

— Правда. Твою бабушку звали Руфь Моисеевна. Так что твой папа наполовину еврей, а по еврейским правилам вообще чистокровный. У нас евреев национальность по матери считается.

«У нас евреев» произнес с нажимом и улыбнулся, видя, как у Чумака отвисает челюсть.

— Ну, вы тут пообсуждайте, как мы с Машкой за Байкал поедем, а я пойду. Воздухом подышу. Свежим.

В коридоре у двери его догнала Антонина. Шепнула:

— Ну, Рогачов, ты даешь. Вот таким я тебя люблю. Пойду дедушке еврейской внучки корвалол капать.

И поцеловала.

Он шел домой замоскворецкими переулками, сам себе изумляясь. Что за муха его укусила? Или нет, что за архангел-воитель осенил его крылом?

Каждый человек гордится какими-то поступками, которые он совершил в жизни. Обычно — тем, что ему трудно дается, что потребовало какого-то преодоления. У всех это очень по-разному, потому что для кого-то рискнуть жизнью не бог весть какое достижение, а для кого-то просто не вжать голову в плечи — подвиг. Марат скорее относился ко второй человеческой категории. Всю жизнь избегал ситуаций прямого столкновения и конфликта.

Вот вроде бы он известный писатель, успешный сценарист, принадлежит (Тонино выражение) к «крем де крем творческой элиты», а одно из самых приятных воспоминаний — как в семнадцать лет впервые наконец подрался в заводском клубе. Раньше при малейшей угрозе потасовки тушевался, ретировался и потом изводился стыдом. А тут не спасовал — ударил. Неважно, что потом сбили с ног и пару раз двинули ногой, всё равно появился повод для гордости, больше двадцати лет греет душу. Или как стащил из гебешного архива записки Сиднея Рейли — тоже совершил такое, на что способным себя не считал.

Теперь буду маслиться, вспоминая, как героически нахамил старому болвану, иронически подумал Марат, но ирония была не без кокетства. А еще — чего уж перед самим собой прикидываться — приятно было вспомнить, с каким уважительным удивлением смотрела на него Антонина. «Вот таким я тебя люблю».

Да не в Антонине дело, одернул себя Марат. Грош цена ее уважению. Суть в самоуважении. Ты чуть-чуть его приподнял. А «чуть-чуть» для тебя сейчас — уже очень много.

У каждого свой потолок высоты. Для Незнамского с Уховым это бунт на коленях — увильнуть от участия в позорном собрании. Для блистательной компании Гриваса это полет курицы-нептицы: написать смелое стихотворение и читать его друг другу за закрытыми дверями.

Но кто ты-то такой, Марат Рогачов, чтобы судить о них свысока? С какого висока? Куда ты-то взлетел?

А ведь неправда, что вокруг одни Шарлемани, что Ланцелотов на Руси не бывает. Сегодня суббота. На даче собрались «семинаристы», и они не бунтари на коленях, не кудахтающие курицы. Вот где и с кем нужно сейчас быть.

Новый, самому себе незнакомый Марат не стал больше ни о чем думать. Чтобы не испугаться. Просто повернул к кольцевой станции метро, доехал до Казанского вокзала и купил билет на электричку до Братова.

Но там будет Агата!

Вот и отлично. От нее тоже нечего бегать. Хочешь задать ей вопрос, который тебя мучает, — подойди и задай.

На загородной станции, выйдя из вагона, он всё же остановился. Спросил себя: «Ты хорошо подумал, Рогачов?». Ответил: «Совсем не думал. И не буду. Не то перетрушу и поверну обратно». Как там было, в выписках Рейли? Ум всё портит, потому что руководствуется только выгодой, и это достойно презрения — что-то в этом смысле. И еще, что всякое важное решение нужно принимать не долее чем за семь вдохов и выдохов.

Пока он семь раз вдыхал-выдыхал, поезд отошел, стало видно противоположный перрон, и там, почти напротив, стояли Агата и Рыжий, ждали электричку на Москву.

С выдохом из Марата словно выходила непонятно откуда взявшаяся сила, ум не бездействовал и всё портил.

Прийти на дачу к Косте и Тамаре означает присоединиться к ним. И ко всему, что они намерены сделать. А «семинаристы» обязательно что-нибудь сделают. Что-нибудь такое, после чего жизнь разлетится вдребезги.

Но увидел Агату, и ум отключился. Она стояла нахмуренная, сосредоточенно слушала Рыжего, глядя на него снизу вверх. Впервые Марат заметил, что она маленького роста — вблизи Агата казалась высокой.

Если бы снова стал отсчитывать вдохи, наверняка попятился бы, пока его не заметили. Первый порыв был именно таков. Но Марат потрянул головой, крикнул:

— Агата!

Повернулись. Рыжий настороженно — кажется, не сразу вспомнил, кто это. Потом сообразил, кивнул. Агата улыбнулась, махнула рукой.

— Поднимись, поговорить надо! — Марат показал на мост, перекинутый через пути.

Она оказалась наверху первой — легко взбежала по ступенькам. Еще издали сказала:

— Ты на дачу? Очень хорошо. Тамара там одна, в жутком состоянии, всё время плачет. А мы с ней долго оставаться не могли, нам нужно готовиться...

Не договорила.

— Почему плачет?

На мосту дул ветерок, которого внизу не было, шевелил Агате волосы. Господи, как же мучительно хорошо находиться с ней рядом, он и забыл.

— Ты не знаешь? Хотя откуда... — Она вздохнула. — Вчера наши «семинарские» устроили акцию протеста. Там были все кроме меня и Тамары. Я не пошла, потому что... неважно почему. А Тамаре велел не участвовать Коста. Потому что кто-то должен остаться на свободе и носить передачи. Она проводила их до Красной площади. Видела, как всех скрутили, в один момент. Они даже не успели развернуть плакат... И вот она сидит одна, рыдает. Повторяет: «Я знала, я знала...». Побудь с ней.

— А ты куда?

— Мы приезжали узнать, как всё прошло. Миша оказался прав, когда их отговаривал.

— Он их отговаривал? Почему?

Марат посмотрел на Рыжего. Тот поглядывал на них снизу, дымил сигаретой.

— Сказал: «Не будет никакой пользы. Впустую потратитесь». Коста ему: «Спасти честь России — это, по-вашему, потратиться впустую?». Миша говорит: «Ни хрена вы не спасете, только сами перед собой покрасуетесь». Они его выгнали. И я тоже ушла.

— Почему ты его... выбрала? — задал тут Марат тот самый вопрос. — Ведь он неразвитый, говорит глупости, даже пошлости. У вас с ним ничего общего.

— Хочешь знать, почему я выбрала его, а не их? — не поняла она. — Потому что Миша тратить себя впустую не станет. Да, он не интеллигент. Но это значит, что в нем нет интеллигентского увлечения жестом. Если он что-то делает, то ради дела, а не ради красоты.

— Эй! — донеслось снизу. — Поезд!

Со стороны области показалась электричка.

— Почему ты его полюбила? — быстро сказал Марат. — Почему *его*?

«А не меня» он не добавил, но на этот раз Агата поняла. Секунду-другую поколебалась.

— Почему его? Завтра ровно в одиннадцать будь у гостиницы «Россия». Где выход на запад.

— Зачем?

— Только ко мне не подходи. Ни в коем случае.

Она повернулась уходить.

— Почему не подходить? — крикнул он вслед. — Что ты там будешь делать?

Но на станцию с грохотом вкатывался поезд, и Агата не услышала. Она вприпрыжку неслась вниз по ступенькам, к машущему рукой Рыжему.

Наука старости



Нелепый парадокс

Я смотрю на старую фотографию, и у меня щемит сердце. На снимке восьмой класс Александровской гимназии, мой класс. Выпуск 1914 года. Тридцать юношей. Самому старшему девятнадцать лет, самому младшему, мне, семнадцать.

Сердце щемит не оттого, что мальчики не знают своей грядущей судьбы, а я знаю. На самом деле почти про половину мне ничего не известно. Четырнадцать моих одноклассников бесследно сгинули в хаосе Гражданской, или эмигрировали, или растворились на просторах огромной страны, где так легко затеряться.

Но как сложилась жизнь шестнадцати остальных, я знаю.

Четверо погибли на фронтах мировой войны. Меня от призыва спасло только то, что, когда подошел мой возраст, грянула революция. Все прочие кроме горбатого Силантьева-третьего (на снимке он прямо над директором) отправятся на войну «вольнооперами».

Семерых заберет Гражданская: двое погибнут в белой армии, один в красной, Лимбаха расстреляют во время террора, Илюшина на улице зарежут бандиты, двоих убьет испанка.

Двоих репрессируют в тридцатые.

Баратов, геофизик (он справа от меня, с юношескими усиками), пропадет без вести в сорок первом, в ополчении.

До старости доживем только я и Костя Буткевич по кличке Бублик (крайний слева в первом ряду).

Что из этой печальной статистики следует — помимо очевидных банальностей про ужасный век и ужасную страну?

То, что мы с Буткевичем вытянули выигрышные билеты. Двое из шестнадцати. Как минимум из шестнадцати, а может быть, и из тридцати. Нам несказанно, фантастически повезло.

И что же? Три года назад я повидался с Костей, после, боже мой, полувека разлуки. Он где-то в прессе наткнулся на мое имя, позвонил, встретились.

Какое же это было тягостное свидание! Не потому что розовощекий смешливый Бублик стал сед, морщинист, сутул, а потому что половину времени он жаловался на старость, болезни, маленькую пенсию, неблагодарных детей, грубых соседей по квартире, «тошноту

бытия». Под конец даже расплакался. «Помнишь, какие мы были?» — всё повторял он, сморкаясь в застиранный платок и им же утирая слезы.

А я думал: «Что же ты ревешь, неблагодарный ты дурак? Ведь ты счастливец, ты проскользнул меж всех пращей и стрел яростной судьбы, она тебя пощадила. Ради чего? Чтобы ты теперь ныл?». Но ничего такого, конечно, вслух говорить не стал, потому что наша встреча несколько напоминала рассказ «Толстый и тонкий». Я — счастливый в семейной жизни, обеспеченный, член-корреспондент и прочее, не мог укорять одинокого пенсионера-бухгалтера за уныние.

Но потом я долго об этом размышлял. Не о Бублике и даже не об убогой старости жителей бедной, плохо устроенной страны. Шире — про нелепый, поразительный парадокс человеческого существования.

Все мы — ну, почти все, за исключением тех, кто одержим комплексом суицидальности — боимся смерти, в любой опасной ситуации стремимся во что бы то ни стало выжить, следим за здоровьем, и так далее. Цель этих усилий, подчас невероятных, вроде бы очевидна: мы хотим жить дольше. Тот, кто осуществил эту мечту, становится стариком. Человек получает заветный приз, но приз этот оказывается горек.

Об этом писал в своих «Сатирах» еще Ювенал, две тысячи лет назад:

«Дай мне побольше пожить, дай мне долгие годы,
Юпитер!»

— Этого просит здоровый, и только этого —
хворый.

Но непрестанны и тяжки невзгоды при старости
долгой.

Прежде всего безобразно и гадко лицо, не похоже

Даже само на себя; вместо кожи — какая-то шкура:

Щеки висят, посмотри, и лицо покрывают
морщины.

\ ... \

Все старики — как один: все тело дрожит, как и
голос,

Лысая вся голова, по-младенчески каплет из носа,

И безоружной десной он, несчастный, жует свою пищу:

В тягость старик и себе самому, и жене, и потомству.

Старостью брезгают, она считается некрасивой, пугающей. Стариков принято жалеть. В лучшем случае к ним относятся снисходительно, но чаще всего с досадой как к чему-то докучному, бесполезному, неинтересному. Покажите любой девушке сморщенную старуху и скажите: «Смотри — ты станешь такой, если разумно и правильно проживешь свою жизнь, так что старайся». Я полагаю, что девушка придет в ужас.

Мои рассуждения могут показаться тривиальными. Я ломлюсь в открытые двери. Но страх показаться тривиальным, стремление всегда и во всем оригинальничать — атрибут незрелости. А старость это прежде всего зрелость. Вот совершенно неоригинальная метафора. Жизнь подобна яблоку. Оно, конечно, радуется взгляду, когда представляет собой почку или цветок, но назначение и смысл яблока — стать сочным плодом, созреть, и потом, повисев положенное время на ветке, быть сорванным и порадовать кого-то своей сладостью и ароматом. Такова и идеально прожитая жизнь.

К тому же вопросы, на которые ты не сумел найти удовлетворяющий ответ, тривиальными не бывают: в чем смысл жизни вообще и конкретно *моей* жизни; что я такое; как жить правильно и неправильно?

Много лет я пытаюсь ответить самому себе на самые важные вопросы. И вот дошел до последнего: как правильно стариться и как правильно уходить из жизни? Как сделать так, чтобы главный приз жизни воспринимался именно как приз, а не как «тошнота бытия»?

Драгоценнейший из жизненных навыков — умение быть счастливым. Вопреки всему. Кому-то этот дар достается от рождения — как моей первой жене Мирре, от которой счастье исходило постоянно, как аромат от цветка. Но это именно что дар, притом редкий, особенно в России, стране, привыкшей гордиться и даже упиваться несчастьем. Мне не приходилось встречать безоблачно счастливого русского интеллигента, мы все в той или иной степени мазохисты. Чем сложнее устроена психика русского человека, тем

труднее ему дается счастье. За исключением разве что искренне и глубоко религиозных людей вроде Иннокентия Ивановича. Те твердо знают, что во всем есть смысл, что жизнь хорошо закончится и потом, после конца, всё будет еще лучше. Старость и смерть им несколько не страшны. Но такая вера — опять-таки дар. Я так не умею.

Но если ты чего-то не умеешь, этому можно учиться и научиться. Науку стареть — а это наука, притом сложная — нам никто не преподает. Значит, придется постигать ее самоучкой. Ничего, я высокомотивированный ученик. Я буду очень стараться.

Я давно собирался разобраться в этой теме, лет с пятидесяти. Даже несколько раз подступался, но ничего не получалось — одно умозрительное теоретизирование. Чтобы по-настоящему ощутить старость, надо *стать* стариком. Точно так же не способен сказать ничего содержательного о любви тот, кто никогда ее не испытывал.

У нас в России люди превращаются в стариков лет с шестидесяти. Из-за скверных условий жизни (скудного питания, плохого медобслуживания, массы нездоровых привычек) советский человек дряхлеет раньше, чем западный. Но мне повезло. Мое старение отсрочилось и замедлилось, потому что я женился на Тине, и она продлила мне молодость своей любовью, своей силой, тем, что родила Марка.

Ну вот, и я туда же! Следуя цели и логике трактата, следовало бы написать, что мне не повезло вовремя состариться. (Это я пытаюсь шутить, что у меня никогда хорошо не получалось, Тина говорит, что я обделен чувством юмора.) На самом деле мудрость, конечно, состоит в том, чтобы ценить всякий сезон жизни и пользоваться его благами. Так человек, любящий природу, находит свою прелесть и в весне, и в лете, и в осени, и в зиме. Перемена во мне произошла в прошлом году, после инфаркта, когда я достиг возраста, про который в «Псалтыри» сказано: «Дней лет наших семьдесят, а при крепости восемьдесят, и наполняют их труд и болезнь».

В чем мне действительно повезло, так это в том, что я тогда не умер. Моя жизнь осталась бы незавершенной, я так и не узнал бы, что такое старость. Но я выжил, лишь сильно ослабел, лишился некоторых прежних возможностей, постоянным фоном моих дней стала усталость, а ночей — бессонница, мне пришлось свыкнуться с новыми постоянными спутниками: болью, упадком сил. Одним словом, я стал

стариком. И теперь, как говорится, учусь в этой школе без отрыва от производства.

Я приступаю к занятиям, вооружившись своей всегдашней обстоятельностью и методичностью. Тина называет это мое качеством «занудством» — что ж, вопрос терминологии. Любой трактат зануден, на то он и трактат, а не фельетон.

Поскольку я медик, применю обычный для моей профессии метод. Буду считать, что неумение стареть является болезнью, ухудшающей качество жизни и чреватой преждевременным летальным исходом. Сначала следует установить причины и анамнез, потом выработать программу лечения, осуществить ее, по возможности восстановить здоровье — и жить полноценной жизнью, которая и есть счастье.

Я уже знаю, что последняя глава моего трактата будет называться «Счастливая старость».

История старости

Это прозвучит оксюмороном, но старость — явление молодое. Ученые считают, что человеческому роду двести тысяч лет. Если так, старики как существенная часть популяции появились совсем недавно — вероятно, всего за пару тысяч лет до нашей эры. В захоронениях первобытных людей пожилых покойников не находят. Люди просто не доживали до преклонного возраста. Увядая и слабея, член общины уже не мог себя прокормить, а скудные условия существования не позволяли остальным расходовать драгоценную пищу на малополезного едока. У племен, задержавшихся на примитивной стадии развития, до совсем недавнего времени сохранялась традиция геронтоцида, или, как это иногда называют, принудительной эвтаназии. Стариков отводили в какое-нибудь отдаленное место и оставляли там умирать от голода. У эскимосов подобная практика существовала еще в начале нынешнего столетия.

Содержание стариков — роскошь, которую может позволить себе только более или менее сытое общество. На планете подобные очаги цивилизации стали возникать лишь в античности, восточной и западной.

У греков и римлян отношение к старости было двойственное.

С одной стороны, она считалась «проклятием богов», а большинство стариков вызывали насмешку. Я уже цитировал Ювенала. Не добрее к пожилому человеку Гораций:

В том, что он делает, нет ни огня, ни задора,
В мыслях медлителен он и не склонен к надеждам,
Вял, хочет дольше прожить, трусоват и ворчлив,
Хвалится днями былыми и юных ругает.

Но делалось исключение для тех немногих, которые жили достойно, заработали авторитет и обрели мудрость. «Старик заслуживает уважения, если он отстаивает свои права, ни от кого не зависит и сохраняет власть над собою до последнего вздоха», — писал Цицерон, приверженец стоицизма.

С тех пор, в общем, мало что изменилось. Большинство старых людей по-прежнему никчемны, поскольку прожили свою жизнь кое-как и к почтенному возрасту никакой почтенности не обрели. Не помудрели, а только оскудели умом, если он и был. На словах выказывая пенсионерам уважение, общество относится к ним с терпеливой (а то и нетерпеливой) досадой. Те в процентном отношении немногие, кого уважают, заслужили такого к себе отношения знаниями, умениями, репутацией или семейными добродетелями — хорошо воспитали своих детей.

Я бы даже сказал, что в двадцатом веке к старикам относятся хуже, чем двести или триста лет назад. Во-первых, потому что до индустриальной революции и связанного с нею скачка в продолжительности жизни пожилые люди составляли весьма небольшой, малообременительный процент населения — дешевле обходились обществу. Во-вторых, старость, еще в восемнадцатом столетии почитавшаяся как нечто импозантное, была вытеснена культом молодости, развившимся сначала из-за моды на романтизм, потом из-за моды на революционность, а в эру массовой культуры — из-за моды на моду. Иллюстрированные журналы, кинематограф, а затем телевидение возвели в эталон стройность, молодость, сексуальность и предали анафеме седины, морщины, лысины и прочие атрибуты старости. Все хотят выглядеть молодо, а для женщин стареть почитается чуть ли не стыдным.

Это у меня не возрастная ворчливость, на которую сетует Гораций, это реалии современности. Возможно в будущем, когда развитие медицины приведет к тому, что пожилые люди окажутся в большинстве, появится мода на старость, но до этого пока еще далеко.

Впрочем нечто вроде «моды на старость» исторически существовало в некоторых восточных культурах, придерживающихся коллективистских, а не индивидуалистических ценностей. Скажем, в Китае, с его конфуцианской доктриной почтения к старшим. Или на Кавказе, где, по выражению Лермонтова, «старцы с белыми власами судили распри молодых», или в тех исламских регионах, где велика роль религиозных вождей, как правило седобородых. В подобных социальных системах молодые мужчины обычно стремились выглядеть старше своего возраста, ибо это повышало статус, а старые люди встречали зиму своей жизни без печали.

Я знаю, что в самых трудных вопросах бытия поэты иногда могут помочь больше, чем философы, потому что главные вещи не столько осмысляются рассудком, сколько улавливаются чутким к душевным движениям талантом. И прежде чем приступить к написанию своего трактата, я сделал себе подборку стихотворных цитат про старость. Получилось любопытно: европейские поэты в основном грустят и сетуют.

Всё погубило под холодом лет,
Что когда-то отрадою было,
И надежды на счастье нет,
И в природе всё стало уныло.

Так пугает себя старостью молодой Иван Никитин, которому впрочем было суждено умереть в 37 лет. У Фета «злая старость всю радость взяла». И так далее.

А вот в коротких, емких стихах классических японских поэтов ощущается нечто иное, очень интересное: своего рода любование старостью. Никакого страха перед «зимой».

Автор восемнадцатого столетия Бусон:

Зимняя слива.
Старые пальцы тяну
К цветам на ветке.

Поэтесса одиннадцатого (невероятно!) века Идзуми-сикибу:

Пробую считать:
Моей зимы осталось
Всего лишь чуть-чуть.
Ну что ж, я совсем стара,
Но нет во мне печали.

Будучи уже на восьмом десятке, я пишу о восточном мировоззрении не без зависти. Я бы был не прочь стариться в

конфуцианском мире.

Однако же я отнюдь не приверженец геронтократии, о нет. Геронтократия вредна, поскольку старый человек обычно обращен в прошлое и мало приспособлен для новаторства, а стало быть для развития. Но не менее опасна и геронтофобия, распространившаяся в современном западном мире. Во-первых, она внушает людям страх перед собственным будущим, а во-вторых, есть важные сферы, в которых старики могут проявлять себя лучше молодых, потому что они обладают жизненным опытом, менее амбициозны и не так подвержены страстям. Конечно, старому человеку не следует занимать административные должности, ибо они требуют энергии, хорошего понимания современности и способности заглядывать в будущее, но из аксакалов могут получаться арбитры при решении споров, учителя, духовные наставники. Идеальное сочетание, когда реальной властью обладают люди активного возраста, а нравственным авторитетом — преклонного: король Артур и кудесник Мерлин, китайский богдыхан и старец-даос, 30-летний Дмитрий Донской и 66-летний (для четырнадцатого века это глубокая старость) Сергей Радонежский.

В Спарте войском и полисом правили цари и выборные эфоры, но герусия, совет старейшин, обсуждавший законы, состоял из уважаемых спартанцев не моложе 60 лет. В сегодняшней Британии функцию предохранителя от необдуманных государственных актов выполняет Палата лордов, которая после реформы состоит не из наследственных членов-аристократов, а из заслуженных людей. Их средний возраст на 20 лет выше, чем у членов Палаты общин, которая имеет все властные полномочия. Лорды обладают весьма ограниченными правами — лишь «отлагательным вето», то есть могут на время задержать принятие билля, который считают неправильным. Это и есть одна из миссий старости: напоминать в сложной ситуации, что нужно сначала семь раз отмерить.

А впрочем я слишком увлекся темой «Старость и общество». Это совсем не входит в мою задачу, да у меня и нет возможности как-то изменить отношение общества к старикам. Но я безусловно могу изменить свое собственное отношение к старости.

И начать следует с самой трудной проблемы: как справляться с тяготами старения?

Тяготы старения: инструкция по эксплуатации

Я выбрал столь техническое название для этого важного раздела, потому что оно отражает самую суть поставленной задачи. Правильная позиция по отношению не только к старости, но и вообще ко всем невзгодам и тяжким испытаниям, подстерегающим человека в жизни, — задаваться вопросом «зачем мне это?», «какую я могу извлечь из этого для себя пользу?». Она почти всегда есть, если как следует подумать.

Именно это я и сделаю: как следует подумаю.

Начну с тезиса, который кажется мне неоспоримым. Не столь важны происходящие в твоей жизни события, сколько твое к ним отношение. Именно оно делает человека счастливым или несчастным. В свое время я дозрел до истины, которая некоторым баловням дается от природы: нужно фиксироваться не на том, что приводит в уныние, ослабляет дух, парализует волю, а на том, что делает тебя сильнее и выше, избавляет от страхов. Не сгибает, а распрямляет.

По своему складу я не являюсь прирожденным позитивистом — не в философском значении этого термина, а в обиходном: человеком, который умудряется даже в самом печальном обороте событий находить нечто ободряющее. В юности я, наоборот, был из нервных, мнительных и «накручивающих себя». Но я заставил себя научиться позитивному восприятию бытия. Потому что оно помогает справляться с бедами. Оно *полезнее*.

Это не во всех случаях возможно, ибо трагедия есть трагедия. Как отнесешься позитивно к потере того, кого любил? Однако далеко не все удары судьбы трагичны, большинство просто неприятны или всего лишь создают тебе проблемы. Однако неприятности не заслуживают терзаний, а проблемы возникают для того, чтобы их благополучно решить и тем самым сделать себя сильнее, а свою жизнь лучше.

Возьмем такую вроде бы общепризнанную пакость как наступление старости.

Она что-то хорошее у тебя отбирает, но и что-то хорошее приносит. Фиксироваться следует не на первом, а на втором.

Можно посмотреть на это так: ты лишаешься чего-то подержанного, чем ты уже напользовался, а приобретаешь нечто новое, «ненадёванное». Приглядываясь к своим обновам, скоро понимаешь, что за каждую из них пришлось заплатить чем-то из прежнего твоего гардероба. Нельзя же одновременно носить тюбетейку и шляпу, детские штанишки и брюки, модные остроносые штиблеты и удобные домашние тапочки. Нужно всего лишь убедить себя, что переодевание — к лучшему. Всякая среда требует соответствующего наряда. Зимой одеваются по-зимнему, а дома — не так, как на службе. Зачем мне тесный пиджак и галстук, если я больше не хожу на работу и могу вволю посидеть в кресле, у абажура?

Итак, следует отказаться от концепции старости как потери и взять за основу концепцию старости как обмена, причем выгодного.

Что ж, попробую.

Только сначала нужно написать еще вот о чем. Инструкция по правильному старению, вероятно, получится разной для мужчины и для женщины. Потому что страхи, сформированные воспитанием, различиями в физиологии, социальной повесткой, — страхи, которые управляли нами в жизни, отличаются. Мужчину приучают бояться слабости и неудачничества — а старость безусловно отнимает силы и снимает тебя с гонки за жизненным успехом. Женщину приучают держаться за молодость, внешнюю привлекательность — а старость наносит в эту болезненную точку безжалостный удар.

Я не писатель, который умеет вообразить себя совсем другим человеком, любого возраста, пола и состояния, поэтому не буду даже пытаться составить инструкцию для стареющей женщины.

Предположу однако, что разница между нами меньше, чем может показаться. По мере затухания гормональной и общественной активности у человека постепенно ослабевает его половая идентичность. Из мужчины или женщины ты становишься *просто человеком*. Полный жизненный цикл *homo sapiens* своим контуром напоминает лимон. На входе, при рождении, мальчик и девочка начинают из одной точки — младенцами они неотличимы. Затем половое созревание и традиционное воспитание, а часто и образ жизни разводят мужчину и женщину в стороны, но в старости линии опять сближаются и в конце концов сходятся в одной точке, точке выхода. Душа покидает тело старого человека, и уже не столь важно, в штанах

он когда-то ходил или в юбке. Может быть когда-нибудь, через много лет, в каком-нибудь невообразимом 2000 году, Тина перечитает мои записи, и они ей пригодятся.

Что ж, по порядку.

1. То, чего больше не можешь

Конечно, перечень получится длинный, но не буду тратить время на мелочи вроде утраченной способности взбегать по лестнице или игры в бадминтон, которую мы с Тиной очень любили и которую мне запретили после инфаркта. Остановлюсь на двух утратах, которые явились самыми чувствительными и болезненными, способными вогнать в депрессию.

Во-первых, я не могу больше участвовать в операциях, то есть полноценно работать. В течение нескольких десятилетий эта деятельность составляла главный смысл моей жизни. При вопросе «кто я?» ответ был очевиден: «я — анестезиолог». Это был повод для самоуважения, ощущения своей значимости и полезности, даже незаменимости, поскольку Клобукова приглашали участвовать в самых сложных операциях, с которыми, считалось, другой анестезиолог не справится.

И вот я оказался не у дел. Я просто начальник анестезиологического центра. Эти обязанности могут выполнять и другие, да не хуже меня.

В период постинфарктной конвалесценции и реабилитации я очень этим мучился — как мучился бы оперный певец, потерявший голос, или футболист, оставшийся без ноги.

Но оказалось, что можно найти новый смысл жизни вместо утраченного.

Началось с того, что я вдруг понял: у меня освободился мозг. Операционный анестезиолог — рабочая лошадка, постоянно занятая практикой: конкретным пациентом, конкретной клинической ситуацией. У меня никогда не было возможности всерьез погрузиться в исследовательскую работу. А теперь она появилась и очень меня увлекает. Моя разработка криоанестезионного аппарата может произвести переворот во всей оперативной хирургии. Если раньше я

помогал двумстам пациентам в год, то теперь смогу помочь сотням тысяч!

Не буду углубляться в подробности, они для трактата несущественны. Главное, что это правило универсально: всегда можно найти новый смысл твоего существования — лишь бы было желание жить не вегетативно, а осмысленно. И, как в моем случае, новый смысл экзистенции в старости может оказаться выше, чем раньше.

Про вторую потерю мне писать трудно, поскольку тема весьма интимна, а пережить этот удар было еще труднее. Я имею в виду невозможность физической любви. После инфаркта эта сюжетная линия в книге моей жизни завершилась. Ощущение поначалу было почти паническое. Я вроде как перестал быть мужчиной, а ведь у меня жена, молодая женщина.

Когда мы начинали встречаться с Тиной, я, пятидесятивосьмилетний дурак, был уверен, что я уже стар и что моя физиологическая активность осталась в далеком прошлом. В иллюзии касательно собственной сексуальности пребывала и Тина, но ей-то это простительно, она по молодости лет мало знала и жизнь, и самое себя. Мы намеревались жить «белым браком», яко голубь с голубицей. Но любовь порождает нежность, нежность требует касаний. Когда люди любят, им хочется трогать, гладить, обнимать друг друга. В общем, наш платонизм не продержался и недели.

Удар усугубился еще и своей резкостью. Обычно ведь гормональное угасание растягивается на долгие годы. Мой коллега, который несколькими годами старше, однажды, разоткровенничавшись, стал рассказывать, что в тридцать лет его организм требовал «разрядки» каждый день, в сорок пять хватало уже трех-четырёх раз в неделю, в шестьдесят — одного, а потом позывы вовсе прекратились. «Это похоже на постепенное затухание колебаний маятника, всё очень плавно и естественно», — сказал он. Меня же будто взяли и оскопили. «Про это забудьте, — велел мой кардиолог. — А впрочем вам и не захочется».

И это первое, за что я уцепился. Бессексуальность старости менее унижительна и досадна, чем импотенция более раннего возраста. Потому что импотент хочет, но не может, а ты и не хочешь.

Второе, что облегчило мои терзания, это Тинино спокойствие. Она никогда не отличалась чувственностью и, кажется, не ощущает себя особенно ущемленной. Ей нравится засыпать в моих объятьях, на ходу полубоимать меня или целовать, но это ведь куда не делось. Хотя вообще-то, конечно, жениться следует на ровесницах, которые проходят через те же этапы гормональной эволюции, что и ты. Тогда обоим затухание чувственности дается легче.

Потом, когда первое потрясение прошло, в новом состоянии открылись и преимущества. Перестав быть самцом, я стал не меньше, чем был, а больше. Это меня не обеднило, а обогатило. Например, я иначе теперь вижу сотрудниц и вообще женщин. Перестал бессознательно регистрировать, красивые они или нет, да какая у них грудь, да стройны ли ноги и прочие несущественности. Автоматический мужской фильтр в глазах отключился, и я вижу в человеке главное: умный или глупый, добрый или злой, честный или лживый.

А еще я будто освободился от некоей зависимости — вроде никотиновой или алкогольной. Заходя вперед скажу, что «освобождение» — ключевое слово в науке старости. Ты постепенно освобождаешься от самых разных зависимостей, казалось, прилипших к тебе навечно. И в конце концов приходит окончательное освобождение — от жизни. Это и есть правильная смерть.

2. Болезни

Конечно, встречаются совершенно здоровые старики, но это скорее исключение. Разве что человек прожил всю жизнь на природе, где-нибудь в тайге или в горах, занимаясь ясным, полезным и не слишком изнурительным физическим трудом. Однако подавляющее большинство входят в завершающий этап жизни с двойным грузом: и старения, и накопившихся болезней, причем последние ускоряют и осложняют естественные геронтопроцессы.

Не являюсь исключением и я. Помимо кардио-проблемы, у меня наличествует весь традиционный букет мужчины на восьмом десятке: и простатит, и констипация, и артрит. Каждый из этих недугов

чертовски неприятен, унизителен и депрессивен. До тех пор, пока не изменишь к ним отношения.

Здесь на помощь мне пришел Кант, которого болячки одолевали всю жизнь, с молодого возраста. Он дает мудрый совет: вылечить всё, что поддается лечению, а что не поддается — считать здоровьем. Так я себя и настроил.

Мало ли, как я ощущал себя в тридцать или сорок лет. Того Антона Клобукова больше нет. Для нынешнего Антона Марковича совершенно нормально, просыпаясь утром, прислушиваться к собственному состоянию, часто наведываться в уборную по одной физиологической потребности и очень редко по другой, ощущать деревянность суставов и носить с собой таблеточницу с шестью отделениями.

Точно так же в рутину у меня вошли регулярные визиты к коллеге Шварцману, механику-ремонтнику моего поизносившегося тела. Всё это нормально, иначе не бывает.

Главная проблема, кардиологическая, насколько возможно купирована, а то, что мой мотор теперь работает в половину прежней силы, чихает и иногда грозит заглохнуть, так это такая модель, другой не будет. Прочие же, более мелкие докуки я решил презирать. Если какая-то обостряется, на то, во-первых, есть лекарства, а во-вторых, при моем нынешнем режиме работы, когда нет операций, я всегда могу остаться дома и полежать на диване с книгой.

Разумеется, в этом вопросе мне легче, чем другим, потому что как медик я имею доступ к лучшим специалистам, но главное средство защиты — психологическое. Здесь же ответ на вопрос: что́ дает мне болезнь, зачем она?

Как всякое осложняющее жизнь событие, болезнь — испытание, схватка, в которой ты можешь или потерпеть поражение, или одержать победу. Я отказываюсь унывать и пугаться из-за своего хвороватого организма. Как писал Лев Толстой по другому поводу, «он пугает, а мне не страшно». В результате сегодня я чувствую себя физически слабее, но нравственно сильнее, чем раньше. Я подвергся агрессии со стороны судьбы и выстоял. Записываю это себе в плюс. Тут есть чем гордиться.

В болезненности старческого возраста содержится и еще одно благо. Оно звучит жутковато, а всё же на завершающем этапе это очень

нужное и даже необходимое приобретение, без которого счастливая старость совершенно невозможна. Чем тяжелее и утомительнее ты болеешь, тем легче думать о том, что смерть уже близка.

Но об одном из главных призов старости, освобождении от страхов, я напишу ниже. Это интересный, многокомпонентный процесс, и мысль о смерти как об избавлении от болезней здесь лишь один из факторов.

3. Боль

Остановлюсь отдельно на частном проявлении болезней — болевом синдроме, потому что физическая боль отравляет существование хуже всего. Ее ведь не проигнорируешь. Кроме того у меня особенное отношение к боли. Она мой личный, пожизненный враг. Я ведь анестезиолог. Вся моя профессиональная деятельность направлена на то, чтобы укротить это чудовище, загнать его в клетку, не давать ему терзать людей.

Теперь у меня почти всё время где-то что-то ноет, стреляет, схватывает. И я осваиваюсь с этим состоянием, учусь его контролировать. Я укротитель и дрессировщик этого зверя.

Реакция достойна только острая боль — у меня есть фармацевтические и прочие медицинские способы с нею справляться. Но вредно и тошно всё время прибегать к помощи болеутолителей. Самые действенные из них притупляют работу мозга, а мне так о многом нужно размышлять, столько всего продумать и придумать. Поэтому я градирую синдром по стандартной десятичной шкале, и, если он удерживается в пределах пятерки («неприятные ощущения, не препятствующие функционированию»), считаю его чем-то вроде комариного жужжания, на шестерке делаю дистрагирующие манипуляции и особые дыхательные упражнения (им легко может научиться всякий). Лишь с семерки я начинаю применять анальгетики.

Боль порывается на меня, скалит клыки, иногда и покусывает, но знает свое место. Она не любит тех, кто ее не боится.

Вследствие того, что в моей жизни прочно поселился этот неприятный сосед, я внезапно получил доступ к наслаждению, о котором прежде даже не догадывался. Когда ты просыпаешься и

чувствуешь, что у тебя ничего, совсем ничего и нигде не болит, сразу попадаешь на территорию физического счастья. В молодости ты его не испытывал, поскольку считал отсутствие боли данностью. Сейчас же я примерно половину времени определяю градус болевого синдрома — и бываю сосредоточен, а половину времени у меня ничего не болит, и я летаю, как на крыльях. Половина времени, отведенная на счастье, — мало ли?

4. Упадок сил

Я знаю, что в старости многие начинают ненавидеть свое изношенное тело. Женщины — за некрасивость, мужчины — за предательство. Оно постоянно тебя подводит своей бессильностью, и с каждым днем всё коварнее.

Мария Кондратьевна, к концу жизни уже почти не встававшая, однажды сказала мне: «В моем возрасте нужно относиться к своему телу, как к любимой, но одряхлевшей собаке. Да, она стала бестолкова, у нее лезет шерсть, надо постоянно возить ее к ветеринару, она может напустить лужу, от нее несет псиной. Но это твой верный друг, который когда-то скакал вокруг тебя щенком, кидался на обидчиков защитить тебя, принес тебе столько радости, веселья, любви. Нужно жалеть старенького барбоса, баловать, всё прощать. Ведь он скоро умрет, и ты переедешь в иной дом, заведешь себе щенка какой-то иной породы».

О том, как Мария Кондратьевна относилась к смерти, я напишу потом. У меня же выработалась собственная метода. С нудным спутником старения, постоянной физической усталостью и нежеланием что-либо делать, нужно вести себя как Штольц с Обломовым: тормошить, вытаскивать из халата и шлепанцев, увлекать интересными занятиями. По счастью, вся моя деятельность, как профессиональная, так и писательская (если можно назвать писателем того, кто всю жизнь пишет только для себя), не требует мышечной активности, только интеллектуальной. А функционирование интеллекта эволюционирует по иным законам, нежели функционирование мускулов и суставов. От многолетней интенсивной работы мыслительные способности только обостряются. Если в силу

естественной деградации кровеносных сосудов мозга и наступает замедление, то проявляется это еще не в семьдесят лет. Существует теория, согласно которой усиленная эксплуатация когнитивно-аналитической и в особенности творческой потенции мозга, наоборот, притормаживает или даже вовсе останавливает старческие деменционные явления. Очень хотелось бы в это верить.

(Хотя если уж говорить о деменции, одном из самых зловещих пугал старости, скажу, что эта болезнь снаружи страшнее, чем изнутри. Она тяжела, прежде всего психологически, для близких, сам же больной особенно не страдает, постепенно погружаясь в полузабытье, а потом и в забытье, так что смерть приходит незаметно. У меня есть знакомая пара, в которой мужа поразила ранняя форма болезни Альцгеймера. Недавно я навещал их. Впечатления остались очень странные. Бедная Людмила Анатольевна беспрестанно плакала, рассказывала всякие душераздирающие истории о том, как быстро у Якова Семеновича угасает рассудок, а сам он в это время спокойно сидел на диване и с большим удовольствием листал детскую книжку с яркими картинками. Было совершенно непохоже, что он страдает. Я, будучи погружен в тематику моего трактата, подумал: а ведь это не так ужасно, как кажется. Самому Якову Семеновичу жить в таком состоянии осталось вряд ли долго, и никаких эмоций по поводу преждевременной кончины он не испытает, а для Людмилы Анатольевны утрата будет смягчена тем, что она больше не будет каждодневно мучиться, наблюдая за больным и постоянно тревожась, что он причинит себе какой-нибудь вред.)

Но вернусь от интеллектуальной дебилитации к физической. Когда я чувствую, что у меня нет сил куда-то идти или что-то делать, я даю телу отдых и заставляю работать голову. Устраиваюсь в кресле, кладу на пюпитр тетрадь и пишу (именно этим в настоящую минуту я и занимаюсь). Как говорили древние, если тело тянет к земле, воспаряй мыслью ввысь. Сегодня с утра тело меня очень тянет к земле, но я скриплю пером по бумаге и воспаряю.

5. Одиночество

Слава богу, тут не мой случай, но всё же я не могу не остановиться на этом тяжком испытании, с которым сталкиваются многие старые люди, в особенности в двадцатом веке, катастрофы которого оставили столько вдов и вдовцов, отняли столько сыновей и дочерей.

Как справляться с ощущением, что ты совсем один на свете, никому не нужный и не интересный в ту пору жизни, когда тебе стало так трудно жить?

Ответ прозвучит сурово, но в нем спасение.

Надо учиться находить в одиночестве утешение. Воспринимать его не как беду, а как свои доспехи. Быть черепахой, для которой дом — ее панцирь.

В свое время, не помышляя о том, что у меня когда-нибудь может появиться новая семья, я всерьез изучал науку одиночества у самого лучшего преподавателя этой дисциплины — Шопенгауэра. Вот кто был истинный гурман солитюда! В трактате «Другой путь» я подробно описал счастливую старость немецкого философа, не нуждавшегося ни в ком кроме самого себя. Это, конечно, очень прочное, очень уверенное, очень самодостаточное состояние.

В моей поэтической тетрадке выписано стихотворение молодого ленинградского поэта Иосифа Бродского, которого очень любит Тина. Там есть строки, явно навеянные ахматовским «Как хорошо, что некого терять»:

Как хорошо, что некого винить,
Как хорошо, что ты никем не связан,
Как хорошо, что до смерти любить
Тебя никто на свете не обязан.

Да, в том, чтобы быть «никем не связанным», безусловно есть свои преимущества. Именно так и следует относиться к одиночеству.

6. Изоляция

Есть и другой вид одиночества — не личного, а общественного. Вернее сказать миноритарности, оторванности от меняющегося мира. Это ощущение испытывают в старости очень многие, что усугубляет депрессию.

У старика крепнет чувство, что общество движается в какую-то ненужную, непонятную, неприятную сторону — отдалается от тебя. Ты вроде как отстал от большинства и не больно хочешь пускаться вдогонку. Всё, что тебе нравится, выходит из моды. *Своих* — друзей, ровесников — остается меньше и меньше. Новые, более молодые люди — совсем другие, *человечество стало другим*, и эта перемена тебе решительно не нравится. Они там шумно и увлеченно спорят из-за того, что кажется тебе чушью или вообще находится вне пределов твоих знаний.

Сужу по себе. Ну что это за жаркая дискуссия про физиков и лириков? Из-за чего ломать копья? И физики нужны, и лирики. Или вот нынешние интеллигентские дебаты про «плохого Сталина» и «хорошего Ленина», этот дурацкий лозунг «назад к Ленину». Чего там хорошего, в Ленине? И куда назад? В восемнадцатый год, в расстрельную камеру, где я сидел во время «красного террора»? А когда я начинаю вмешиваться в споры молодых коллег, они смотрят на меня с досадой: я стар, я «не в теме».

То же и с культурой. Та, которую я ценил и любил, сброшена с корабля современности. А та, что пришла ей на замену и вызывает восхищение у нового поколения, кажется мне дребеденью. Я, например, честно пытался проникнуться музыкальными вкусами нашей институтской молодежи. Они устроили для меня целый ликбез с использованием магнитофонных записей. Я старательно прослушал и ансамбль «Жуки», и ансамбль «Катящиеся камни». Форсированное использование барабанов и завывание электрических гитар меня утомили. Тексты показались постыдно примитивными. Ну что это за стихи: «Love, love me do. You know I love you». Как будто не было ни Бёрнса, ни Сто тридцатого сонета. И это постоянное косноязычное «йеа» да «уоу»!

Однако, памятуя ювеналову ворчливость, я вежливо кивал и соглашался, что это свежо и необычайно интересно.

Я думаю, что в старческом отрыве от современных вкусов и интересов есть великий и милосердный смысл. Нам ни в коем случае

нельзя «задрать штаны бежать за комсомолом». Пусть бежит сам по себе, а мы останемся на месте, со своим собственным временем, своими пристрастиями и воспоминаниями, с дорогими сердцу покойниками. Нам не должно быть жалко уплывающего корабля. Мы с него уже сошли в своем порту, а следующий пункт плавания нам не нужен и не интересен. Он чужой, и мы там чужие.

Не жаль расставаться — вот правильное настроение последней стадии жизни. А если и жаль, то не очень.

7. Утрата статуса

«Это бес сильненький», как говорит не помню по какому поводу персонаж Алексея Толстого. Потеря значимости в собственных глазах и глазах окружающих особенно тяжело бьет по тем, кто достиг социального успеха, некоего высокого (или даже не очень высокого, но все же повышающего самооценку) положения.

Старая, мы выходим в тираж. Дело не только в социальном статусе. Многие из нас перестают быть важны и интересны даже собственным детям. Они любят родителей, но относятся к их суждениям без былой внимательности, в лучшем случае снисходительно.

Возможно ли пережить без горького чувства разжалование из хозяина жизни или хотя бы главы семьи в отставной козы барабанщика?

Для наглядности опять рассмотрю собственный пример. Вот я уже не светило анестезиологии, ко мне не записываются в очередь на операции, как прежде. Через два, три, много четыре года я перестану быть замдиректора и заведующим АЦ. Телефон замолчит, перестанут поступать приглашения. В глазах медицинского сообщества, да и шире, общества, я стану никто, прошлогодний снег.

Что ж, скажу я на это. Есть время разбрасывать камни и время собирать их. Есть возраст экспансии и возраст импансии, когда ты концентрируешься и сосредотачиваешься на себе. Не рассеиваешься, не разбрасываешься, а оглядываешься, осмысляешь, беседуешь с собой о самом главном: о том, как ты прожил свою жизнь и как будешь

с нею расставаться. Зверь ведь тоже, чуя близкий конец, уходит из стаи. Вот ты, вот твоё прошлое, вот твой конец.

Это не утрата статуса. Это замена иллюзорного статуса на подлинный: из человека, которого кто-то чем-то считал, ты превращаешься в самое себя, становишься равен себе. Великое превращение.

8. Обузность

Речь о том, что мучает людей, обладающих чувством собственного достоинства, больше всего: о вынужденной зависимости от окружающих, которая неминуемо наступает, если ты заживаешься на свете. Об утрате самостоятельности и независимости — в повседневном, бытовом смысле.

Я знаю некоторое количество людей, из самых лучших, которые, тяжело болея в старости, совершили самоубийство, чтобы не становиться обузой для близких или чтобы не провести остаток дней в унижении. Один, академик N. (не буду писать фамилию, поскольку семья захотела скрыть факт суицида), оставил жене записку: «Я бы всё вытерпел, если бы была хоть какая-то надежда, а так зачем же попусту мучить себя и тебя?».

Это утверждение только кажется логичным и даже благородным. Оба мои родители самоубийцы, поэтому я с ранних лет много размышлял о феномене добровольной смерти. В конце концов я пришел к выводу, что самоубийство допустимо, когда оно проявление силы, и заслуживает осуждения, когда продиктовано слабостью. Если бы отец прошел мучительный путь умирания до естественного конца, у матери было бы время принять неминуемое и она не последовала бы за ним, а осталась бы жива, осталась бы со мной.

N. сделал проще для себя, но он жестоко оскорбил свою жену — тем, что решил за нее, обременяет он ее своей немощью или нет. На похоронах она больше всего мучилась именно этим. И просила нас, немногих посвященных, молчать о самоубийстве, потому что — ее слова — «мне это стыдно».

Самоубийство (за исключением каких-то героических деяний вроде самопожертвования) оправдано, наверное, лишь в одном случае.

Если ты очень-очень стар, очень устал от жизни и сполна насытился ею, умом и телом ощущаешь, что пора и — самое важное — если твой уход никого больно не ранит. Это моя большая и, увы, неосуществимая мечта — дожить до поры, когда эвтаназия станет обычным делом и можно будет уходить с улыбкой и благодарностью, тихо прикрыв за собой дверь и выключив свет.

Однако вернусь от несбыточных мечтаний к проблеме «обузности».

Она решается одним из двух способов (а в идеале их сочетанием).

Точно так же, как для тебя уход за тем, кого ты любишь, не обуза, а радость, от которой ты ни за что не откажешься, будет с радостью заботиться о тебе и тот, кто тебя любит. Я вспоминаю мою Аду. Господи, если бы она пожила подольше, какое счастье было бы удерживать ее на этом свете, на котором она почти отсутствовала.

Это, конечно, самая лучшая перспектива немощной старости, к сожалению, выпадающая немногим счастливым.

Но есть и другая, более доступная возможность. К старости нужно загодя готовиться. То, чего тебе не достанется по любви, можно приобрести за деньги: профессиональный уход, который оказывают не из жалости, а в качестве заработка. Даже в нашей стране плохой бесплатной медицины есть и сиделки, и домашние врачи, отлично знающие свое дело. Больной старик для них не обуза, а способ заработка.

Эта тема тесно связана со следующей.

9. Бедность

У нас в стране приход старости почти всегда означает еще и резкое понижение уровня жизни — ополовинивание денежных доходов при увеличении расходов на поддержание слабнущего здоровья. Советская старость сплошь и рядом бедная, а бывает, что и нищая. С маленькой пенсией, часто без собственной квартиры, без возможности получать качественное медицинское обслуживание, поскольку к хорошим поликлиникам «прикреплены» только привилегированные и в хорошие больницы попадают либо по статусу, либо по благу, либо за взятку, для обычного пенсионера неподъемную.

Старость должна быть материально обеспеченной, это неременное условие. На Западе это в порядке вещей. К моменту выхода на пенсию средний человек выплачивает долги по ипотеке, имеет накопления, а то и инвестиции. У нас это намного, намного труднее. Но «труднее» не означает «невозможно».

Об этом я напишу в главе «Подготовка к старости».

Блага старости

Выше я перечислил утраты, которые несет с собой старость, и попытался найти для каждой потери замену или компенсацию. Но старея человек не только теряет, он еще и приобретает. Это тоже похоже на наступление зимы: да, она студеная и безвитамина, зато красивая, и можно кататься на лыжах.

Люди мало задумываются о том, какие важные дары преподносит им жизнь в канун расставания. Максимум — радуются, что не нужно ходить на работу, можно сидеть на даче и уделять больше времени внукам (если есть дача и внуки).

А между тем десерт комплексного обеда под названием «жизнь» включает в себя несколько лакомств, мало кому доступных в более раннем возрасте.

1. Освобождение от страхов и комплексов

Большинство из нас привыкли терзаться разнообразными страхами.

Человек боится, что с ним или его близкими случится беда. Боится потерпеть неудачу в своих начинаниях. Боится болезни. Боится войны и преступников. Боится потерять работу. Боится оказаться хуже других. Боится остаться один. Боится неразделенной любви. И так далее, и так далее. Вся наша жизнь — нагромождение и чередование страхов.

Отравляют существование и комплексы. Ах, меня не любят, меня не ценят, меня не уважают, надо мной смеются, я некрасив, я неудачник, я бездарен, я маленького роста, я толстый, я импотент, я трус, и прочая, и прочая.

В старости комплексы исчезают. Потому что окружающие не ждут от тебя ни свершений, ни красоты, ни подвигов, ни любовных доблестей. Это великое облегчение. Одна моя знакомая, которую я поздравлял с пятидесятилетним юбилеем, сказала: «Господи, я могу больше не краситься и не утаивать свой возраст, я больше не на

витрине и не на прилавке, я — пожилая женщина. Какое счастье!». В мои семьдесят с хвостиком я имею гораздо больше поводов для радости, потому что перечень моих освобождений намного длинней.

Что самое лучшее в освобождении от ценников, которые навешивает на тебя общество? То, что ты приближаешься к самому себе. Не изображаешь то, чем ты хотел бы казаться, не носишь тесный, всюду давящий, не по тебе сшитый костюм, а переодеваешься в одежду, скроенную по твоей фигуре.

Но по порядку.

О страхах.

В молодые годы я тщетно воевал с ними. В зрелые разработал целую теорию, которую назвал «Эксплуатация страхов» (на эту тему у меня тоже есть трактат, а как же). Суть теории состояла в том, что подавлять в себе страхи или прикидываться, что ты их не испытываешь, — большая ошибка. С каждым из одолевающих тебя страхов надо работать. Проанализировать, установить параметры — и приручить. Страх — как огонь: если ты не умеешь с ним обращаться, он может тебя обжечь или спалить дотла, но если ты научился его контролировать и использовать себе во благо, им можно обогреться, можно приготовить на нем пищу — сделать его своим инструментом.

Вооружившись этим методом, я достиг определенных успехов. Научился использовать страх неудачи для мобилизации креативности и работоспособности; обратил страх за жену и сына в повышение градуса любви к ним; страх ошибиться на операции побудил меня усовершенствовать методологию подготовки анестезионной программы. Не буду перечислять все пункты своей «страхотерапии», это сейчас к делу не относится.

Потому что я достиг старости, и бóльшая часть страхов сами собой ослабели или вовсе исчезли.

Одни утратили смысл, другие уже осуществились и чего теперь бояться? Третьи остались, но при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж пугающими.

Остановлюсь отдельно на самом главном из страхов — таком сильном, что на протяжении жизни у большинства он является основным мотиватором или блокатором множества решений и поступков.

Общеизвестно, что глубокие старики относятся к своей близкой смерти без страха. Многие даже с удовольствием обсуждают устройство собственных похорон, распределяют между родственниками и знакомыми, кому что достанется из имущества.

Таким образом освобождение от этого страха приходит само собой, без каких-либо специальных усилий. Видимо, дело в том, что инстинкт самосохранения, основа страха смерти, напрямую связан с запасом жизненной энергии. Смерти боится обретающаяся в тебе жизнь. Чем ее остается меньше, тем слабее страх. Тело готовится к смерти, как дерево к зиме. То же происходит и с душой или, если угодно, с психикой. Волны постепенно затухают, стремятся к прямой линии.

Ожидание ухода может быть не просто равнодушным, но и духоподъемным, даже праздничным. И я не имею в виду благостное состояние верующего человека, твердо знающего, что скоро он встретится с Господом. Я не религиозен, я ничего не знаю наверняка.

Но мне повезло общаться с поразительным человеком, Марией Кондратьевной, которая многому меня научила, на многое открыла глаза, а самый, может быть, важный урок преподавала в канун смерти.

Мария Кондратьевна умирала в больничной палате. Последний наш разговор, перед тем как она потеряла сознание и больше в него уже не вернулась, происходил в отделении интенсивной терапии.

Лежа под капельницей, Мария Кондратьевна выглядела очень довольной.

Она хвасталась — вот самое точное слово.

— Я уже очень близко к двери, — говорила она, еле ворочая языком. — Ощущение, как в детстве: скоро дверь в гостиную откроется, а там нарядная елка и под нею подарки. За дверью, я знаю, обязательно будет что-то очень интересное. И совсем-совсем другое. Непохожее на *всё это*. — Слабое движение черной от уколов кисти. — Спасибо этому дому, пойдем к другому.

Ей-богу, я ощутил нечто вроде зависти. Будто пришел не с визитом соблезнования, а провожаю путешественницу, отправляющуюся в какую-то увлекательную поездку. В Париж, или в Венецию, или еще какое-то волшебное, закрытое для советского человека место.

Нечего бояться смерти, если прожил свою жизнь сполна. Скажи спасибо и иди себе.

У меня нет любопытства к посмертному миру, как у Марии Кондратьевны. Я вполне допускаю, что там ничего нет. Но и сон без сновидений — облегчение после очень долгого, изнурительного, а к полуночи уже и мучительного дня.

2. Наслаждение мгновением

Кто-то умеет ощущать полноту жизни в каждое мгновение своего существования. Чаще всего это интеллектуально неразвитые, не склонные к рефлексиям люди, жующие отпущенное им время, как корова траву на лугу — блаженно щурясь от солнышка и чувствуя, как брюхо наполняется пищей, а вымя молоком.

Я всегда им завидовал. У меня так не получалось. Я жил не настоящим, а только прошлым и будущим: или воспоминаниями, или планами и надеждами. Конечно, память о вчерашнем дне очень важна, без нее ты никто и ничто, а без планирования завтрашнего дня никогда не добьешься ничего путного, но получается, что настоящий момент, который, собственно, и есть жизнь, при этом как-то не фиксируется, проходит мимо.

Мирра ругала меня за то, что я постоянно витаю в облаках и недостаточно радуюсь хорошей погоде, свободной минуте, миллиону маленьких подарков, которыми наполнена жизнь. У Мирры был этот дар — ощущать *joie de vivre*^[9]. От Тины мне тоже неоднократно доставалось за «замороженность» и «заторможенность». У меня вообще сложилось впечатление, что женщины умеют чувствовать жизнь сильнее и интенсивнее.

А теперь я понимаю, что проблема не только в «мозговом» устройстве моей личности. Мне, как ни странно это прозвучит, мешали наслаждаться жизнью молодость и здоровье.

Старость научила ценить всякую минуту, когда ничего не болит, не тянет, не давит. Эта простая истина, сформулированная еще эпикурейцами («счастье есть отсутствие боли»), осознана мной только

теперь. Жизнь — прекрасная роза, а боль, недомогание, дурнота — не более чем шипы на розе.

Никогда, даже в детстве, я не испытывал такого острого чувства *присутствия в этом мире*. По десять раз на дню я замираю от торжественной красоты неба — безо всякого Аустерлица. Цвета, линии, звуки, запахи, которые дарит природа, пьянят меня и кружат голову.

У этого, конечно, есть элементарное объяснение: по-настоящему мы ценим лишь то, что у нас могут в любой момент отобрать. Старость переводит человека в очень хрупкое состояние. Из оловянной кружки ты превращаешься в бокал тонкого стекла, который даже от несильного удара разлетится вдребезги, зато у него прозрачные и тонкие стенки. Быть бокалом, ей-богу, интереснее. Просто не нужно ждать от бокала прочности.

3. Семья

Меняется отношение к близким и отношения с ними. Эта связь тоже становится источником постоянного, безоблачного счастья. Ты радуешься просто тому, что они есть и что они рядом.

У меня двойное счастье — жена и сын. Я совершенно разучился на них сердиться, что раньше случалось. Мою любовь ничто не омрачает.

В основе этого благодушия, если разбираться, конечно, эгоизм, и довольно стыдный. Я твердо знаю, что, поскольку оба они здоровы и нет войны, я умру раньше. Они не ранят меня своим уходом. Страх, что с кем-то из них случится беда, *а я останусь*, покинул меня. Ну и во-вторых — это даже главное — я знаю, что без меня они не пропадут. Тина сильная, и у нее есть Марк, а что до него, то дети психологически выносливы.

Семья — настолько важная сторона и настолько огромная радость моей жизни, что мне хочется на этой теме остановиться поподробнее.

Тина.

Я теперь просыпаюсь очень рано, на рассвете и часами просто смотрю на нее спящую. Это абсолютное счастье, с которого начинается мой день.

Я умру, а Тина будет жить дальше, говорю я себе. Погорюет и выправится. Как это прекрасно! Иногда я воображаю себе, что меня уже нет, она живет с каким-то другим мужчиной, который ее любит и с которым она счастлива. Меня это не ранит и не пугает, наоборот. Я знаю, что она меня не забудет, и мне этого довольно.

Лучше, конечно, иметь спутницей ровесницу, но быть женатым на той, кто намного тебя моложе, — в этом тоже есть огромный плюс.

Мне вспоминается недавний разговор с Сергеем Илларионовичем — на банкете по поводу его семидесятилетия. В конце вечера мы сидели вдвоем. Он был несколько нетрезв и разоткровенничался, завел разговор о личном. Стал рассказывать о своей жене, Гаянэ Левоновне, с которой прожил более полувека душа в душу, очень счастливо. С.И. сказал, что теперь, в старости, они оба расплачиваются за это счастье постоянным страхом потерять друг друга. По ночам он просыпается и в ужасе прислушивается — дышит Гаянэ или нет. Стоит ему поморщиться от какого-нибудь колотья в боку или желудочной колики, и жена панически кричит: «Что? Что? Тебе плохо?». Он сказал, что не знает, какой исход страшнее: если раньше умрет она или если раньше умрет он, обречет ее на муку одиночества. «И ведь то или это случится скоро, совсем скоро, — потерянно говорил С.И. — Эта мысль постоянно меня терзает».

У меня с возрастом развилась дурная привычка — давать советы, когда меня о них не просят. Тина меня за это ругает. Но у С.И. в глазах стояли слезы, и я не удержался.

Я поделился с ним своим открытием. Этот страх существует не для того, чтобы отравлять жизнь, а для того, чтобы обострять ощущение великого счастья, которое тебе досталось и которое является большой редкостью. Я сказал: «Конечно, мы не бабочки, порхающие с цветка на цветок, не догадываясь о краткости своего века. Мы знаем: всё заканчивается. Но луг цветет, солнце светит, воздух полон ароматами — так не портите же себе это блаженство».

Не уверен, что помог ему. Быть безмятежным в старости — это спорт, требующий долгих тренировок.

Теперь про сына.

Меня в моем нынешнем состоянии ужасно удивляет, как это люди раздражаются на собственных детей, даже злятся на них. Это у родителей происходит по молодости и по глупости.

Для двенадцатилетнего мальчика я очень старый отец и поэтому отношусь к нему скорее как дедушка. Что бы Марик ни натворил, я испытываю только умиление и сочувствие. Думаю: через сколько испытаний ему еще предстоит пройти, чтобы научиться взрослости. Тина корит меня тем, что я порчу и балую ребенка, что я слишком с ним мягок. Наверное. Но какое же счастье наблюдать за тем, как мальчик развивается, начинает шевелить мозгами, обзаводиться собственными суждениями. Я не пугаю себя злосчастьями, которые может обрушить на него жизнь. Я представляю себе только хорошее. С каждым годом он будет делаться всё умнее, всё лучше, всё интереснее. Он войдет в зрелый возраст, его станут называть по отчеству, и всякий раз, когда кто-то скажет «Марк Антонович», это будет памятью обо мне.

4. Властелин времени

Вот еще один парадокс.

В молодости ты всё делаешь быстро: двигаешься, работаешь, принимаешь решения, ухватываешь новые идеи. При этом еще и постоянно торопишься, а времени всё равно недостаточно. Во всяком случае мне его всегда не хватало.

Теперь, в семьдесят один год, после инфаркта, я очень замедлился. Всё занимает гораздо больше времени, чем прежде. Просто дойти из кабинета до кухни — путешествие. А уж если не работает лифт (обычная история), то подняться на шестой этаж — целая одиссея с передышками после каждого пролета. Последний раз на покорение сей Джомолунгмы ушло 22 минуты, и думаю, что впереди меня ждут новые рекорды.

И что же? Никогда еще я не ощущал себя таким богачом по части свободного времени. Можно не экономить его, не выгадывать, не скряжничать, не жертвовать приятным ради необходимого.

Раньше я был на побегушках у времени, оно отдавало мне приказы. Теперь же это я им распоряжаюсь и могу смело позволять себе всякие расточительства.

Причин две. Во-первых, мой день почти на четверть удлинился — я теперь сплю часов на пять, а то на шесть меньше, чем в молодости.

Во-вторых, я свободен от операций, которые вместе с подготовкой съедали львиную долю моего времени — ведь в сложных случаях (а у меня были только такие) я и дома просчитывал, прикидывал, корректировал будущие действия. А через некоторое время я вообще уйду на пенсию, и тогда стану просто миллионером, потому что год состоит из тридцати миллионов секунд и каждой можно распорядиться по-своему.

Это происходит не только со мной, это происходит со всеми стариками. Нам достается самое главное богатство жизни, которым не владеет никакой Рокфеллер — свободное время. Беда в том, что большинство совершенно не умеет использовать этот ресурс с толком и удовольствием.

А я сумею. Потому что я подготовился.

Подготовка к старости

Эта глава почти целиком состоит из очевидностей и тривиальностей, а некоторые вещи я уже писал, но теперь несколько изменю ракурс.

Общая идея тоже Америки не открывает: к любому важному делу нужно серьезно готовиться, иначе у тебя ничего не получится.

Вот так следует относиться и к своей старости. Чтобы в конце получилось «долго и счастливо». Или хотя бы просто «счастливо».

В программе, которую следует предварительно осуществить, шесть пунктов. Каждый обязателен.

1. Вдвоем или в одиночку?

Есть два способа провести старость: вдвоем или в одиночку. Я уже затрагивал эту тему, но теперь вернусь к ней, ибо и первый способ, и второй требуют основательной подготовки. Оба имеют свои плюсы и свои минусы.

Вдвоем быть теплее и радостней, но и страшнее. Близясь же к концу жизни в одиночестве, человек бесстрашен, но круг его радостей намного уже. Обычно выбирать не приходится, один ты или нет. За нас это решает судьба.

Но если вас двое, нельзя делать ошибку, которую, увы, совершают очень многие. Не следует из-за вялости или бытовых сложностей оставаться с женой или мужем, когда нет настоящей любви и понимания. То, с чем кое-как можно было мириться в сильные годы, на закате жизни иссушает и вытаптывает душу. Как много я вижу вокруг старых пар, которые шипят и злобятся друг на друга! И каждый сам по себе, и объединяет только одно — пресловутая жилплощадь.

Лучше уйти и научиться одиночеству.

Моя жизнь сложилась так, что я рано овдовел, был уверен, что проведу старость уединенно и стал заранее к этому готовиться. У меня даже начало получаться, и я находил в этом повод для своеобразной гордости. Но на пороге шестидесятилетия жизнь вдруг преподнесла

мне сказочный дар — свела с Тиной. И, конечно, это вывело меня на совсем иную высоту существования. Я будто попал из немого черно-белого кино на широкоэкранную цветную картину со стереозвуком и объемным изображением (недавно я видел такую на ВДНХ).

Итак: нужно или быть уверенным в спутнике, или научиться самодостаточности.

С одной оговоркой. Когда первый из спутников уйдет, второму все равно придется постигать науку одиночества. О том, что и в нем есть свои утешения, я уже писал. Такая старость уже не будет счастливой, но по крайней мере она может не быть жалкой.

2. Дети

Опять изреку банальность. Нельзя быть счастливым в старости, если твои дети несчастны или, хуже того, скверны.

Воспитывая детей, ты вкладываешься в собственное будущее. Это звучит цинично, я знаю, но в самых важных вещах следует обходиться без самообманов. Дети вырастают и становятся источником либо радости, либо горя. Они или утешают, или отравляют старость родителей.

Разумеется, что-то здесь зависит не от нас, а от внешних обстоятельств, но что-то от нас и только от нас. Одной любви мало, требуются ум и предвидение. Ты выращиваешь деревце, ставишь подпорки, стараясь, чтобы ствол получился прямым, а листва сочной — и потом надеешься, что не наступит засуха и не ударит молния.

Если дети выросли хорошими, это становится в старости мощным источником счастья. Я ценю его еще больше, чем другие люди, потому что потерял старшего сына и дочь, а потом — несказанное счастье — обрел Марика. И мне даже не нужно ждать, чтобы узнать, каким он вырастет — успешным или нет. Я этого не увижу. Мне совершенно достаточно, что мой мальчик сегодня такой, какой он есть. Я и тут перехитрил судьбу.

3. Обеспеченность

Я обещал развить сей прозаический, скучный в своей очевидности тезис и сейчас сделаю это.

Конечно, в советских реалиях предписание позаботиться о благополучной старости звучит несколько утопично. Однако нужно отдать должное социализму. Совсем уж нищей старость в СССР не является. На пенсию худо-бедно просуществовать можно, медицинское обеспечение — уж какое ни есть — бесплатное. Это очень скудный уровень жизни и до унизости убогий уровень здравоохранения — но лишь по сравнению с Европой. Людям же свойственно сравнивать свою жизнь не с другими странами (которые мало кто видел), а с жизнью вокруг и с тем, что было вчера. Все вокруг живут небогато, а вчера было гораздо хуже, чем сегодня. Старые люди отлично помнят времена, когда приходилось и голодать.

Но одной пенсии для достойной жизни недостаточно — если человек не принадлежит к номенклатуре, пользующейся привилегиями. В пожилые годы нужно непременно быть богаче, свободнее в средствах, чем в молодости — это такой костыль старости.

Здесь не обойтись без основательных приготовлений. Нужно быть муравьем, а не стрекозой, нужно понимать, что лето красное продлится не вечно. Взрослый, умственно зрелый человек обязан быть ответственным. На современном Западе всякий нормальный член общества планирует свое финансовое будущее или, выражаясь попросту, копит деньги на старость. Пожилые люди в Европе и Америке, как правило, состоятельнее молодежи: ипотека выплачена, дети выращены, кроме пенсии имеются акции или вклады, приносящие процент. В Советском Союзе возможности «инвестирования в старость» очень ограничены, и всё же они имеются.

Не буду ставить в пример себя. Мне повезло и с профессией, и с карьерой. Но вот мой водитель Трофимов, чрезвычайно обстоятельный мужчина пятидесяти пяти лет. Он большой говорун и резонер, любит поразглагольствовать о своей жизни, поэтому я знаю о ней (признаюсь честно) больше, чем хотел бы. Но самодовольный рассказ о том, как Трофимов готовится к пенсии, я выслушал очень внимательно — и проникся к Николаю Ивановичу почтением.

«Я в день рожденья, когда мне стукнуло сорок пять, наакался до хрюка, в последний раз, — сказал Трофимов, — вроде как попрощался

с несолидным возрастом и вступил в солидный. Решил всё: больше не пью, не курю и начинаю откладывать с каждой полочки по пятерке — ну, тогда, на старые деньги, это по полста было. И два раза в месяц, второго и семнадцатого, как штык, пятерочку на сберкнижку. Жену тоже заставил. У нее, правда, зарплата такая, что только трёх получает. Теперь у меня на книжке тыща двести, у ней — семьсот, до пенсии мне еще пять лет, а Люська из своей поликлиники вообще уходить не собирается. Всегда без очереди к хорошему врачу попадем. Трофимовы в старости у сына с дочкой на хлеб-лекарства клянчить не будут. Еще сами им одолжим, если чего».

С точки зрения советской морали, эта сентенция является жутким мещанством, а на самом деле она — проявление ответственности. И кстати говоря мещанство, с легкой руки Максима Горького почитающееся у нас чуть ли не худшим из грехов, на самом деле представляет собой естественное стремление человека к обустройству достойной частной жизни.

Можно быть каким угодно романтиком в своих мыслях и духовных интересах, но в планировании старости следует быть мещанином.

4. Физическая форма

Опять трюизм: в старости нужно по возможности сохранять приличную физическую форму, а это тоже требует длительной и упорной подготовки.

У всех разные генетические данные, у многих на протяжении жизни появляются осложнения со здоровьем — всё это так. Но каждый может максимально помочь своему организму укрепиться в преддверии старения. Тело ведь похоже на машину, которая с годами всё больше изнашивается, а стало быть нуждается в постоянном техконтроле и техобслуживании. Нельзя этими процедурами пренебрегать, это первое правило.

Второе: хорошее физическое состояние с определенного возраста перестает быть данностью и требует всё большей работы. Нужно тренировать сердце, разрабатывать суставы, не позволять мышцам атрофироваться. До инфаркта я, к сожалению, пренебрегал

упражнениями, жалел тратить время. А если бы я лет с пятидесяти ввел себе в рутину каждодневно по часу тратить на дрессировку тела, оно меня не подвело бы. Сейчас я дважды в день по тридцать минут выполняю комплексы упражнений. Даже в сидячем или лежащем положении, если неважно себя чувствую.

Третье — диета. Не хочешь, чтобы твоя машина ломалась — не заправляй ее некачественным топливом.

И, думаю, достаточно об этом. Тут всё ясно.

5. Чистая совесть

Но вот важнейшее и даже абсолютно необходимое условие, с которым намного сложнее, да и задумываются об этом обычно меньше, чем о физическом здоровье.

Достойная старость невозможна, если ей предшествовала недостойная жизнь. Вышеупомянутое метафорическое яблоко не получится вкусным, если на стадии созревания оно было источено червями. Старость не будет счастливой, если она проходит в помещении, где в шкафах прячутся скелеты.

Сейчас я скажу вещь, с которой мало кто согласится, да и сам я в более молодом возрасте считал бы ее нелепой.

Вся наша жизнь — приготовление к старости, которая является самым важным этапом нашего земного существования.

Почему?

Потому что смысл существования яблока — в том, чтобы стать плодом.

Потому что спектакль, в котором мы участвуем, по пьесе завершается сценой, где ты состарился. Спросите любого драматурга, какая часть его произведения самая значительная, и вы услышите в ответ: «Конечно, финал». Никто не скажет: «первый акт» или «такое-то явление в середине второго действия». Предшествующий сюжет — не более чем подводка к финалу, кропотливая его подготовка.

Старость может быть счастливой, только если она не отравлена угрызениями совести. На исходе жизни нужно чувствовать себя хорошим, уж во всяком случае не подлецом. Это не такое простое условие для советского человека. В школе всех нас учили беречь честь

смолоду, а потом вытаптывали ее коваными сапогами. Каждому из нас в какие-то моменты приходилось выбирать между выживанием и подлостью. И выжили те, кто сподличал. Даже если не совершили никакой прямой гнусности, то молча поднимали руку, или отводили глаза, или просто промолчали.

Но необязательно быть героем без страха и упрёка. Достаточно просто не запачкаться кровью и предательством.

Я, увы, не избежал этой доли. Много лет на моей совести тяжелым грузом лежала история с Иннокентием Ивановичем. Я знал, что буду терзаться ею до смертного часа. В пятьдесят пятом, когда Бах вдруг воскрес и я понял, что он не держит на меня зла, засиял луч надежды — и тут же погас. Потому что Иннокентий Иванович снова исчез и больше уже не появлялся. Я решил, что этот мягкий, добрый человек не стал бросать мне в лицо обвинений, но простить не простил. Так я и проживу до конца с клеймом предательства. И вот теперь я узнал, что прощение было получено, что мой грех отпущен. Это невероятное, несказанное освобождение. Теперь, только теперь я получил шанс на старость, которая будет по-настоящему счастливой. Ныне отпускаеши! Я чист, я свободен!

Хорошо, это частный случай. Но другие люди, прошедшие через свои собственные нравственные экзамены и тоже провалившие их, могут оказаться менее счастливы. И возникает вопрос, очень важный для всякого достойного человека: если твоя совесть чем-то замарана, можно ли к старости ее отчистить?

Я много думал об этом после того ужасного октябрьского дня 1937 года. Знал, что мне нет прощения, что я сам себя никогда не прощу, но в то же время понимал: каким-то образом я всё же должен выскрести из себя скверну.

И я пришел к формуле, которая мне очень помогла и несомненно поможет всем, кто, вслед за пушкинским Борисом твердит себе: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Вот эта формула: то, что нельзя исправить, можно искупить. Поступками противоположного свойства. Я погубил человека, но я спасу сто, тысячу других, пообещал я себе.

Слава богу, моя профессия давала такую возможность. Я старался, я очень старался. Я никогда не отказывался от участия в операциях, предпочитая самые тяжелые, даже если плохо себя чувствовал или

валился с ног от усталости. И я спас не тысячу, а несколько тысяч людей.

Конечно, арифметика тут не работает, и вину за одну погубленную жизнь не отмоешь спасением даже миллиона других жизней. Реабилитации не будет, но будет смягчение приговора, который ты сам себе вынес. Это немало.

6. Мечта

А еще нужно заранее придумать и лелеять мечту: нечто такое, что ты сможешь позволить себе только в старости. Этакий десерт жизни.

Готовить такое блюдо — а еще лучше несколько блюд — тоже следует заранее.

Я составил целую программу, которую намерен осуществить как только уйду из начальников и наконец стану неограниченным монархом своего времени. Программа называется «Счастливая старость». Сейчас я с большим удовольствием изложу все ее пункты.

«Счастливая старость»

Итак, я решил официально считать себя стариком с того момента, когда перейду из заведующих Анестезиологического Центра в консультанты и перестану бывать на работе с девяти до половины шестого. Это произойдет как только мы завершим исследования моей новой методики — в оптимальном случае через два с половиной года. Директор обещал, что мое изобретение назовут «Аппарат Клобукова». Это приятно — обзавестись прижизненным памятником, но еще приятней мне мечтать о грядущем существовании.

О, у меня грандиозные планы.

Во-первых, я осуществлю мечту всей моей жизни: **заведу собаку**. В детстве у меня ее не было — в те времена собак в городских квартирах не держали. Потом вечно не было на это времени. Куплю рыженького щенка, эрдель-терьера. Назову Тошей. Я очень рано просыпаюсь, мы с ним будем гулять вдвоем. Антон большой и Антон маленький. Старые люди, если они обладают ответственностью, не позволяют себе заводить щенка, потому что это жестоко: он тебя переживет, и что с ним потом будет? А мне хорошо. Тоша останется с Тиной и Мариком. Им с собакой тоже будет легче пережить мою смерть, пес останется частицей меня, да и звать его будут так же. Тина, забывшись, позовет меня: «Антон!» — и вместо печальной тишины в квартире раздастся быстрый стук лап.

Во-вторых, я наконец пройду **курс художественной фотографии** и научусь делать красивые снимки. Ведь с двадцати лет щелкаю затвором, а так толком снимать и не научился. Куплю хорошую камеру. Буду останавливать мгновения, которые прекрасны.

В-третьих, **куплю автомобиль**. Служебной машины у меня уже не будет, но я воспользуюсь академическими привилегиями. При выходе на пенсию члену АМН предоставляют дачу, если ее раньше не было, и лимит на приобретение «волги», членкору на выбор — или дачу, или автомобиль «москвич».

Дача нам не нужна, мы не любители буколки, а вот машина — дело иное. Оба научимся водить. Уверен, Тине это очень понравится. Будем совершать дальние поездки, устраивать пикники в красивых местах. На заднем сиденье Марик возится с Тошей, Тина призывает их к порядку. Плохо ли?

Буду много времени проводить с Мариком. Я придумал общее дело, которое увлечет нас обоих, объединит его любовь к истории и мою к исследовательской работе. Мы будем вдвоем писать книгу, а перед тем неспешно и любовно собирать материал.

Мне всегда хотелось, когда будет время и досуг, терпеливо и бережно, по кусочкам, восстановить биографию какого-нибудь человека, который прожил жизнь с максимальной пользой для себя и мира. Думаю, могло бы получиться полезное и поучительное чтение для всякого, кто тоже хочет провести свой век осмысленно. Я уже решил, что героиней станет великая княгиня Елена Павловна.

Пусть Марик с раннего возраста научится излагать мысли и факты на бумаге, потом это ему очень пригодится. А для меня будет огромным счастьем ездить с сыном по историческим местам, вместе ходить в библиотеки и архивы, обсуждать, спорить. Главная благодетельница русской истории совершит еще одно благодеяние.

Когда я зачитал свою программу Тине, она потребовала добавить еще три пункта, что я с удовольствием и делаю.

Мы начнем вместе готовить. Не по воскресеньям, а каждый день, потому что еда должна быть не топливозаправкой, а праздником и удовольствием. Руководить будет Тина, я при ней буду поваренком.

Еще она сказала: «**Ты выучишь древнегреческий**, чтобы мне было о чем с тобой разговаривать». Учить меня будет она. Хочу, очень хочу!

А больше всего мне понравилась идея **научиться массажу**. «Перестанешь страдать по поводу мужских обязанностей, — сказала Тина. — У тебя волшебные руки, и могу тебе теперь честно сказать, что больше всего в постели мне нравилось то, что до и после, а не сам

процесс». Эта перспектива приводит меня в такое радостное волнение, что я начинаю думать, не возобновятся ли и «мужские обязанности».

Вот какой будет моя старость. Не знаю, сколько она продлится — десять лет? Да хоть бы и пять. Это ужасно много, если быть счастливым каждый день целых пять лет: тысяча восемьсот дней счастья! У меня за все предшествующие семьдесят лет дай бог наберется одна десятая такого богатства.

Ну а потом опустится занавес. И меня будет ждать путь либо в «вечный дом свой», если прав Иннокентий Иванович, либо в иную вселенную, если права Мария Кондратьевна, либо в несуществование, и это совсем нестрашно, ибо что же страшиться того, что не существует?

Выбора нет

Защитим завоевания социализма!

«Люди, будьте бдительны!». Этих словами славного сына чехословацкого народа Юлиуса-Фучика начата свое выступление на митинге творческих работников киностудии «Мосфильм» главный редактор 3-го творческого объединения Н. Глаголева. Многочисленное собрание работников студии было посвящено последним событиям в Чехословакии.

На трибуне старшей режиссер Г. Александров.

— В прошлом году у меня был атаманский разговор с одним таксистом в Праге, — говорит он — Я увидел, как в одном из автомобилей произошла на легковой автомашине мещан с цементом. «Поче-

му?» — спросил я таксиста. «Этот дом принадлежал раньше одному богатому меще. Он хочет, чтобы дом поддерживался в порядке и сейчас, потому что он пишет, что до возращения осталось не долго ждать». Контрольреволюционеры долго и основательно готовили реставрацию авантюлизма в Чехословакии. Но их надеждам не суждено было сбыться.

— Мы должны сделать для себя предельно ясные выводы из чехословацких событий, — говорит режиссер А. Столпер. — Нам пора покончить с полуживыми, когда некоторые творческие работники сейчас провалиют во встречай, совместных работах с зарубежными ре-

жиссерами, сценаристами, критиками непонятное благодушие.

Мы — солдаты идеологического фронта и всегда обязаны помнить об этом. Наш ответ на последние события в Чехословакии один — идти по главным партийным магистралям в своей работе.

— Что можно сказать о чехословацких фильмах последних лет? — обращается с трибуны режиссер Л. Арноштан. — О чем они, какие идеи нести (эти фильмы)? Это ленты о заблудившихся мещанах.

В заключение митинга собравшиеся единогласно приняли резолюцию, выражающую меры социалистических мер, призванных на помощь чехословацким трудящимся

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

Мы, работники культуры Узбекистана, целиком и полностью одобряем мудрое решение нашего правительства и правительства братских стран об оказании помощи Чехословацкой Социалистической Республике.

Мы внимательно следили за событиями последних дней в Чехословакии и с тревогой думали о судьбе завоеваний социализма в этой стране. Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает коренные ин-

тересы социалистических стран и безопасность государства социалистического содружества. Решение Советского правительства и правительства всех социалистических стран об оказании братско-

му чехословацкому народу помощи является своевременным и необходимым.

Мы, работники культуры Узбекистана, горячо приветствуем этот интернациональный шаг по отношению к народу дружеской Чехословакии.

Абид САДЫКОВ, президент Академии наук УзССР, депутат Верховного Совета СССР, Халима НАСЫРОВА, народная артистка СССР, Рахим АХМЕДОВ, председатель правления Союза художников Узбекистана, народный художник УзССР, Мазит КАЮМОВ, народный артист СССР, альфорежиссер, лауреат Государственной премии Узбекистана им. Хакима Юнус РАДЖАБИ, композитор, академик АН УзССР.

НАША ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА!

Мы с большим вниманием следили за событиями в Чехословакии, и нас глубоко возмущали действия реакционной группы правых элементов, которые стремились не только нарушить дружбу советского и чехословацкого народов, но хотели вернуть страну на капиталистический путь развития.

Сейчас мы узнали о том, что наше правительство совместно с правительствами братских стран, участников Братиславского совещания, приняло решение поддержать просьбу партийных и государственных деятелей Чехословакии об оказании помощи братскому чехословацкому народу. Мы поддерживаем это верное и

своевременное решение, которое должно способствовать сохранению мира.

Ирина КОЛПАКОВА, народная артистка СССР, Римма БАРИНОВА, народная артистка РСФСР, Галина КОВАЛЕВА, народная артистка РСФСР, Николай КРИВУЛЯ, народный артист РСФСР. ЛЕНИНГРАД.

— В сущности, в сухом остатке выбор таков, — сказал Антон Маркович уже под утро, на исходе бессонной ночи, после двух доз капель. — Или погубить дело, а заодно сломать несколько судеб, и потом весь остаток жизни чувствовать себя разрушителем и палачом. Или сохранить дело и спасти людей, но заработать репутацию подлеца, причем справедливо. И первое, и второе счастливую старость исключает. Читайте трактат.

Лицо у Тины было несчастное.

— Это нечестно, несправедливо. Ты такого не заслуживаешь! Ты ничего плохого не сделал!

— И тем не менее никуда от этой дилеммы мне не деться. Ладно, пойду лягу. Надо хоть два часа поспать.

— Но ведь ты так и не решил.

— Разве? — рассеянно пробормотал он, думая, что на самом деле судьба тебе никакого выбора не дает. Или ты палач тех, кто тебе дорог, или ты подлец. Знаем, проходили. Конфликт Большого Мира с Малым. Но кто бы мог подумать, что всё повторится...

— Тут очень важно вот что — *как* Румянцев тебе всё это говорил? Каким тоном? На чьей он стороне? Ведь он тебя очень ценит и уважает. Антон, ну пожалуйста, не уходи в себя! Мы вместе что-нибудь придумаем.

Голос у жены был плачущий. Клобуков взял себя в руки, сосредоточился.

— Каким тоном? Проникновенным. Он ведь сухарь, и если «включил человечность», значит дело швах... На чьей он стороне? Для него всегда на первом месте интересы института. Чтобы вывести институт из-под удара, Иван Харитонович пойдет на всё. Терять меня ему, конечно, жалко, но колебаться он не станет, ни секунды.

— Давай реконструируем вашу беседу еще раз. Со всеми подробностями. Интонация, выражение лица, точные формулировки — всё важно.

— Хорошо, давай, — устало согласился Клобуков, чтобы Тина больше не дрожала голосом.

Прикрыл глаза рукой, стал вспоминать вчерашний «нетелефонный разговор», на который его вызвал в конце рабочего дня директор.

Начал без предисловий, сдавленным голосом. Антон Маркович никогда еще не видел этого сдержанного, хладнокровного человека таким взволнованным. Собственно никогда, за двадцать с лишним лет не видел Румянцева взволнованным, даже в критические моменты самых сложных операций. Сегодня же у Ивана Харитоновича нервно подергивался рот, длинные пальцы беспрестанно поглаживали зеленое сукно, глаза за дымчатыми стеклами глядели тревожно.

— Я только что был у министра. А он перед встречей был... Я, собственно, не знаю, у кого именно он был, но в СССР мало людей,

способных привести Бориса Васильевича в такое состояние. Наш институт под угрозой. Вы меня знаете, я не склонен к драматизму, но ситуация катастрофическая.

— Это как-то связано с чехословацкими событиями? — не столько спросил, сколько догадался Клобуков. На правительственном уровне потрясения могли быть только политическими, а сейчас в политике ничего кроме чехословацкого кризиса не существовало. — Но Институт хирургии тут при чем? Чем мы могли провиниться?

— Не мы. Вы. — Румянцев расслабил тугой узел галстука. Ему, кажется, было трудно дышать. — Поступил сигнал. На самый верх. Что у нас в институте состоялось провокационное мероприятие, причем организованное администрацией. Перед сотрудниками выступал один из самых ярых деятелей чехословацкой контрреволюции Ф. Квапил. — Директор прочел имя по бумажке. — Выступление, выдержанное в духе оголтелого ревизионизма, было встречено аплодисментами, а руководивший сборищем член-корреспондент Клобуков выразил надежду, цитирую, что «Пражская весна» согреет своим теплом и наш холодный климат, после чего собравшиеся опять хлопали. Было такое?

— Да, в прошлое воскресенье, то есть в нерабочее время, наш коллега из Праги доктор Квапил по моей просьбе рассказывал сотрудникам Анестезиологического Центра о том, что происходит в Чехословакии, — растерянно сказал Антон Маркович. — Пришло много людей и из других подразделений, всем же интересно. Никто ведь не предполагал, что будет вторжение...

— Не «вторжение». Акт братской солидарности, — перебил Румянцев. — Скажите спасибо, что нас никто не слышит, иначе за один этот термин... И кто, кто дал вам право проводить в институте подобные... — Не договорил. Покашлял. Взял себя в руки. — Вы себе даже не представляете размеры катастрофы. Нервы там [он ткнул пальцем в потолок] у всех на пределе. Больше всего опасаются, не перекинется ли к нам сюда чехословацкий вирус. И тут какая-то... — Он запнулся. — И тут какой-то человек, имеющий выход как минимум на... — Опять не договорил. — ...Сигнализирует, что в одном из ведущих научных институтов страны несколько дней назад был устроен антисоветский шабаш. Поскольку все ждут и боятся чего-то в этом роде, составляется рапорт, поступает на самый высший уровень,

вызывает там соответствующую реакцию. Разумеется, следует приказ принять неотложные меры... Принять меры поручено не министерству, где хорошо понимают значение нашего института, а инстанции, которой... нужно поскорее доложить, что меры приняты и зараза вырвана с корнем. Вы понимаете, что они могут закрыть наш институт? — У Румянцева дрогнул голос. — Инсти тут, созданный моим отцом! Институт, которому я отдал всю свою жизнь! Это будет сокрушительный удар по всей отечественной хирургии и в особенности по анестезиологии — делу всей *вашей* жизни.

— Невозможно! — воскликнул Антон Маркович. Голос у него тоже срывался. — Если я виноват, я готов... Я возьму всю ответственность... Я немедленно подам заявление об уходе! Но Анестезиологический Центр закрывать нельзя! Тем более институт! Бред!

— Они сейчас именно что в бреду, — шепотом сказал Румянцев. — Ничего не пожалеют.

— Что же делать?

— Спасать институт. Об этом мы и говорили с министром. Мы составили план аварийных мер. Заявление вы, конечно, напишете, но этого недостаточно. Перед этим вы должны провести экстренное собрание. Тоже в нерабочий день, то есть завтра. Присутствие всех сотрудников мы обеспечим. Вы выступите перед ними с речью, в которой признаете ошибку, призовете коллег выразить горячую поддержку акту братской солидарности. И все должны единогласно принять соответствующую резолюцию. Будут присутствовать замминистра, секретарь горкома и представитель от компетентных органов. Если всё пройдет чисто, без эксцессов, появится шанс, что институт и даже ваш центр удастся сохранить. Но зависеть всё в первую очередь будет от вас.

Антон Маркович почувствовал, что бледнеет.

— Да... да что я скажу? Я совершенно не владею этой... лексикой.

— Вы просто прочитаете текст. Вот этот. Он согласован.

Директор положил на стол отпечатанную страницу.

Надев трясущейся рукой очки для чтения, Клобуков поднес листок к глазам.

«Уважаемые коллеги, в прошлое воскресенье по политической близорукости и недомыслию я совершил серьезную, непростительную ошибку...» — так начиналось обращение. Болезненно морщась, Антон Маркович скользил взглядом по машинописным строчкам.

— Что?! — воскликнул он. — «Я буду ходатайствовать перед компетентными органами Чехословацкой Советской Социалистической Республики о расследовании провокационной выходки Квапила»? Вы хотите сделать меня доносчиком?

— Успокойтесь. Квапил уже арестован. И поверьте мне, выступление в московском институте будет наименьшей из его проблем. Скорее всего ваше ходатайство вообще не понадобится — это не более чем демонстрация вашей лояльности. Представитель Комитета будет обязан упомянуть вашу инициативу в своем отчете. Это очень важно. Плюс, конечно, огромную важность имеет голосование. Концовку, где вы призываете всех выразить единодушную поддержку, нужно прочесть не вяло, а с чувством и выражением. Вам должны верить — не сотрудники, черт бы с ними, а ответственные товарищи. И тогда, может быть, обойдется только вашим увольнением. Хорошо еще, что вы не член КПСС. Слава богу, что мне в свое время удалось пробить назначение на такую должность беспартийного. Иначе заварилась бы каша с исключением, вопрос неминуемо вышел бы на уровень горкома, а там наверняка нашлись бы люди, заинтересованные в эскалации...

Глядя на обмякшего Антона Марковича, директор обеспокоенно нахмурился.

— Только вот что. Не вздумайте заболеть. Всех нас погубите. Собрание должно состояться, и главный его смысл — ваше выступление. Вы, конечно, можете проделать интеллигентский трюк — отойти в сторонку, не запачкаться. Но будут последствия. Мало того, что разгонят к черту ваш Центр и скорее всего расформируют институт. Столкнувшись с саботажем, органы начнут следствие. Следует понимать, что у этих людей наступило золотое время. Инициативным и бдительным так и посыплются звездочки на погоны. Лично вас вряд ли тронут. Кому нужен скандал с пожилым членкомом? А вот из ваших сотрудников преступную группу соорудят наверняка. Ведь организовывали собрание не вы, людей оповещали тоже не вы. С Квапилом этим хороводились опять-таки не вы. А кто? Нет, Антон

Маркович, в белую тогу завернуться не получится. Побережете свои нежные чувства — посадите за решетку собственных товарищей. Не лучше ли принять удар на себя?

С Клобуковым вдруг случилось дежавею — в памяти зазвучал другой голос, из прошлого. Голос сказал: «Что ж, давай, пожалей свою совесть. Вот тогда ты будешь совсем из подлецов подлец».

— Снова настали времена, когда никакого выбора в общем нет. — Антон Маркович горько глядел на жену. — Единственный критерий, который остается, — лучше сделать плохо себе, чем другим. Придется мне испытать эту чашу. Я прилягу, Тиночка. Не хватало еще в самом деле разболеться. Уж этого я себе потом точно не прощу. Доживать с репутацией подлеца скверно, но еще хуже, когда все вокруг чтут тебя за принципиальность, а ты знаешь про себя, что ты подлец.

Лег на диване в кабинете, чтобы побыть одному. Уснуть, конечно, не уснул. Не спала и Тина — через тонкую стену было слышно, как она ходит по комнате, старается ступать потише.

Вдруг подумалось: насколько же она лучше. Вообще — насколько женщины лучше. Я мучаюсь из-за того, как мне будет тяжело и плохо, и Тина тоже только из-за этого — как мне будет тяжело и плохо. Всё остальное для нее неважно. О себе Тина не думает. Хотя, когда все знакомые от меня отвернутся, они отвернутся и от нее, а для нее дружеские связи так драгоценны.

Встал в половине девятого, оделся. Чай пить не захотел.

— Ты как на похороны собрался, — сказала Тина, поправляя ему пиджак. — Черный костюм, черный галстук.

— Это и есть похороны. Прощание с дорогой покойницей, репутацией порядочного человека.

— Не смей! Ты самый порядочный человек из всех, кого я когда-либо знала, — сердито повысила голос Тина. — Ты пожертвуешь собой, чтобы спасти дело и спасти людей, которые тебе дороги. Я буду говорить это каждому, кто посмеет тебя упрекнуть! Сделай, что должно, и скорее возвращайся. Если бы я была верующей, я бы тебя перекрестила.

У нее по лицу текли слезы. Он пошутил, чтобы немного разрядить ситуацию:

— Ты бы мне еще в ноги поклонилась, как Дмитрию Карамазову старец Зосима. Ничего, каторга мне не грозит. Отбубню покаяние и уйду по-английски, не прощаясь.

Он хотел открыть дверь, но Тина держала за рукав, не отпускала.

— Ну что ты меня как в последний путь, в самом деле? — мягко произнес он. — У меня есть ты, есть Марик. Проживу и без института, все равно через год-другой ушел бы. Ведь восьмой десяток.

Вниз Клобуков спустился не на лифте, а по лестнице, считал ступеньки. Вынул из ящика «Медицинскую газету», закрылся ею от Трофимова, чтобы не вступать в разговоры. Служебная «волга» в последний раз везла его через Хамовники.

Читать газету было невозможно. Первая и вторая полоса были сплошь заняты репортажами о том, как трудовые коллективы больниц, научных институтов, амбулаторий и даже роддомов горячо одобряют «акт братской солидарности».

Сколько приличных людей по всей стране сейчас находятся в таком же положении, как я, подумал Антон Маркович, но от этой мысли ему легче не стало. Почему-то, наоборот, стало еще тяжелей.

До собрания оставалось полчаса. Из кабинета он позвонил Кротову, Лившицу и Соломатину, попросил зайти. Это они уговорили его устроить встречу с чехом, повесили объявление, занимались организацией. Все трое молодые ребята, отличные специалисты.

Сухим, деревянным голосом Антон Маркович объяснил, как и почему проводится собрание. Поднял ладонь в знак того, что полемики не будет.

— Идите по отделам, предупредите всех. Никаких реплик с места, никаких турбуленций. Все должны поднять руки. Если хоть кто-то проголосует «против» или даже воздержится, получится, что я впустую выкинул псу под хвост свое доброе имя. Ясно?

— Нет, не ясно, — наливаясь, сказал темпераментный Кротов.

Но здесь в кабинет заглянул директор института. Грозно посмотрел на карбонариев. Те вышли.

— Вы как? — спросил Иван Харитонович. — Вид спокойный. Помоему, я волнуюсь больше вашего.

Клобуковым действительно владело какое-то странное оцепенение. С психофизиологической точки зрения это, вероятно,

была защитная реакция нездорового сердца, заблокировавшего опасность сильных эмоций.

— Антон Маркович, я поговорил с членами комиссии... Да-да, это именно комиссия из представителей Комитета госбезопасности, горкома и министерства, вот как всё серьезно... — Тут директор испугался, что Клобуков запаникует, и поспешно добавил: — Нет-нет, наши дела не так уж плохи. Мне намекнули, что, если собрание пройдет хорошо, оргвыводов может вообще не быть. Всё зависит от вас. Если появится хоть малейший шанс, я попробую вас сохранить. Вы знаете, как высоко я вас ценю.

— Я не останусь, это исключено. После сегодняшнего выступления в институте я больше не появлюсь. Никогда.

Румянцев сморгнул — занервничал из-за непривычной замороженности собеседника.

— Вы себя хорошо чувствуете? Лучше принять капли.

— Не нужно. Идемте. Я хочу поскорее с этим покончить.

Актовый зал был полон. Из дома в выходной созвали не только анестезиологов — пришел весь коллектив института.

Пока директор произносил короткое вступительное слово, Антон Маркович из первого ряда разглядывал членов комиссии. Невозможно было определить, кто из них партийный чиновник, кто ответственный работник Минздрава, а кто комитетчик. Одинаково настороженные физиономии, темные костюмы, каждый строчит что-то в блокнот.

Речь Клобуков не слушал, до сознания долетали только слова, которые Румянцев выделял интонационно: *«скандальное чэпэ»*, *«безобразный инцидент»*, *«пятно на безупречной репутации института»*.

Никто не хлопал. Царило гробовое молчание.

Антон Марковича тронули за локоть. Заместитель шепнул: «Вам предоставили слово».

— Да-да...

Глядя в напечатанную страницу, Клобуков быстро поднялся на сцену. Прежде чем приступить к чтению, посмотрел на зал.

Сколько лиц. Большинство знакомые. Сейчас на них появится недоумение, потом у кого-то сочувствие, у кого-то презрение.

Стук карандаша по столу. Директор.

— Антон Маркович, мы ждем.

— Да-да, — повторил Клобуков. — Уважаемые коллеги... Хм. Уважаемые коллеги...

С залом происходило что-то непонятное. Он вдруг стал сжиматься с двух сторон. Слева и справа надвигалась чернота, словно кто-то сдвигал плотные шторы занавеса. Вот они сомкнулись посередине, и в тот же миг в левой половине груди раздался отчетливый гулкий звон.

Осталась только темнота. Последнее, что ощутил Антон Маркович, прежде чем в ней раствориться, — блаженное облегчение.

Пламенные революционеры

Кочегар истории

Роман о Сергее Степняке-Кравчинском



Глава последняя

23 декабря 1895 года

Вечерний разговор разбередил душу, поднял с ее илистого, топкого дна липкие воспоминания, которые не дали уснуть. Сергей лежал в кровати, куря папиросу за папиросой. Когда затягивался, в темноте возникало багровое пятнышко, в нем шевелились мелкие черные тени.

Вчера в гости приходила Булочка. Она вернулась из Италии, читала роман, который там написала. Трогательное, романтическое, довольно нелепое сочинение, очень похожее на саму Булочку.

Прозвище когда-то придумала Фанни, в соответствии со своим именем она вечно во всем выискивала смешное.

Лили Булл действительно была барышня презабавная, с британской тоской по приключениям, которых так не хватает юношам и девушкам на этих благоустроенных, но скучных островах. Круглое щекастое личико напоминало подрумяненный маффин.

Среди русофилов, без которых выживать в эмиграции было бы очень трудно, а то и невозможно, таких энтузиастов немало. Им кажется, что настоящая жизнь, полная большого смысла и опасностей — там, в огромной, суровой, малопонятной стране, где бесстрашные революционеры ведут героическую борьбу с царскими *oprichniks*. У большинства англичан интерес этот поверхностный, легко меняющийся на увлечение чем-нибудь новым — храбрыми индейцами племени лакота или доблестными абиссинцами. Но Лили влюбилась в Россию и в революцию по-настоящему. Брала у Сергея уроки языка, потом поехала в далекую восточную страну и провела там два года, а вернулась уже совсем обрусевшей, требовала, чтобы ее называли «Лилия Георгиевна».

Но роман она написала не про русского революционера, а про итальянского. Потому что в Россию из-за «преступных» знакомств ее больше не пускали, а описывать места действия по памяти Булочка не умела, ей нужно было видеть то, о чем она пишет. Кажется, у поездки имелась и еще одна причина, личного свойства — эту сплетню на хвосте принесла Фанни.

Будто бы Лили ездила в Италию с неким молодым человеком, тоже русским эмигрантом, каким-то Зигмундом. Надо бы проверить, что за фрукт. Не аферист ли, или того пуще не агент ли Охранки. Она в последнее время что-то расшустрилась. Не используют ли доверчивую мисс, чтобы проникнуть в окружение злодея Кравчинского, который у них там считается главным источником революционной заразы. Журнал «Свободная Россия» и «Фонд вольной русской прессы» для врагов как кость в горле.

У Сергея была одна слабость: он собирал публикации о себе, появившиеся в российской реакционной печати. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, когда казалось, что зря коптишь небо, это рычание очень поддерживало. Коли они так неистовствуют, значит, ты им опасен и всё не зря.

На стене висели газетные вырезки, одна приятней другой. Сам Катков, редактор одиозных «Ведомостей», любимец покойного Александра III, писал в тошнотворном стиле, который у них там считается испепеляющим:

«Особенным расположением лондонских редакций пользуется один из убийц генерала Мезенцова, скрывающий за границей свою личность под псевдонимом Степняк и выдающий себя там за «мученика» какого-то «великого дела». Этот молодец впервые заявил себя в «литературе» сборником лганья, изданным им два года тому назад в Италии под заглавием «Подземная Россия». На континентальной Европе не обратили на него внимание. Зато английские газеты уже в то время обрадовались этой находке и поместили на своих столбцах длинные извлечения из этого наглого издевательства над истиной и здравым смыслом и посвятили даже передовые статьи соболезнованию «страданиям» России, разоблаченным «мистером Степняком».

С тех пор этот витязь счел для себя более выгодным переселиться в Англию, где даже фарисейски-респектабельная газета, как «Times», открыла ему свои столбцы».

Штука в том, что, сколько книг и статей ни напиши, какие острые мысли ни высказывай, так для всех навсегда и останешься убийцей Мезенцова. Даже «фарисейски-респектабельная» газета «Таймс» непременно каждый раз припишет, что автор «known for assassinating the chief of Tzar's secret police»^[10]. Мол, не щелкопер какой-нибудь, а

серьезный человек. И никуда от этого то ли почетного титула, то ли клейма не деться уже семнадцать лет.

Вот и Лили вчера после чтения, за чаем, решительно сдвинула свои белесые альбионские бровки.

— Я знаю, что вы отказываетесь рассказывать про то, как по приговору революционного суда казнили шефа жандармов, но мне это нужно не из праздного любопытства, а для дела. Героем моего следующего романа будет революционер-террорист. Вы — единственный знаменитый террорист, кого я знаю. Мне нужно стать вами, человеком, который убил другого человека во имя высшей цели. Я должна понять и прочувствовать, что это такое. Скажу вам честно — я пока сама не знаю, какую цель будет преследовать мой роман: вдохновить молодого читателя на подвиг или предостеречь от кровопролития. Но мне ясно, что без разговора с вами ничего живого я не напишу.

— Хотите писать живое — пишите о живых, оставьте мертвецов в покое, — попробовал отшутиться он, но у Лили начисто отсутствовало чувство юмора.

— Вы не можете мне отказать. Вы сами писатель, как и я, — сурово молвила она. — Если откажете, я буду очень удручена. («I will be very distressed», что по-английски звучит почти трагически.)

Обижать ее, конечно, не хотелось, но на Сергея подействовало другое соображение, не эмоционального, а общественного свойства.

С литературной точки зрения итальянский роман (он назывался «Gadfly») получился неважнецким, но он был насыщен магнетической энергией, которая так сильно действует на юные умы. Это, пожалуй, искупало и картонность персонажей, и технические огрехи сюжета. Роман мисс Булл зажжет тираноборческий пламень во многих душах, в этом можно не сомневаться. Если с таким же азартом будет написана книга о терроризме, бог знает сколько юношей и девушек начнут мечтать об участии героического убийцы. В этом возрасте от мечты до ее осуществления один шаг. И без того уж сколько их, мотыльков революции, сгорело в этом огне.

— Хорошо, Лилия Георгиевна, — медленно произнес Кравчинский. Его некрасивое, грубо вылепленное лицо вдруг побледнело. — Я расскажу вам, каково это — убить человека ради высшей цели.

Фанни тихо поднялась из-за стола и вышла. Она никогда не спрашивала мужа про ту историю. Не хотела про нее знать.

И правильно, что не хотела.

«Дело было летом семьдесят восьмого года. После выстрела Веры Засулич и в особенности после ее неожиданного оправдания власти впали в неистовство. Аресты, облавы, высылки в Сибирь безо всякого судебного разбирательства. Общество было потрясено показательной расправой над «народниками». Жандармы посадили тысячу четыреста человек, просто по подозрению. Обвинение предъявили лишь каждому седьмому, остальных, как оказалось, судить вообще не за что. Но за время предварительного заключения, от многомесячного нахождения в каменном мешке, восемьдесят человек умерли, покончили с собой или сошли с ума. Восемьдесят! Почти все совсем, совсем молодые. Самые лучшие, самые чистые, самые альтруистические из сыновей и дочерей России. Было ясно, что царь и его министры решили запугать общество. Это — настоящий терроризм, они начали первые, говорили мы. Что ж, давайте тоже их пугнем, ответим террором на террор.

Понимаете, когда Засулич в январе выстрелила в петербургского градоначальника Трепова, это еще не было организованным революционным террором. То был импульсивный порыв одиночки. Теперь же речь шла о кардинальной смене тактики. Мы решили, что будем действовать не под воздействием эмоций, а хладнокровно и беспристрастно. Не убивать, а казнить. На основании приговора подпольного революционного суда.

Первый обвиняемый был очевиден — главный начальник всего сыска, главный организатор репрессий, шеф жандармского корпуса и одновременно начальник Третьего отделения Мезенцов. С его назначением государственный террор вошел в систему. За это мы Мезенцова судили — заочно, но с прокурором и адвокатом. Да, был и адвокат. Он перечислил заслуги подсудимого: герой Севастопольской обороны, щепетильно честен, живет скромно, жертвует на благотворительность. Не забыл даже о том, что это правнук великого полководца Суворова и внук цареубийцы Зубова. Но злодея Мезенцова перевесили. Приговор был единогласным.

Встал вопрос об исполнителе. Товарищи выбрали меня. Во-первых, я слыл человеком решительным, который в роковой миг не

дрогнет. (Как вы увидите, в этом они ошибались.) Во-вторых, за физическую силу и ловкость. Ну, что было, то было. В-третьих, за опыт. Я ведь к тому времени уже повоевал на Балканах, покуролесил с анархистами в Италии. Считался матерым волком и втайне очень гордился этой славой. Потому и согласился, сразу же, без колебаний. Даже счел партийное поручение за великую честь.

Стали дискутировать, как осуществить казнь.

Наша служба наблюдения установила, что Мезенцов, человек твердых привычек, каждый день, рано утром, совершает один и тот же маршрут. Выходит из дому и через Михайловскую улицу, а потом через Большую Итальянскую следует к Гостиному двору. Там молится в часовне (генерал был набожен) и возвращается обратно. Охраны никакой — времена были идиллические. Сопровождает шефа жандармов обычно всего один человек, и не телохранитель, а приятель и сосед, такой же богомолец, отставной подполковник. Идут себе, болтают, вокруг не смотрят. Прикончить Мезенцова будет легко.

Но я сказал товарищам, что нападать из-за угла не стану. И вообще убивать того, кто не сопротивляется, — гнусность.

Предложил такой план.

Мы подстерегаем Мезенцова на углу, затаскиваем в глухой двор, и там я предлагаю ему поединок. Оружие он вправе выбрать сам: пистолеты или шпаги. Секундант у него есть, его спутник. Смешно, да? Прямо роман «Граф Монте-Кристо».

Нет, сказали мне остальные. Смысл в том, что это именно казнь преступника, а не какой-то там рыцарский турнир. Мезенцов не рыцарь, он царский псарь и палач.

Тогда у меня возникла другая идея. «Коли так, пусть я тоже буду палачом! — говорю. — Для революции я готов и на это. Выкуем широкую, тяжелую саблю. Я наточу ее до бритвенной остроты и отрублю Мезенцову голову — как революционный палач Сансон отрубил голову Людовику XVI! Силы у меня хватит».

Один из наших был хорошим кузнецом, выучился ремеслу, когда готовился к хождению в народ. Он мог выковать любое оружие.

Но Саша Михайлов, самый умный и взрослый в нашей компании, сказал: «Давайте без театральности. Нечего превращать убийство в аттракцион. Ты, Сергей, рассказывал, что итальянцы научили тебя

действовать стилетом. Это вернее, чем пистолет. Каракозов промазал, Засулич скотину Трепова только ранила, а бывают и осечки».

И наш кузнец сделал мне стилет, по моему рисунку. Стиллет смертоноснее ножа. Эррико, мой итальянский приятель, говорил: «Нож — оружие шпаны, убивать надо стилетом». Потому что плоское лезвие может соскользнуть по ребрам и проникает не так глубоко. А узкий клинок при сильном ударе ребро просто переламывает. И его, в отличие от ножа, легко повернуть в ране, чтобы сделать ее смертельной. Эррико говорил: «Ни в коем случае не забудь повернуть. Чтоб о кость заскрежетало». Вы морщитесь, Лили? Это не картина Делакруа «Свобода на баррикадах». Это убийство.

Ну, стало быть, всё готово. Стиллет выкован, пролетка с хорошим рысаком нанята, двое товарищей меня страхуют, трое сигнальщиков расставлены по маршруту следования. Я ночью не сплю, репетирую. Подошел, выхватил, ударил, повернул. Сказал: «По приговору революционного суда». Побежал. Вроде всё просто.

Второе августа. Утро. Стою на улице, жду. Вижу: на углу Сашка Баранников, двадцатилетний парень, его потом уморят в тюрьме, снимает картуз. Это значит: идут.

Появляются двое. Один с длинными усами, военный. Это Мезенцов. На второго я даже не смотрю. Кто-то в пальто, с зонтиком.

Иду навстречу. В руке свернутая рулоном газета. В ней стилет.

Ловлю себя на том, что задыхаюсь. Набрал воздуха в грудь, а выдохнуть никак не могу.

Военный шагает, размахивает правой рукой, левой придерживает саблю. Ближе, ближе, ближе. Слышу веселый голос. «Да пошел ты к черту, меня учить! Сам сначала женись, старый ты пень».

Вспоминаю: у Мезенцова нет семьи. Ночью, готовясь к акции, я из добросовестности читал про него всё, что подобрали товарищи. Большая ошибка. Чем больше узнаешь про человека, тем больше он становится... человеком. Про Мезенцова в биографической статье было написано: «Николай Владимирович с юных лет решил всецело посвятить себя службе, не иметь ни жены, ни детей и, будучи человеком твердого слова, от своего намерения не отступился».

Я вдруг представляю себе, как этот усатый весельчак лежит в гробу, в пустом доме, где никто не плачет... И прохожу мимо. Мезенцов на меня едва взглянул.

Назавтра, третьего августа всё повторяется. Я дал себе и товарищам клятву, что теперь не дрогну. Стою, жду. Вижу сигнал. Стиснул зубы, иду. Уже руку в газету сунул — и тут Мезенцов рассеянно смотрит на меня, улыбается — должно быть, лицо показалось смутно знакомым, после вчерашнего. Ударить стилетом того, кто тебе улыбается... невозможно. И я опять прохожу мимо.

Всё, говорю нашим. Простите, слаб я оказался. Кисельное у меня сердце.

И тут приходит сообщение из Одессы. Расстреляли Ваню Ковальского. Я знал его. Он был... Ну вот представьте себе мистера Пиквика, который вместо джентльменского клуба попал в подпольную организацию. Милый, нелепый, нескладный Ваня, бесконечно добрый, вечная мишень для подтрунивания. Он пылко говорил, что никогда не даст себя арестовать, будет отстреливаться до последнего патрона, а потом застрелится сам. Наши на эту тему шутили, потому что Ваня был тот еще стрелок. Однажды на него напала бешеная собака, он выпустил все шесть пуль и ни разу не попал. Когда Ваню пришли арестовывать, произошло в точности то же самое. Ни в кого не попал, обсчитался с выстрелами и не застрелился, был схвачен. За вооруженное сопротивление его и казнили.

Я представил себе пробитого пулями Ваню, его круглое, смешное, мертвое лицо... И попросил товарищей дать мне последний шанс.

Четвертого августа я воткнул Мезенцову стилет в бок, по самую рукоять. Я слышал хруст. Глаза человека, которого я убиваю, были ближе, чем ваши сейчас. Они смотрели прямо на меня, и в них было... не знаю что. Непонимание. И я, смотря прямо в эти глаза, повернул клинок, как меня учили. Мне на руку брызнуло горячим. Мезенцов охнул: «Что это?» А я ничего не сказал. Забыл, что надо объявить приговор. Чувствую удары какие-то. Это второй лупит меня зонтиком по голове... Потом...

Знаете, Лили, вы ступайте. Всё. Рассказ окончен».

Ну и понятно, что потом не уснул.

Сначала думал: помрешь, и на могиле, как в газете «Таймс», напишут «Здесь покоится убийца генерала Мезенцова». Это и есть краткое изложение моей жизни? Всё, что от меня останется?

Но бесплодные терзания были не в его характере. Они всегда побуждали Сергея к действию. Как в тринадцать лет, на Стародубской ярмарке, когда увидел, как урядник хлещет нагайкой нищего, а тот лишь вжимает голову в плечи и прикрывает лицо руками. «Расея матушка, — вздохнул отец, мягкий человек, страдальчески морщась и отворачиваясь. — Идем, Сережа. Увы, так всегда было и всегда будет». Мальчик поклялся себе, что нет, всегда так не будет, он этого не допустит. И что мог, делал. Не морщился, не отворачивался.

Вдруг сел на кровати. Сама собой возникла простая, ослепительно ясная цель дальнейшей жизни. Нужно прожить ее так, совершить такое, чтобы чертов Мезенцов остался маленьким эпизодом биографии и на могиле потом написали что-то иное. Вспомнился старый разговор с покойным Фридрихом Энгельсом о революционном терроре. Он именно что детская болезнь! Перерастить ее и двигаться дальше, сделать больше — вот что нужно.

Ну и что, если уже немолод? Но ведь еще и не стар. Отличный, зрелый возраст. Илья Муромец встал с печи в тридцать лет и три года, а ты — в сорок лет и четыре года.

Когда цель поставлена и сформулирована, дальнейшее — вопрос технический. Если определилось, *что* делать, разрабатываешь план, *как* это сделать.

Просиживать штаны в Англии незачем, это первое. Настоящая работа — там, в России. Только что из Питера сообщили, что организация Владимира Ульянова выслежена Охранкой, все участники арестованы. Это потому что они молоды, нет опыта подпольной деятельности. Идея у них стопроцентно правильная: создать рабочую партию в столице, под носом у царя. Потому что империя подобна жирафу. На длиннющей шее, над всей мясной тушей и тонкими ножками, растопыренными от Камчатки до Туркестана, водружена малюсенькая головка. Имя ей «Санкт-Петербург». Кто контролирует башку пятнистой дылды, тот ею и владеет. В России всегда верх брали те, кто захватывал власть в столице. Огромная страна безропотно подчинялась приказам, кто бы их ни отдавал. Так было и в 1762 году, когда неведомая немка с несколькими сотнями штыков устроила переворот, и в 1801-м, когда кучка гвардейских офицеров убила Павла. Понимали эту истину и декабристы.

Вот что надобно.

Создать в Питере тщательно законспирированную, правильно организованную партию. Численно небольшую, но качественно безупречную. Для этого она должна состоять из трех концентрических кругов. Первый — собственно партия, штаб будущей революции. Несколько десятков отборных товарищей, полноценных членов организации. Второй круг — «получлены», исполнители, посвященные лишь в общую стратегию. Их несколько сотен. Наконец третий круг — сторонники, сочувствующие, помощники. Те, кто распропагандирован, но является резервом, который будет мобилизован в день «Р», день революции.

На расширение, создание филиалов и ячеек в других городах тратить силы незачем. Это только увеличивает риск провала, а практически мало что даст. Провинция ничего не решает.

Готовиться ко дню «Р», по возможности его приближать, но ясно понимать: потребуется терпение. На пустом месте, как надеялись народовольцы, революции не происходят. Должно случиться некое крупное событие, которое приведет народную массу в возбуждение, вызовет повсеместное неудовольствие существующим порядком вещей, потребность в переменах. Обязательно что-то будет. Экономический кризис с безработицей, катастрофический неурожай, какая-нибудь неудачная война. Долго ждать не придется. Пять, максимум десять лет.

Какою будет тактика?

Ну, во-первых, подобрать людей, это ясно.

Во-вторых, обеспечить бесперебойное поступление печатных материалов. Устраивать подпольную типографию в России опасно. Найдут — и останешься без пропаганды, главного инструмента. Значит, печатать брошюры, листовки, газету нужно здесь, в Англии, где опасаться полиции нечего.

Третье: наладить надежный канал доставки. С этим помогут товарищи из профсоюза докеров и «Союза моряков». Что угодно погрузят, спрячут, доставят. Договориться с Мастерсом и Диком Тревором будет нетрудно.

Наконец, четвертое: финансирование. С этим тоже проблем не возникнет, помогут трусоватые и прекраснодушные российские либералы. Они всегда рады откупиться от своей совести деньгами, тайно пожертвовать на «святое дело революции», только бы их не

привлекали к чему-то опасному. Не будем. Принцип трех концентрических кругов это исключает.

К утру всё было придумано и продумано. Он еле дождался мало-мальски приличного часа, чтобы отправиться к Феликсу Волховскому, поставить перед ним новые задачи. Всей британской стороной дела предстоит руководить Феликсу. Он надежный, он справится.

Идти было недалеко, с четверть часа. По Вудсток-роуд, через пустырь и железнодорожный переезд, а потом повернуть налево, в Шепардс-буш. В восемь Феликс уже просыпается, а нет — ничего, разбудим.

Сергей тихонько, чтобы не разбудить Фанни, оделся и вышел в неморозную, но промозглую лондонскую ночь. В конце декабря утро только называется утром.

Тьма была прямо египетская. На улице, где горели газовые фонари, еще ничего, но на пустыре, чтоб не споткнуться, пришлось идти медленней, хотя ноги всё норовили ускорить ход.

Холода Кравчинский не замечал, в темноту не вглядывался, его мысли сейчас были далеко, в будущем.

Ничего, бодро говорил себе Сергей. Самая длинная ночь позади, уже 23 декабря, дни теперь пойдут на рост. Старый год заканчивается, через неделю наступит новый. Да, пока темно, но скоро рассветет.

В самом деле — как раз в эту минуту небо слегка посерело, рассветный туман начал вытеснять черноту.

Литератор есть литератор. Ему во всем хочется видеть символы и знаки.

Железнодорожный переезд был уже близко. Где-то загудел невидимый паровоз. Сергею и это показалось добрым предзнаменованием.

Да, сейчас поезд под названием «Россия» тащится в черном туннеле, вокруг беспросветная тьма общественной апатии. Но все туннели рано или поздно заканчиваются. Однажды локомотив вылетит из черной дыры на открытое пространство, врежется в застоявшийся воздух, в небо полетят алые искры. Нужно подготовить хорошую поездную бригаду, запастись углем, отладить все рычаги и клапаны. И твердо знать, какие впереди станции, каков пункт назначения.

Он явственно увидел этот пункт: сияющий огнями вокзал, где играет оркестр и ждет нарядная, радостная толпа встречающих.

Свет вспыхнул так ярко, что ослепил путника. Он зажмурился, замерев на месте — остановился прямо на рельсах, заблестевших двумя эвклидовыми прямыми под лучом выкатившегося из мглы маневрового паровоза.

«Что это?» — успел подумать Сергей. А больше не успел ничего.

Выход на Запад



Где в новом гостиничном комплексе — огромном, чуть ли не самом большом в мире — выход на запад, Марат сообразил не сразу. Сначала попробовал войти через главный вход с набережной. Там дежурил швейцар, зорко наблюдавший за гостями. Если было видно, что иностранцы, пускал так. Если советские, просил предъявить пропуск. Стеклопанная, величественно-державная «Россия» считалась визитной карточкой столицы, селили в ней главным образом интуристов, и швейцары здесь, конечно, были не простые, а *компетентные*.

Оглядев Рогачова опытным взглядом, швейцар вежливо объяснил, что западный выход — это который на Кремль. Войти не дал, пришлось обходить снаружи. Но Марат пришел сильно раньше двенадцати, время было.

Перед западным корпусом, откуда открывался великолепный, открыточный вид на красные кремлевские стены, на храм Василия

Блаженного и Большой Москворецкий мост, толпились две туристические группы, итальянская и японская. Не то ждали экскурсоводов, не то собирались садиться в автобусы. Щелкали фотоаппаратами, некоторые жужжали портативными кинокамерами. Швейцар, почти близнец того, первого, зорко посматривал на куривших неподалеку парней. Они были одеты во всё заграничное, но по сосредоточенным лицам и бегающим глазам сразу видно — свои. Наверное фарцовщики.

Агаты не было.

Марат ходил в нерусской толпе, озирался. Вдруг замер.

Справа от входа, вдоль стены, были телефонные будки. Он уже несколько раз скользнул по ним взглядом, но не догадался присмотреться.

Агата была в самой дальней. Не разговаривала, просто стояла. Что-то держала в руке, но не телефонную трубку. Не отрываясь смотрела в одну точку — вверх.

На купола церкви? Но что в них такого?

Часы на Спасской башне начали отбивать полдень. После первого же звучного удара Агата подняла руку выше, и теперь стало видно, что она держит маленькую кинокамеру — то самую, которой снимала «семинаристов» на даче. Что она снимает? Взлетевших от звона ворон? Ничего больше в той стороне не происходило. Только на фонарном столбе возился монтер, держал в руках длинную белую трубку — должно быть, менял перегоревшую лампу.

Нет, это была не лампа, рулон бумаги. Монтер развернул его, повесил себе на шею, повернулся к гостинице.

Плакат!

Крупными буквами, размашисто, намалевано: «ПРАГА, МЫ С ТОБОЙ!».

Монтер взмахнул сжатым кулаком, тряхнул головой. Рыжие волосы заискрились на солнце. Агата снимала.

Рогачов закоченел.

Вот что они придумали! Не просто выйти на площадь, как «семинаристы», где демонстрантов сразу скрутили и никто ничего не узнал, а сделать съемку, которую потом увидит весь мир! И будет знать, что не все русские — безмолвное стадо, что в СССР есть сопротивление!

Какая идея! Это уже не красивый, но бесполезный интеллигентский жест, не зряшная жертва. Это удар по Системе!

Через несколько секунд кто-то из иностранцев заметит плакат и тоже начнет снимать.

Только Марат это подумал, как в толпе перед входом началось колыхание. Нет, туристы акцию не заметили, а если кто-то и увидел, то не понял, что́ на плакате написано, но несколько человек в штатском, непонятно откуда и когда появившиеся, забегали, замахали руками. «Инсайд плиз! Инсайд плиз!» — кричали они.

Ничего не понимающие японцы и итальянцы, галдя, двинулись к дверям. На фонарный столб никто не смотрел, даже фарцовщики, уставившиеся на странную суету. К ним трусцой побежал милиционер, и парни пестрой гурьбой кинулись наутек.

— Проходим внутрь, гражданин, проходим, не задерживаемся! — прикрикнул на Марата швейцар.

— Да-да, — пробормотал Рогачов, оборачиваясь.

Рыжий всё размахивал кулаком, разевал рот, что-то кричал. Неважно, что слов не слышно. На пленке будет видно: человек протестует.

Внизу собралась кучка людей. Половина в милицейской форме, половина в штатском. Тоже махали руками, что-то кричали, задрыв головы. Из гостиницы бегом тащили две лестницы. Агата снимала.

Как точно просчитано, восхитился Марат. Они знали, что служивые, которых в таком месте, конечно, хренова туча, сконцентрируют всё свое внимание на иностранцах. Рыжего, разумеется, арестуют, он к этому готов. Такого лихого парня тюрьмой не испугаешь. Агата же спрячет свою миниатюрную камеру в сумку и преспокойно уйдет, пока гебешники с милиционерами топчутся вокруг столба.

Всё так и получилось.

Двое мужчин в серых костюмах быстро лезли вверх по раздвинутым лестницам, остальные стояли, смотрели вверх. Толпа иностранцев перед входом стала меньше, но внутрь прошли еще далеко не все. Из будки неторопливо вышла стройная девушка с сумкой через плечо. Дело сделано. Главное снято.

Агата направилась в сторону улицы Разина. Шла, оглядывалась. Марат через головы низкорослых японцев смотрел то на нее, то на

столб.

Серые были уже прямо под Рыжим. Пытались ухватить его за ноги, он брыкался. Сорвали плакат. Один вцепился Рыжему в запястья, другой возился с ремнем, которым лже-монтер был за пояс прицеплен к столбу.

Вдруг закричали.

С фонаря сорвался, рухнул вниз какой-то темный, бесформенный, как показалось Марату, ком. Звук удара. Хруст. Люди под столбом сначала отскочили в стороны, потом снова сомкнулись, над чем-то наклонились.

Пронзительный вопль:

— Миша-а-а-а!

Агата бежала назад.

К ней подскочили с двух сторон, вцепились, вырвали сумку.

Марата пихали в спину.

— Инсайд, инсайд, квик!

Втолкнули в двери.

Из вестибюля, через стекло, он пытался понять, что происходит снаружи, но там были одни милицейские спины — моментально выстроилось оцепление.

— What is happening? — спросил японец у женщины со значком «Интуриста» на жакете.

— Unfortunate incident, — ответила та. — An electrician fell from a lamp post^[11].

Мимо шли двое в серых костюмах, хмурые.

— ...Всмятку. Мозги на асфальте, — говорил один.

Второй сказал:

— Собаке собачья смерть. Главное — пленку засветили?

Непрочитанная книга



Из Книги Пятой

«Говорят, что самую просветленную из всех когда-либо существовавших книг написал мудрец по имени Мудзай и что называлась она «Путь десяти тысяч путей».

Мудзай не писал свой труд сам, а диктовал ученику, утверждая, что для полета мысли следует смотреть не вниз, на бумагу, а вверх, в небо.

Самадхи снисходило на мудреца, только когда он катался на лодке по заливу перед бурей. В такую погоду ученик нанимал лодку с кормщиком и двух дешевых женщин низменного поведения. Учитель садился на нос, смотрел на предгрозовые облака, а куртизанки пели некрасивыми голосами вульгарные песни. Величественность небес в сочетании с безобразием земного бытия открывали Мудзаю дверь к пониманию жизни.

Однажды во время прогулки он сказал ученику: «Сегодня я продиктую тебе самую важную главу, которая разъяснит взыскующим Истины, на каком Пути ее можно найти, и после этого книгу можно будет считать законченной».

Мудзай стал изрекать мысли непревзойденной ясности и силы. Кормщик волновался и говорил, что пора поворачивать к берегу, пока не налетел смерч, но учитель и ученик его не слушали, они были слишком увлечены.

И налетел смерч, и порвал паруса, и сломал руль, и смел за борт кормщика. Лодку повлекло в открытое море, навстречу гибели.

Но к ладье был привязан малый челн с веслами. Поместиться в него могли только двое.

«Учитель, скорее садитесь, пока нас не отнесло далеко от берега!» — воскликнул ученик.

Куртизанки заплакали, прощаясь с жизнью, они знали, что для них места в челне нет.

«Пусть сядут эти женщины», — ответил Мудзай.

«Но их жизнь презренна, она не имеет никакой ценности! Вы же — живое сокровище страны Ямато!».

«Их жизнь презренна и не имеет ценности, а я живое сокровище, — согласился Мудзай. — Но если я сяду в челн, я останусь

живым, однако перестану быть сокровищем. Лучше быть мертвым сокровищем, чем живым ничтожеством».

«Тогда я останусь с вами, — склонился перед Мудзаем ученик, — но давайте передадим гетерам вашу мудрую книгу. В ней — истинный Путь, ее должны прочитать люди».

«Мудрость, переданная блудницами, утрачивает свою цену, — отвечивал Мудзай. — А самая лучшая книга — та, которая пишется не словами, а поступками».

Ученик остался с учителем, и они утонули вместе с «Путем десяти тысяч путей», а людям эту историю поведали спасшиеся женщины низменного поведения. Им мало кто поверил, потому что продажные девки вечно выдумывают небывлицы.

Но я им верю».

notes

Примечания

1

«Делай свою ставку» (*фр.*).

2

От «добрoго утра» до «спокойной ночи» (*фр.*).

3

«Ко всему относись легко» (*англ.*).

4

Рыбак рыбака видит издалека. (Буквально: «Птицы одного оперения слетаются друг к другу».)

5

Переворот (ϕp).

6

О боже! Пойду скажу ему (*анг.*).

7

Мне это нравится. И ты мне, кажется, тоже нравишься,
хладнокровный ублюдок (англ.).

8

Замаскированное благо (англ.).

9

Радость жизни (фр.).

10

«Известен как убийца начальника царской тайной полиции»
(англ.).

11

«Что происходит?». «Несчастный случай. Электрик упал с фонаря». (англ.).

Table of Contents

[Акунин-Чхартишвили Собачья смерть](#)

[Украденное](#)

[Из Книги Первой](#)

[Из Книги Десятой](#)

[Бактриан](#)

[Пламенные революционеры Кочегар истории Роман о Сергее](#)

[Степняке-Кравчинском](#)

[Глава первая](#)

[«Воскресник»](#)

[Сэйдзицу Роман Часть Первая](#)

[Четыре гвоздики](#)

[Сэйдзицу Роман](#)

[Антонина](#)

[Сэйдзицу Роман](#)

[В гостях](#)

[Сэйдзицу Роман](#)

[На даче](#)

[Дело подследственного «№ 73» \(Особое делопроизводство, код ССЧ;
контр. инст. КРО ОГПУ\)](#)

[О твердости и мягкости](#)

[По написании сжечь](#)

[Что теперь будет?](#)

[Наука старости](#)

[Нелепый парадокс](#)

[История старости](#)

[Тяготы старения: инструкция по эксплуатации](#)

[Блага старости](#)

[Подготовка к старости](#)

[«Счастливая старость»](#)

[Выбора нет](#)

[Пламенные революционеры Кочегар истории Роман о Сергее](#)

[Степняке-Кравчинском](#)

[Глава последняя](#)

[Выход на Запад](#)

Непрочитанная книга

Из Книги Пятой

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

